



Татьяна де Росней
КЛЮЧ САРЫ

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)

- [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
 - [77](#)
-

Татьяна де Росней

КЛЮЧ САРЫ

Посвящается
Стелле, моей
матери
Моей дерзкой
и непокорной
Шарлотте
С любовью —
памяти моей
бабушки Наташи
(1914–2005)

Предисловие

Все действующие лица настоящего романа вымышлены от начала и до конца. Но некоторые из описанных событий имели место в действительности, в особенности те, что произошли на территории оккупированной части Франции летом 1942 года. В частности, грандиозная облава «Велодром д'Ивер», которая состоялась 16 июля 1942 года в самом сердце Парижа.

Настоящее произведение не является историческим исследованием и никогда не претендовало на звание такового. Это дань памяти детям, попавшим в облаву «Вель д'Ив». Детям, которые не вернулись домой. И тем, кто выжил, чтобы рассказать об этом.

Т. де Росней

*Мой Бог! Что
делает со мной эта
страна? И раз она
меня отвергла,
давайте взглянем
на нее
беспристрастно,
давайте вместе
посмотрим, как
она теряет свою
честь и свою
жизнь.*

*Ирен Немировски.
Французская
сюита (1942)*

*Тигр, о Тигр,
светло горящий
В глубине
полночной чащи,*

*Кем задуман
огневой*

*Соразмерный
образ твой?*

*Уильям Блейк.
Песни невинности
и опыта*

Париж, июль 1942 года

Девочка первой услышала громкий стук в дверь. Ее комната располагалась совсем рядом со входной дверью. Спросонья она решила, что это стучит отец, покинувший свое убежище в подвале. Очевидно, он забыл ключи, а теперь потерял терпение, когда никто не ответил на его первый, осторожный и робкий, стук в дверь. Но потом послышались голоса, сильные и грубые, разорвавшие тишину ночи. Это никак не мог быть отец.

— Полиция! Откройте! Немедленно!

Стук раздался снова, теперь уже громче. Он потряс ее до глубины души, проник в каждую клеточку ее тела. Ее младший брат, спавший на соседней кровати, зашевелился во сне.

— Полиция! Откройте! Откройте!

Интересно, который час? Она отодвинула занавеску и выглянула в окно. Было еще темно.

Ей стало страшно. Она вспомнила недавно подслушанный негромкий разговор, поздно вечером, когда родители думали, что она уже спит. Она подкралась к двери в гостиную, слушала и смотрела сквозь маленькую щелочку в дверной панели. Напряженный и нервный голос отца. Взволнованное лицо матери. Они говорили на своем родном языке, который девочка понимала, хотя разговаривала на нем не так свободно, как они. Отец шепотом предрекал, что впереди их ждут трудные времена. Он говорил о том, что они должны быть мужественными и очень осторожными. Он произносил странные, незнакомые слова «концентрационные лагеря», «облава, большая облава», «аресты по утрам», и девочке очень хотелось узнать, что они означают. Отец бормотал, что опасности подвергаются только мужчины, что женщинам и детям ничего не грозит и что он каждую ночь будет теперь прятаться в подвале.

Утром он объяснил девочке, что для всех будет лучше и безопаснее, если он некоторое время будет спать внизу. Пока «положение не улучшится», как он выразился. Интересно, какое положение он имеет в виду, подумала девочка. И как оно должно улучшиться? И самое главное, когда? Она хотела знать, что означают слова «концентрационный лагерь» и «облава», но боялась

признаться, что несколько раз подслушивала разговор родителей. Поэтому она так и не осмелилась спросить его.

— Откройте! Полиция!

Неужели полицейские нашли папу в подвале, спросила она себя, и поэтому явились сюда, неужели они пришли, чтобы забрать папу с собой и отвезти в те места, которые он называл во время полуночных разговоров: «концентрационные лагеря», «далеко за городом»?

Девочка перебежала на цыпочках в комнату матери, которая находилась дальше по коридору. Мать проснулась сразу же, как только почувствовала ее руку на своем плече.

— Это полиция, мама, — прошептала девочка, — они ломают в дверь.

Мать сбросила простыню, опустила ноги на пол и убрала с лица прядь волос. Девочка подумала, что она выглядит очень усталой и старой, намного старше своих тридцати лет.

— Они пришли, чтобы увести папу с собой? — жалобно спросила девочка, схватив мать за руки. — Они пришли за ним?

Та не ответила. Из коридора снова донеслись громкие голоса. Мать быстро накинула платье поверх ночной рубашки, потом взяла девочку за руку и подошла к двери. Ее ладонь была горячей и потной, совсем как у маленького ребенка, подумала девочка.

— Да? — дрожащим голосом произнесла мать, не открывая замка.

В ответ раздался мужской голос. Он выкрикнул ее имя.

— Да, месье, это я, — отозвалась она. Ее акцент стал заметнее, он прозвучал резко, почти грубо.

— Открывайте. Немедленно. Полиция.

Мать поднесла руку к горлу, и девочка заметила, что она очень бледна. Она выглядела опустошенной и обессиленной, почти что мертвой. И она не могла заставить себя сдвинуться с места. Девочка еще никогда не видела такого страха на лице матери. Она почувствовала, как у нее пересохло во рту. Ей тоже было страшно и тоскливо.

Мужчины снова забарабанили в дверь. Неловкими, дрожащими руками мать открыла замок. Девочка вздрогнула и напряглась, ожидая увидеть серо-зеленую форму.

На пороге стояли двое. Один из них был полицейским, в темно-синем плаще с капюшоном и круглой фуражке с высокой тульей. Второй мужчина был одет в бежевый дождевик. В руке он держал лист бумаги. Он еще раз произнес вслух имя матери. А потом отца. Его французский был безупречен. Слава Богу, мы в безопасности, подумала девочка. Если это французы, а не немцы, нам ничего не грозит. Если это французы, они не причинят нам вреда.

Мать крепче прижала девочку к себе. Девочка слышала, как под платьем бьется материнское сердце. Ей хотелось оттолкнуть мать, хотелось, чтобы та выпрямилась, храбро взглянула в лицо этим мужчинам и перестала дрожать. И еще ей хотелось, чтобы сердце матери перестало биться, как у испуганного, загнанного животного. Она хотела, чтобы ее мать вела себя достойно.

— Мой муж... его здесь нет, — запинаясь, с трудом выговорила мать. — Я не знаю, где он. Не знаю.

Оттолкнув ее, мужчина в бежевом дождевике вошел в квартиру.

— Поторопитесь, мадам. У вас есть десять минут. Соберите какие-нибудь вещи и одежду. Чтобы хватило на первое время.

Мать не сдвинулась с места. Она во все глаза смотрела на полицейского. Тот стоял на лестничной клетке, повернувшись спиной к двери. Весь вид его выражал равнодушие и скуку. Она положила руку на рукав его темно-синей формы.

— Месье, пожалуйста... — начала она.

Полицейский развернулся, стряхнув ее руку. Глаза его были пустыми и холодными.

— Вы слышали, что я сказал. Вы идете с нами. Ваша дочь тоже. Делайте, как вам говорят.

Париж, май 2002 года

Бертран опаздывал, по своему обыкновению. Я пыталась сделать вид, что мне все равно, но получалось не очень. Зоя прислонилась к стене, ей было скучно. Она была очень похожа на своего отца, и это их сходство иногда вызывало у меня улыбку. Но только не сегодня. Я подняла голову, глядя на древнее, высокое здание. Жилище *Maté*.^[1] Старая квартира бабушки Бертрана. А теперь здесь будем жить мы. Мы собирались оставить бульвар дю Монпарнас, с его шумом уличного движения, бесконечной вереницей машин «скорой помощи», спешащих к трем больницам, расположенным по соседству, с его кафе и ресторанчиками, и переехать сюда, на тихую, узкую улочку на правом берегу Сены.

Округ Марэ был мне незнаком, хотя его древняя, увядающая красота приводила меня в восхищение. Была ли я счастлива оттого, что мы переезжаем? Не знаю. Не уверена. Собственно говоря, Бертран даже не спросил моего мнения. В сущности, мы вообще не разговаривали на эту тему. Со своим обычным напором он просто сделал то, что считал нужным. Не поставив меня в известность.

— Вот он, — сказала Зоя. — Опоздал всего на полчаса.

Мы смотрели, как Бертран идет по улице своей знаменитой фланирующей, чувственной походкой. Стройный, смуглый, излучающий сексуальную притягательность, истинный француз. Разумеется, он разговаривал по телефону. Как всегда. Позади плелся его деловой партнер, бородатый и розовощекий Антуан. Их контора находилась на рю де Л'Аркад, прямо за Магдалиной. Бертран подвизался в строительно-архитектурном бизнесе уже давно, когда мы еще не были женаты, но собственное дело, вместе с Антуаном, открыл всего пять лет назад.

Бертран помахал нам рукой, а потом указал на телефон, скорчив гримасу и нахмурившись.

— Якобы не может отделаться от типа, с которым разговаривает, — презрительно фыркнула Зоя. — Как же!

Зое было всего одиннадцать, но у меня иногда возникало ощущение, будто она уже взрослая девушка. Во-первых, из-за роста,

отчего все ее подружки выглядели малышками, а во-вторых, из-за размера моей ножищи, мрачно добавляла она, да еще из-за не по годам свойственной ей прозорливости, от которой у меня часто буквально замирало сердце. Было нечто взрослое в строгом взгляде ее карих глаз, в том, как она, задумавшись, задирала вверх подбородок. Она всегда была такой, еще с пеленок. Спокойная, уверенная, разумная. Иногда даже слишком разумная для своего возраста.

Антуан подошел к нам, чтобы поздороваться, а Бертран продолжал болтать по телефону, достаточно громко, чтобы его слышала вся улица. Он размахивал руками, гримасничал, оборачиваясь время от времени, чтобы убедиться, что мы ловим каждое его слово.

— Возникла проблема с одним архитектором, — любезно улыбнувшись, объяснил Антуан.

— Конкурент? — пожелала узнать Зоя.

— Конкурент, — подтвердил Антуан.

Зоя вздохнула.

— Это значит, что мы можем застрять здесь на целый день.

Мне пришла в голову одна мысль.

— Антуан, у вас случайно нет с собой ключей от квартиры мадам Тезак?

— Случайно есть, Джулия, — ответил он и просиял. Антуан всегда говорил по-английски в моем присутствии, хотя я обращалась к нему по-французски. Полагаю, таким образом он хотел выказать мне дружеское расположение, но в глубине души я испытывала раздражение. У меня возникало ощущение, что, несмотря на то что я прожила здесь столько лет, мой французский все еще недостаточно хорош.

С важным видом Антуан извлек на свет ключ. Мы решили подняться в квартиру, все втроем. Зоя ловко набрала нужную комбинацию на *digicode*.^[2] Пройдя через тенистый, прохладный внутренний дворик, мы подошли к лифту.

— Ненавижу лифт, — заявила Зоя. — Папа должен что-нибудь с ним сделать.

— Милая, он перестраивает только квартиру твоей прабабушки, — заметила я. — А не все здание.

— Может быть, ему стоит подумать об этом, — парировала дочь.

Пока мы стояли в ожидании лифта, мой мобильный телефон зачирикал, выводя мелодию Дарта Вейдера.^[3] Я бросила взгляд на экран, на котором высветился номер. Звонил Джошуа, мой босс.

Я ответила:

— Да?

Джошуа был немногословен. Как всегда.

— Ты нужна здесь к трем часам. Закрываем июльский выпуск. Окончательно и бесповоротно.

— Блин, вот это да! — дерзко и нахально отреагировала я. С другого конца линии до меня донесся короткий смешок, после чего Джошуа повесил трубку. Похоже, ему нравилось, когда я говорила «Блин!». Может, это напоминало ему о молодости. Антуан, кажется, пришел в изумление от моих старомодных американизмов. Я представила, как он коллекционирует их, а потом пытается воспроизвести со своим французским акцентом.


Лифт представлял собой одну из этих неподражаемых хитроумных парижских штуквин с крошечной кабиной, опускаемой вручную железной шторкой и двойными деревянными дверями, которые так и норовили стукнуть вас по носу. Зажатая между Зоей и Антуаном, который, на мой взгляд, несколько перестарался с одеколоном «Vetriver», я мельком взглянула на свое отражение в зеркале, пока мы медленно поднимались вверх. Я выглядела такой же старой и ржавой, как и жалобно скрипящий лифт. Куда подевалась цветущая и свежая красавица из города Бостона, штат Массачусетс? Женщина, которая смотрела на меня из зеркала, пребывала в том кошмарном возрасте, где-то между сорока и сорока пятью, и на ее бесцветном лице явственно видна была обвисшая кожа, намечающиеся морщины и подкрадывающийся климактерический период.

— Я тоже ненавижу этот лифт, — мрачно заявила я.

Зоя засмеялась и ущипнула меня за щеку.

— Мама, в этом зеркале даже Гвинет Пэлтроу была бы похожа на ведьму.

Я не смогла сдержать улыбку. Замечание как раз в духе Зои.



Мать начала всхлипывать, сначала тихонько, а потом все громче и громче. Пораженная, девочка глядела на нее во все глаза. За все прожитые десять лет своей жизни ей еще ни разу не приходилось видеть, чтобы мать плакала. Она с ужасом смотрела, как по белому, словно бумага, и такому же сморщенному лицу матери текли слезы. Ей хотелось крикнуть матери, чтобы та перестала плакать, ей было невыносимо стыдно оттого, что мать распустила сопли в присутствии этих чужих и незнакомых мужчин. Но те не обратили на слезы матери никакого внимания. Они просто приказали ей пошевеливаться. Времени на разговоры у них не было.

В спальне продолжал крепко спать маленький мальчик.

— Но куда вы собираетесь нас отвезти? — взмолилась мать девочки. — Моя дочь француженка, она родилась в Париже, почему вы забираете и ее? Куда вы нас везете?

Мужчины не проронили ни слова. Они возвышались над нею, огромные и угрожающие. Глаза у матери побелели от страха. Она прошла к себе в комнату и обессиленно опустилась на кровать. Но через несколько секунд выпрямилась и повернулась к девочке. Лицо ее напоминало страшную клоунскую маску, а голос походил на шипение змеи.

— Разбуди своего брата. Одевайтесь, оба. Возьми какую-нибудь одежду, для себя и для него. Быстрее! Быстрее, ну же!

Ее братик от ужаса потерял дар речи, когда выглянул в коридор из-за приоткрытой двери и увидел мужчин. Он смотрел на мать, растрепанную, всхлипывающую, пытающуюся впопыхах увязать в узел хоть какие-то вещи. Малыш собрал все силенки, которые нашлись в его четырехлетнем теле. Он отказывался двинуться с места, как ни упрашивала его сестра. Он просто не слушал ее и стоял неподвижно, скрестив руки на груди.

Девочка сбросила ночную рубашку, схватила хлопчатобумажную блузку, юбку. Сунула ноги в туфли. Брат молча наблюдал за ней. Из соседней комнаты до них доносился плач матери.

— Я пойду в наше секретное убежище, — прошептал он.

— Нет! — взмолилась она. — Ты идешь с нами.

Она схватила его, но он вырвался и скользнул в высокий, глубокий шкаф, встроенный в стену их спальни. Тот самый, в котором они любили играть в прятки. Они постоянно отсиживались в нем, закрыв за собой дверцы, и им казалось, что они сидят в собственном маленьком домике. Мама и папа, конечно, знали об этом тайнике, но делали вид, что ни о чем не догадываются. Они окликали их по именам, громко переговариваясь между собой: «Но куда же подевались эти непослушные дети? Ведь они были здесь буквально минуту назад!» А они с братом только тихонько хихикали от удовольствия.

В стенном шкафу у них был фонарик несколько подушек, игрушки, книги и даже фляжка с водой, которую мама меняла каждый день. Братик еще не знал буквы, поэтому девочка читала ему вслух «Маленького чертенка». Ему очень нравилась история о сироте Шарле и ужасной мадам Макмиш и о том, как Шарль поквитался с ней за жестокость и грубость. Девочка читала и вновь перечитывала ему эту книжку.

Она видела личико брата, когда он смотрел на нее из темноты. Он прижал к груди любимого плюшевого мишку, и ему больше не было страшно. Быть может, там он действительно будет в безопасности. У него есть вода и фонарик. И он может разглядывать картинки в книжке графини де Сегур, особенно одну из них, свою любимую, на которой изображена великолепная месть Шарля. Быть может, ей и в самом деле лучше оставить его там, хотя бы ненадолго. Эти мужчины никогда не найдут его. А она придет за ним позже, сегодня днем, когда им разрешат вернуться домой. И отец, по-прежнему прячущийся в погребе, будет знать, где искать его, если поднимется наверх.

— Тебе там не страшно? — негромко спросила она, когда вновь раздались голоса мужчин, приказывающих им пошевеливаться.


— Нет, — ответил он. — Мне нисколько не страшно. А ты запри дверь. Тогда они меня не найдут.

Она закрыла дверцу перед его маленьким побледневшим личиком и повернула ключ в замке. Потом сунула его в карман. Замок был скрыт накладным поворотным устройством, выполненным в виде фальшивого старомодного выключателя. Невооруженным взглядом

заметить очертания шкафа на фоне обивки было невозможно. Да, здесь он будет в безопасности. Она уверена в этом.

Девочка пробормотала его имя и прижала ладошку к деревянной панели.

— Позже я вернусь за тобой. Обещаю.



Мы вошли в квартиру, повозились с выключателями. Никакого толку. Антуан раздвинул на окнах жалюзи. Снаружи хлынул солнечный свет. Комнаты выглядели голыми и пыльными. Лишенная мебели гостиная казалась огромной. Золотистые лучи косо падали сквозь покрытые слоем копоти высокие оконные панели, покрывая рыжими пятнами темно-коричневые доски пола.

Я обвела взглядом пустые полки, более темные пятна на стенах, оставшиеся там, где раньше висели чудесные картины, облицованный изразцовой плиткой камин, в котором на моей памяти долгими зимними вечерами гудел огонь, а *Mamé* протягивала к пламени хрупкие, тонкие руки.

Я подошла к одному из окон и остановилась, глядя вниз на тихий, зеленый дворик. Я была рада, что *Mamé* уехала, не успев увидеть, как опустела ее квартира. Подобное зрелище наверняка бы ее расстроило. Как расстроило меня.

— Здесь по-прежнему пахнет бабушкой, — заявила Зоя. — Ее любимые духи «Шалимар».

— И до сих пор воняет этой ужасной Минеттой, — поддакнула я, наморщив нос. Минетта была последней любимицей бабушки. Сиамская кошка, страдающая недержанием мочи.

Антуан бросил на меня удивленный взгляд.

— Кошка, — пояснила я. На этот раз я говорила по-английски. Разумеется, я знала, что *a chatte* — это французский аналог английского существительного «кошка», причем в женском роде, но это слово могло означать и «влагалище». А мне совсем не хотелось, чтобы Антуан потешался над сомнительного качества игрой слов.

Антуан обвел квартиру профессиональным взглядом.

— Электропроводка совсем древняя, — заметил он, указывая на старомодные фарфоровые пробки. — И отопление ей под стать.

Гигантские радиаторы были черными от пыли и грязи и покрыты чешуйками, подобно рептилиям.

— Подождите, пока не увидите кухню и ванные комнаты, — предостерегла его я.

— У ванны есть настоящие когти, — заявила Зоя. — Мне будет их не хватать.

Тем временем Антуан осматривал стены, постукивая по ним с видом знатока.

— Полагаю, вы с Бертраном хотите сделать здесь капитальный ремонт? — поинтересовался он, глядя на меня.

Я лишь пожала плечами.

— Собственно говоря, я даже не знаю, каковы его намерения. Это была целиком и полностью его идея — переселиться сюда. Я вовсе не горела желанием переезжать, я предпочла бы что-нибудь... более практичное. И желательно новое.

Антуан ухмыльнулся.

— Но эти апартаменты будут выглядеть как новенькие, когда мы закончим здесь ремонт.

— Может быть. Но для меня они навсегда останутся квартирой *Mamé*.

На всем по-прежнему лежал отпечаток характера и вкуса *Mamé*, и это притом, что она вот уже девять месяцев как переехала в дом престарелых. Бабушка моего мужа прожила здесь долгие годы. Я до сих пор помню нашу первую встречу, которая состоялась шестнадцать лет назад. На меня произвели неизгладимое впечатление полотна старых мастеров, облицованный мрамором камин, на котором расположились семейные фотографии в серебряных рамках, обманчиво безыскусная, элегантная мебель, многочисленные книги, рядами выстроившиеся на полках в библиотеке, огромное пианино, покрытое роскошным покрывалом красного бархата. Залитая солнечными лучами гостиная выходила окнами в тихий внутренний дворик, где противоположную стену дома обвивали густые заросли плюща. Именно здесь я встретилась с ней в первый раз и протянула руку, испытывая неловкость, потому что не знала, как себя вести и стоит ли проявлять «эти поцелуйные французские штучки», как выражалась моя сестра Чарла.

С парижанкой не здороваются за руку, даже если вы видите ее в первый раз. Ее следует расцеловать в обе щеки.

Но тогда я этого не знала.



Мужчина в бежевом дождевике снова заглянул в список.

— Подождите, — сказал он, — не хватает еще одного ребенка.

Мальчика.

Он произнес имя мальчика вслух.

Сердце у девочки замерло. Мать посмотрела на нее. Девочка быстро прижала палец к губам. Мужчины не заметили этого движения.

— Где мальчишка? — требовательно спросил мужчина.

Девочка сделала шаг вперед, сжимая руки.

— Моего брата здесь нет, месье, — произнесла она на своем прекрасном французском, на каком говорят только истинные парижане. — Он уехал с друзьями еще в начале месяца. В деревню.

Мужчина в дождевике с сомнением уставился на нее. Потом дернул подбородком в сторону коллеги-полицейского.

— Обыщи квартиру. Только быстро. Может быть, здесь прячется и отец.

Полицейский тяжелой походкой двинулся в глубь квартиры, с грохотом открывая двери, заглядывая под кровати и в шкафы.

Пока он неуклюже ворочался в квартире, второй мужчина в нетерпении мерил шагами комнату. Когда он повернулся к ним спиной, девочка быстро показала матери ключ. Она беззвучно произнесла, усиленно шевеля губами: «Папа придет и спасет его. Папа обязательно придет позже». Мать согласно кивнула. Похоже, она хотела сказать девочке, что поняла, где мальчик. Но вдруг мать нахмурилась и сделала рукой жест, словно поворачивала ключ, открывая замок. Дескать, где ты намерена оставить ключ для папы и как он узнает, где он лежит? Мужчина быстро обернулся и с подозрением уставился на них. Мать замерла. Девочка задрожала от страха.

Несколько мгновений он молча смотрел на них, потом подошел к окну и закрыл его.

— Пожалуйста, — взмолилась мать, — здесь очень душно.

Мужчина улыбнулся. Девочка подумала, что более уродливой и неприятной улыбки ей еще не доводилось видеть.

— Пожалуй, мы все-таки оставим его закрытым, мадам, — возразил он. — А то сегодня утром одна дама выбросила в такое вот окно своего ребенка, а потом и сама выпрыгнула следом. И мне не хочется, чтобы подобное повторилось.

Мать ничего не ответила, она буквально оцепенела от ужаса. Девочка с негодованием воззрилась на мужчину, она возненавидела его — от макушки до пят. Его раскрасневшееся лицо и блестящие тонкие губы вызывали в ней омерзение. Ей был отвратителен мертвый взгляд его холодных глаз. И то, как он стоял посреди их квартиры, расставив ноги, надвинув шляпу на глаза и заложив за спину мясистые руки.

Она возненавидела его всем сердцем, возненавидела так, как никого и никогда прежде. Она возненавидела его сильнее, чем того ужасного мальчишку в школе, Даниэля, который едва слышно шептал в ее адрес непристойности и оскорбления, отвратительные вещи об акценте ее матери и отца.

Она прислушивалась к звукам обыска, учиненного неповоротливым и неуклюжим полицейским. Он не найдет мальчика. Шкаф совсем незаметен. Мальчик будет в безопасности. Они никогда не найдут его. Никогда.

Полицейский вернулся в комнату. Он пожал плечами и покачал головой.

— Здесь больше никого нет, — заявил он.

Мужчина в дождевике подтолкнул мать к двери. Он потребовал у нее ключи от квартиры. Мать молча и боязливо вручила их ему. Они гуськом двинулись вниз по ступенькам, медленно и неуверенно — матери мешали сумки и узлы, которые она несла в руках. Девочка раздумывала над тем, как передать ключ отцу. Где лучше его оставить? У *concierge*?^[4] Может быть, она еще спит в это время?

Странно, но *concierge* уже проснулась и стояла за дверью. Девочка заметила на ее лице необычное выражение злорадного торжества. Почему она так смотрит, подумала девочка, почему она не взглянет на нас, на мою маму, на меня? Почему она не сводит глаз с мужчин, как будто в упор не видит ни ее саму, ни ее мать, как будто она и знать их не знает? А ведь мать всегда была добра и любезна с этой женщиной, иногда она даже приглядывала за дочкой *concierge*, маленькой Сюзанной. Та часто капризничала, жалуясь на боли в животике, а мать всегда была с ней такой терпеливой, постоянно

напевала Сюзанне песенки на своем родном языке. Малышке это очень нравилось, и она засыпала, довольная и умиротворенная.

— Вы не знаете, где могут быть отец и сын? — поинтересовался полицейский, отдавая ей ключи от квартиры.


Concierge пожала плечами. Она по-прежнему не смотрела ни на девочку, ни на ее мать. Ключи она сунула в карман быстрым, вороватым движением, которое совсем не понравилось девочке.

— Нет, не знаю, — ответила она полицейскому. — В последнее время мужа я почти не видела. Может быть, он скрывается. Вместе с мальчишкой. Вы можете осмотреть подвал или служебные помещения наверху. Я вам покажу.

Малышка в [loge](#)^[5] начала хныкать. Concierge оглянулась через плечо в маленькую комнатку.

— У нас нет на это времени, — сказал мужчина в дождевике. — Впереди еще много дел. Если понадобится, мы вернемся сюда позже.

Concierge подошла к плачущему ребенку и, взяв его на руки, прижала к груди. Потом пробормотала, что знает о том, что в соседнем здании живут еще такие семьи. Она выговаривала их имена и фамилии с видом крайнего отвращения, словно это были непристойности или богохульства, подумала девочка, грязные слова, которые и произносить-то вслух стыдно.



Наконец Бертран сунул телефон в карман и перенес свое внимание на меня. Он улыбнулся мне одной из своих неотразимых и неповторимых улыбок. И в очередной раз я про себя подивилась тому, чем заслужила такого красивого мужа. Когда я впервые встретила его, много лет назад, катаясь на лыжах в Куршавеле, во Французских Альпах, он был стройным и выглядел совсем мальчишкой. И вот теперь, в возрасте сорока семи лет, став тяжелее и сильнее, он буквально излучал мужскую силу, неподражаемый французский шарм и стиль. Он походил на хорошее вино, которое с возрастом лишь обретает благородное изящество и крепость, в то время как я пребывала в полной уверенности, что моя собственная молодость затерялась и канула в Лету где-то между рекой Чарльз и Сеной. И уж конечно, достигнув средних лет, я отнюдь не расцвела. И если серебристые пряди и морщинки лишь оттеняли красоту Бертрана, то со мной все обстояло в точности наоборот.

— Ну и как? — спросил он, глядя меня по ягодицам небрежным, властным хозяйским жестом, нимало не смущаясь тем, что на нас смотрит его коллега и наша дочь. — Здесь великолепно, правда?

— Просто блеск, — эхом откликнулась Зоя. — Антуан только что сообщил нам, что здесь все придется переделывать. А это значит, что сюда мы переедем не раньше, чем через год.

Бертран рассмеялся. Смех его был чрезвычайно заразительным, таким своеобразным симбиозом гиены и саксофона. Вот в чем заключалась проблема с моим супругом. В его пьянящем и одурманивающем очаровании. А он любил включать его на полную мощность. Мне всегда было интересно, от кого он его унаследовал. От своих родителей, Колеты и Эдуарда? Дико интеллигентных, утонченных всезнаек. Но их никак нельзя было назвать очаровательными. От своих сестер, Сесиль и Лауры? Хорошо воспитанных, одаренных, с прекрасными манерами. Но они смеялись только тогда, когда чувствовали себя обязанными сделать это. Полагаю, очарование досталось ему в наследство от бабушки. От *Mamé*. Воинственной и агрессивной, непокорной и мятежной мадам.

— Антуан такой пессимист, — смеясь, заметил Бертран. — А переедем мы сюда очень скоро. Здесь, конечно, много работы, но мы воспользуемся услугами лучших специалистов.

Мы двинулись вслед за ним по длинному коридору со скрипучими половицами, заглядывая в спальни, окнами выходящие на улицу.

— Эту стену придется убрать, — объявил Бертран, и Антуан согласно кивнул. — Кухня должна быть поближе. В противном случае присутствующая здесь мисс Джермонд не сочтет апартаменты практичными.

Последнее слово он произнес по-английски, озорно подмигнув мне и выразительно жестикулируя, чтобы подчеркнуть смысл, который он вложил в эту фразу.

— Квартира довольно-таки большая, — заметил Антуан. — Роскошная квартира, я бы сказал.

— Сейчас да. Но в прежние времена она была совсем крохотной, и, конечно, намного скромнее, — возразил Бертран. — Моим бабушке с бабушкой пришлось пережить нелегкие времена. Дед начал прилично зарабатывать только в шестидесятые годы, и именно тогда он и приобрел квартиру напротив, объединив ее со своей.

— Получается, когда дедушка был еще ребенком, он жил здесь, в этой клетушке? — поинтересовалась Зоя.

— Совершенно верно, — согласился Бертран. — В этих крошечных комнатках. Здесь была комната его родителей, а сам он спал вот тут. Так что в то время квартира была намного меньше.

Антуан задумчиво постукивал по стенам.

— Да, я знаю, о чем ты думаешь, — улыбнулся Бертран. — Ты хочешь объединить две эти комнаты, верно?

— Правильно! — признал Антуан.

— Неплохая мысль. Но над ее осуществлением придется потрудиться, должен заметить. Вот эта стена с сюрпризом, я потом тебе покажу. Деревянная обшивка очень толстая. А внутри проложены трубы. Так что будет не так легко, как кажется на первый взгляд.

Я посмотрела на часы. Половина третьего пополудни.

— Мне пора идти, — заявила я. — У меня встреча с Джошуа.

— Что мы будем делать с Зоей? — поинтересовался Бертран.

Зоя закатила глаза.

— Я, в общем-то, могу вернуться на автобусе в Монпарнас.

— А как насчет школы? — напомнил Бертран.

Снова многозначительное закатывание глаз.

— Папа, сегодня среда. А по средам у меня нет занятий в школе, помнишь?

Бертран задумчиво почесал в затылке.

— Помнится, в мое время...

— Выходным днем был четверг, и по четвергам у тебя не было уроков в школе, — насмешливо пропела Зоя.

— Это все ваша дурацкая французская система образования, — вздохнула я. — Выходные дни посреди недели, зато занятия по субботам!


Антуан согласился бы со мной. Его сыновья ходили в частную школу, в которой не было занятий по субботам. Но Бертран, как и его родители, оставался стойким приверженцем французской системы бесплатного среднего образования. Я хотела отдать Зою в одну из двуязычных школ, таких в Париже было уже несколько, но клан Тезаков и слышать не желал ни о чем подобном. Зоя француженка, она родилась во Франции. Посему она пойдет во французскую школу. Сейчас она ходила в лицей Монтань, находящийся рядом с Люксембургским садом. Тезаки вечно забывали о том, что у Зои есть мать-американка. К счастью, моя дочь прекрасно владела английским. Я предпочитала разговаривать с ней только на своем родном языке, да и в Бостоне у моих родителей она бывала достаточно часто. Почти каждое лето она проводила в Лонг-Айленде, в обществе моей сестры Чарлы и ее семьи.

Бертран повернулся ко мне. В глазах у него появился знакомый блеск, которого я побаивалась. Этот блеск означал, что он намерен выкинуть либо что-то очень смешное, либо очень жестокое, либо то и другое вместе. Совершенно очевидно, Антуан тоже знал, что это означает, судя по тому, как он с преувеличенным вниманием погрузился в созерцание своих модельных легких кожаных туфель с кисточками.

— О да, в самом деле, нам всем прекрасно известно, какого мнения мисс Джермонд о наших школах, наших больницах, наших бесконечных забастовках, наших долгих каникулах, нашей водопроводной системе, нашей почтовой службе, нашем телевидении, наших политиках, нашем собачьем дерьме на тротуарах, — разразился

тирадой Бертран, улыбаясь и демонстрируя мне свои безупречные зубы. — Мы слышали об этом уже неоднократно, даже слишком часто, не так ли? А мне так нравится бывать в Америке, в *чистой* и безупречной Америке, где все подбирают собачье дерьмо, в славной Америке!

— Папа, прекрати, это жестоко и несправедливо! — возмутилась Зоя и взяла меня за руку.



Выйдя на улицу, девочка увидела соседа в пижаме, который высунулся из окна. Он был хорошим человеком, этот учитель музыки. Он играл на скрипке, и она любила слушать его. Он часто играл для нее и братика, сидя у окна на другой стороне двора. Это были старинные французские песенки, вроде «Sur le pont d'Avignon» или «A la Claire fontaine», а также песни родной страны ее родителей, песни, заслышав которые ее мама и папа пускались в пляс. Мать весело скользила по доскам пола, а отец все кружил и кружил ее, пока оба, обессиленные, не падали на диван.

— Что вы делаете? Куда вы их ведете? — воскликнул он.

Его голос эхом прокатился по двору, заглушая плач ребенка.

Мужчина в дождевике не снизошел до ответа.

— Но вы не можете так поступить, — выкрикнул сосед. — Это хорошие, честные люди! Вы просто не можете так поступить!

При звуках его голоса в окнах начали раздвигаться жалюзи, и из-за занавесок стали выглядывать любопытные лица.

Но девочка заметила, что никто не сдвинулся с места, никто не сказал ни слова. Они просто смотрели.

Мать вдруг резко остановилась, спина ее сотрясалась от сдерживаемых рыданий. Мужчины подтолкнули ее вперед.

Соседи молча смотрели на происходящее. Даже учитель музыки больше не проронил ни слова.

Внезапно мать развернулась и закричала, закричала изо всех сил. Она выкрикнула имя своего мужа, три раза подряд.

Мужчины подхватили ее под руки, грубо встряхнули. Она выронила свои сумки и узлы. Девочка попыталась помешать им, но они отшивырнули ее в сторону.

В дверном проеме появился человек в измятой одежде, он был худощав, небрит, с покрасневшими и усталыми глазами. Он зашагал через двор, стараясь не сутулиться и держаться прямо.

Подойдя к мужчинам, он сказал им, как его зовут. В речи его слышался сильный акцент, как и у женщины.

— Заберите меня вместе с семьей, — сказал он.

Девочка сунула ладошку в руку отца.

Наконец-то я в безопасности, подумала она. Она была в безопасности, рядом с ней были ее отец и мать. Этот кошмар не может продолжаться долго. В конце концов, это ведь французские полицейские, а не гитлеровцы. Никто не причинит им вреда.

Совсем скоро они вернутся домой, в свою квартиру, и мама приготовит завтрак. А маленький мальчик вылезет из своего убежища. Отец отправится в мастерскую, расположенную дальше по улице, где он работает бригадиром и вместе с другими рабочими делает пояса, сумки и кошельки. Все снова будет как раньше. И очень скоро все опять наладится.

Взошло солнце. Узкая улица была пуста. Девочка оглянулась на их дом, на молчаливые лица в окнах, на concierge, баюкающую на руках маленькую Сюзанну.

Учитель музыки медленно поднял руку в прощальном жесте.

Она помахала ему в ответ и улыбнулась. Все будет в порядке. Она вернется, они все вернутся обратно.

Но учитель музыки, кажется, думал по-другому. Черты его лица исказились от боли, из глаз медленно потекли слезы бессилия, беспомощности и стыда, понять которые девочка не могла.

— Мои слова кажутся тебе грубыми? Твоя мать обожает подобные штучки, — ухмыльнулся Бертран, подмигивая Антуану. — Правда, любовь моя? Ведь я прав, *cherie*,^[6] не так ли?

Он принялся расхаживать по гостиной, прищелкивая пальцами и мурлыча под нос мелодию из кинофильма «Вестсайдская история».

В присутствии Антуана я почувствовала себя крайне глупо и неловко. Ну почему Бертран всегда получает удовольствие оттого, что выставляет меня необъективной, лицемерной американкой-притворщицей, которая критикует все французское? И почему я просто стою и позволяю ему издеваться над собой? Когда-то это было даже смешно и немножко пикантно. В самом начале нашего брака это была его классическая шутка, которая заставляла всех наших друзей, и французов, и американцев, покатываться со смеху. Но это было давно.

Я улыбнулась, по своему обыкновению. Но сегодня эта улыбка даже мне самой показалась несколько напряженной.

— Ты когда в последний раз навещал *Mamé*? — поинтересовалась я.

Бертран уже занялся какими-то измерениями, что-то бормоча себе под нос.

— Что?

— Когда ты навещал *Mamé*? — терпеливо повторила я. — Мне кажется, она хотела бы увидеться с тобой. Чтобы поговорить о квартире.

Он встретился со мной взглядом.

— У меня пока нет на это времени, *amor*.^[7] А ты ходила?

Умоляющий взгляд.

— Бертран, ты же знаешь, я бываю у нее каждую неделю.

Он вздохнул.

— Она ведь *твоя* бабушка, — заметила я.

— А любит она тебя, *l'Americaine*,^[8] — улыбнулся он. — И я тоже, малышка.


Он подошел и нежно поцеловал меня в губы.

Американка. «Итак, вы американка», — констатировала *Mamé* тогда, давным-давно, много лет назад, в этой самой комнате, глядя на меня своими задумчивыми серыми глазами. *L'Americaine*. И от ее слов я действительно ощутила себя настоящей американкой, с растрепанными волосами, легкими теннисными туфлями и идиотской доброжелательной улыбкой. И какой истой француженкой выглядела при этом семидесятилетняя женщина с прямой и строгой осанкой, прямым носом патриция, безупречной прической и мудрыми глазами. И все-таки я полюбила *Mamé* с самого первого раза. Полюбила ее необычный, грудной смех. Полюбила ее сухое чувство юмора.

И даже сегодня я вынуждена была признать, что она нравится мне намного больше родителей Бертрана, которые до сих пор заставляли меня чувствовать себя «американкой». И это невзирая на то, что я вот уже четверть века живу в Париже, пятнадцать лет замужем за их сыном и произвела на свет их первую внучку, Зою.

Спускаясь вниз и вновь с отвращением глядя на свое отражение в зеркале лифта, я вдруг подумала, что слишком долго мирилась с подколками и подковырками Бертрана, реагируя на них лишь безобидным и безответным пожиманием плечами.

Но сегодня по какой-то непонятной причине я вдруг решила, что с меня хватит.



Девочка старалась держаться поближе к родителям. Они шли и шли по их улице, и мужчина в бежевом дождевике все время поторапливал их. Интересно, куда мы идем, спросила она себя. Почему мы так спешим? Им приказали войти в большой гараж. Она узнала это место — отсюда было совсем недалеко до дома, где она жила, и до мастерской, в которой работал отец.

В гараже над разобранными моторами склонились мужчины в синих комбинезонах, перепачканных маслом. Они молча смотрели на них. Никто не произнес ни слова. Потом девочка заметила большую группу людей, стоящих в гараже, у их ног громоздились узлы и корзины. Здесь находились, главным образом, женщины и дети, решила она. Некоторых она немного знала. Но никто не осмелился поздороваться с ними или приветствовать взмахом руки. Спустя какое-то время появились двое полицейских. Они стали выкрикивать имена. Отец девочки поднял руку, когда прозвучала их фамилия.

Девочка огляделась по сторонам. Она увидела мальчика, которого знала со школы, Леона. Он выглядел усталым и испуганным. Она улыбнулась ему, ей хотелось успокоить его, сказать, что все будет в порядке и что скоро они отправятся обратно по домам. Это недоразумение не может длиться долго, и вскоре их обязательно отправят домой. Но Леон смотрел на нее, как на сумасшедшую. Она опустила глаза, и на щеках у нее выступил жаркий румянец. Может быть, она все-таки ошибается. Сердце гулко стучало у нее в груди. Может быть, все будет совсем не так, как она себе представляла. Она чувствовала себя очень наивной, юной и глупой.

К ней наклонился отец. Щетина у него на подбородке защекотала ей ушко. Он назвал ее по имени. А где же ее братик? Она показала ему ключ. Маленький братишка сидит в безопасности в их шкафу, прошептала она, чрезвычайно гордая собой. Там с ним ничего не случится.

Глаза ее отца как-то странно и необычно расширились. Он схватил ее за руку. Все в порядке, проговорила она, с ним все будет в порядке. Шкаф глубокий, так что в нем достаточно воздуха. И у него есть вода и фонарик. С ним все будет в порядке, папа. Ты не

понимаешь, ответил отец, ты ничего не понимаешь. К своему огорчению, она увидела, как глаза его наполнились слезами.

Она потянула его за рукав. Она не могла вынести зрелища плачущего отца.

— Папа, — сказала она, — мы ведь вернемся домой, правда? Мы ведь вернемся домой после того, как они назовут наши фамилии?

Ее отец вытер глаза. Он посмотрел на нее сверху вниз. Потухшими, грустными глазами, в которые она не могла заставить себя взглянуть.

— Нет, — ответил он, — мы не вернемся домой. Они не позволят нам вернуться.

Она вдруг ощутила, как в душе у нее зашевелилось какое-то холодное и страшное предчувствие. Она снова вспомнила подслушанные разговоры, лица родителей, которые она видела из-за приоткрытой двери, их страх и отчаяние в глухую полночь.

— Что ты имеешь в виду, папа? Куда мы идем? Почему мы не вернемся домой? Скажи мне! Немедленно ответь мне!

Последние слова она почти выкрикнула.

Отец смотрел на нее с высоты своего роста. Он снова назвал ее по имени, но очень тихо. Глаза у него по-прежнему были влажными, а на кончиках ресниц дрожали слезинки. Он погладил ее по голове.

— Ты должна быть храброй, моя маленькая девочка. Мужайся, соберись с духом.

Она даже не могла заплакать. Охвативший ее страх был таким сильным, что заглушил все остальные чувства. Казалось, что он, подобно вакууму, высасывал из нее все эмоции до единой.

— Но ведь я пообещала ему, что вернусь. Я пообещала вернуться за ним, папа.

Девочка увидела, что он опять заплакал, что он снова не слушает ее. Он погрузился в пучину страха и отчаяния.

Им приказали выйти наружу. Улица была пуста, если не считать вереницу автобусов, выстроившихся у тротуара. Это были самые обычные автобусы, на которых девочка ездила по городу с матерью и братиком: обыкновенные зеленые и белые автобусы, с открытой площадкой сзади.

Собравшимся приказали садиться в автобусы, и полицейские принялись пинками подгонять их. Девочка снова огляделась в поисках

серо-зеленых мундиров, отрывистой, гортанной речи, которую уже привыкла бояться. Но это были всего лишь полицейские. Французские полицейские.

Глядя сквозь запыленное окно автобуса, она узнала одного из них, молодого рыжеволосого парнишку, который часто помогал ей перейти улицу, когда она возвращалась из школы. Она постучала по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Но когда глаза их встретились, он быстро отвернулся и стал смотреть в другую сторону. Он казался смущенным, почти раздраженным. Интересно, почему, подумала она. Когда людей силой заталкивали в автобусы, какой-то мужчина запротестовал, и его ударили в спину. Один из полицейских закричал, что застрелит любого, кто попытается убежать.

Равнодушно и без интереса девочка смотрела, как за окном автобуса мелькают дома и деревья. Она могла думать только о своем братике, который остался в запертом шкафу в пустом доме и ждет ее. Она могла думать только о нем и больше ни о чем. Они пересекли мост, и девочка увидела внизу сверкающие воды Сены. Куда они едут? Папа не знал. Никто не знал. И всем было очень страшно.

Раскатистый удар грома потряс и напугал их. С неба обрушился ливень, такой сильный, что автобус вынужден был остановиться. Девочка слушала, как дождевые капли барабанили по крыше автобуса. Но дождь продолжался недолго. Вскоре автобус снова двинулся в путь, и под его колеса с шипением ложилась высыхающая брусчатка. Выглянуло солнце.

Автобус остановился, и пассажиры вышли наружу, нагруженные узлами, чемоданами, волоча за собой плачущих и хныкающих детей. Улица, на которой они оказались, была девочке незнакома. Ей еще никогда не приходилось бывать здесь. Вдалеке она увидела станцию надземного метро.

Их повели к большому серому зданию. На нем что-то было написано крупными черными буквами, только она не могла разобрать, что именно. Зато она заметила, что улица забита такими же семьями, как и ее. Люди выходили из автобусов, подгоняемые криками полицейских. И снова это были только французские полицейские.

Крепко стиснув руку отца, подталкиваемая со всех сторон, она оказалась внутри огромного крытого здания. Здесь была масса людей — и в центре арены, и на жестких металлических стульях на

трибунах вокруг. Сколько здесь собралось людей? Она не знала. Сотни. И к ним присоединялись все новые и новые беженцы. Девочка подняла глаза к гигантской голубой застекленной крыше в форме купола. Оттуда, сверху, на них смотрело безжалостное солнце.

Отец нашел место, где они смогли присесть. Девочка наблюдала за нескончаемым потоком людей, который все увеличивался. Гул голосов сливался в непрерывный шум, который становился громче и громче. Хныкали дети, всхлипывали и плакали женщины. Духота была просто невыносимая, и по мере того как солнце поднималось выше, дышать становилось все труднее. Свободного места почти не осталось, они все теснее и теснее прижимались друг к другу. Она смотрела на мужчин и женщин, на детей, на их измученные лица, вглядывалась в испуганные глаза.

— Папа, — спросила она, — сколько еще мы пробудем здесь?

— Не знаю, хорошая моя.

— А почему мы здесь?

Она положила ладошку на желтую звезду, нашитую на блузке спереди.

— Это из-за нее, правда? — сказала она. — Такая же штука есть у всех здесь.

Ее отец уныбнулся. Это была грустная и трогательная улыбка.

— Да, — ответил он. — Это из-за нее.

Девочка нахмурилась.

— Это нечестно, папа, — свистящим шепотом произнесла она. — Это нечестно.

Он прижал ее к себе, ласково называя по имени.


— Да, моя славная, ты права, это нечестно.

Она прижалась к нему всем телом, щекой ощущая звезду, которую он носил на куртке.

Примерно месяц назад мать нашила звезды на всю ее одежду. И не только ей, но и всем остальным членам их семьи, кроме маленького братика. А перед этим на их удостоверениях личности появился штамп со словами «еврей» или «еврейка». Неожиданно оказалось, что им запрещено делать много всяких вещей. Например, играть в парке. Или кататься на велосипеде, ходить в кино, в театр, в ресторан, в плавательный бассейн. Или брать книжки из библиотеки на дом.

Она видела надпись, которая, казалось, появилась теперь повсюду: «Евреям вход воспрещен». А на дверях мастерской, в которой работал отец, кто-то повесил большую табличку, гласившую: «Еврейская компания». Маме пришлось ходить в магазин после четырех часов, когда на прилавках уже ничего не оставалось, потому что продукты продавались по карточкам. В метро они должны были ездить в последнем вагоне. И они обязаны были приходить домой до наступления комендантского часа и оставаться там до самого утра, не смея выйти на улицу. Интересно, что им еще разрешалось? Ничего. Совсем ничего, подумала она.

Это нечестно. Нечестно, и все тут. Но почему? За что? Откуда все это взялось? Похоже, что никто не мог объяснить этого и ответить на ее вопросы.



Джошуа уже поджидал меня в комнате для совещаний, потягивая слабый кофе, к которому питал необъяснимую слабость. Я поспешила войти и уселась между Бамбером, директором службы фоторепортажа, и Алессандрой, выпускающим редактором.

Комната выходила на деловую и шумную рю де Марбеф, находившуюся в двух шагах от Елисейских Полей. Я не очень любила эту часть Парижа — слишком шумную, яркую и зачастую безвкусную, но уже привыкла приходить каждый день сюда, где по широким пыльным тротуарам в любое время дня и ночи и в любое время года сновали толпы туристов.

Вот уже шесть лет я писала статьи для еженедельного американского журнала «Зарисовки Сены». Журнал выходил в печатном виде, но его можно было найти и на сайте в Интернете. Обычно я писала о событиях, которые могли представлять интерес для проживающей в Париже американской диаспоры. Мой раздел назывался «Местные достопримечательности» и включал в себя новости общественной и культурной жизни — выставки, спектакли, кинофильмы, рестораны, книги — и предстоящие выборы президента Франции.

В общем-то, работа была нелегкой. Сроки всегда были очень жесткими. Джошуа был настоящим тираном. Он мне нравится, но от этого не перестает быть тираном. Джошуа принадлежит к тем боссам, которые не склонны проявлять уважение или снисхождение к личной жизни, браку и детям. Если какая-то из сотрудниц ухитрялась забеременеть, она превращалась для него в пустое место. Если у кого-нибудь из нас заболел ребенок, мы удостоивались гневного взгляда и недовольного начальственного рыка. Но зато он обладал острым взглядом, талантом настоящего редактора и великолепным чувством времени. Мы все склоняли головы, признавая его главенство. Мы жаловались на него друг другу, стоило ему только повернуться к нам спиной, но при этом мы обожали его. Коренной уроженец Нью-Йорка, которому уже перевалило за пятьдесят, Джошуа выглядел обманчиво мирным и тихим. У него было вытянутое лицо и сонные, прикрытые тяжелыми веками глаза. Но стоило ему открыть рот, и сразу же

становилось ясно, кто здесь главный. Джошуа выслушивали и повиновались ему беспрекословно. И никто не осмеливался перебить его.

Бамбер родился в Лондоне. Возраст его приближался к тридцати годам. Ростом он вымахал выше шести футов, носил очки с дымчатыми стеклами и красил волосы в невероятный желто-коричневый мелированный цвет. Он обладал блестящим английским чувством юмора, которое приводило меня в восторг, но которое редко понимал Джошуа. Я питала слабость к Бамберу. Он был надежным и умелым коллегой, товарищем по работе. Кроме того, он чудесно умел разряжать обстановку, когда Джошуа бывал не в духе и срывал зло на нас. Бамбера хорошо было иметь в друзьях и союзниках.

Алессандра была наполовину итальянкой, невероятно амбициозной молодой женщиной с чудесной гладкой кожей. Она была очень красива, обладала копной блестящих черных кудрей и полными, влажными губами, при одном взгляде на которые мужчины теряли голову. Я так до сих пор и не решила, нравится она мне или нет. Она была вдвое моложе меня, но получала уже столько же, сколько и я, пусть даже в выходных данных журнала моя фамилия стояла выше ее.

Джошуа перебирал гранки очередного номера журнала. В нем должна была появиться большая передовая статья о грядущих президентских выборах, которые превратились в объект повышенного интереса с того момента, как Жан-Мари Ле Пен одержал победу в первом туре. Меня не особенно вдохновляла мысль о том, чтобы писать на эту тему, и втайне я была рада, когда это задание досталось Алессандре.

— Джулия, — начал Джошуа, глядя на меня поверх очков, — это твоя епархия. Шестидесятая годовщина событий на «Вель д'Ив».

Я откашлялась, чтобы скрыть смущение. О чем он говорит? Мне показалось, что он пробормотал что-то вроде «вельдиф».

Это слово было для меня пустым звуком.

Алессандра одарила меня снисходительным и покровительственным взглядом.

— Шестнадцатое июля сорок второго года. И это вам ни о чем не говорит? — поинтересовалась она. Иногда я ненавидела ее высокий голос мисс Всезнайки. Как сегодня, например.

Эстафету подхватил Джошуа.

— Грандиозная облава на «Велодроме д'Ивер». Отсюда и пошло сокращение «Вель д'Ив». Знаменитый крытый стадион, на котором проводились трековые велосипедные гонки. Тысячи еврейских семей, запертые на стадионе, провели там много дней в ужасающих условиях. А потом их отправили в Аушвиц. В газовые камеры.

В голове у меня забрезжили кое-какие воспоминания. Но очень слабые.

— Да, помню, — твердо заявила я, глядя Джошуа в глаза. — Хорошо, и что дальше?

Он пожал плечами.

— Почему бы тебе не начать с того, что отыскать тех, кто выжил после «Вель д'Ив», или свидетелей тех событий? А потом вплотную заняться самой торжественной церемонией — кто именно ее организует, когда и где. И наконец, представить некоторые факты. О том, что именно там произошло. Это деликатное поручение, ты меня понимаешь. Французы не особенно любят вспоминать о Виши, Петэне^[9] и прочем. Это не та страница их истории, которой можно гордиться.

— Есть один человек, который может вам помочь, — сообщила мне Алессандра уже не таким снисходительным тоном. — Его зовут Франк Леви. Он создал одну из самых больших ассоциаций, которая помогала евреям отыскать своих родственников после Холокоста.

— Я слышала о нем, — обронила я, записывая его имя в блокнот. Это было правдой. Франк Леви был видным общественным деятелем. Он устраивал пресс-конференции и писал статьи об украденных у евреев вещах и драгоценностях, об ужасах депортации.

Джошуа одним глотком допил кофе.

— Никакого слюнтяйства, — подытожил он. — Никакой сентиментальности. Только факты. Свидетельские показания. И... — он перевел взгляд на Бамбера, — хорошие, сильные фотографии. Просмотри и архивные материалы на эту тему. Ты найдешь там совсем немного, скорее всего, но, может быть, этот малый, Леви, сумеет тебе помочь.

— Я начну с того, что поеду на «Вель д'Ив», — заявил Бамбер. — Взгляну сам, что там и как.

Джошуа криво улыбнулся.

— «Вель д'Ив» больше не существует. Его снесли еще в пятьдесят девятом году.

— А где он вообще находился? — задала я вопрос, про себя радуясь тому, что не одна оказалась невеждой.

Мне снова ответила Алессандра.

— На рю Нелатон. В пятнадцатом *arrondissement*^[10] Парижа.

— По-моему, нам все равно стоит съездить туда, — предложила я, глядя на Бамбера. — Может быть, на той улице все еще живут люди, которые помнят, как все было.

Джошуа в ответ лишь пожал плечами.

— Можно попробовать, — задумчиво изрек он. — Но не думаю, что вы найдете много людей, которые захотят разговаривать с вами. Как я уже говорил, французы очень чувствительны, а этот вопрос вообще чрезвычайно деликатный. Не забывайте, все эти еврейские семьи арестовывала именно французская полиция, а вовсе не нацисты.

Слушая Джошуа, я поняла, сколь мало мне известно о том, что произошло в Париже в июле сорок второго года. Когда я училась в школе в Бостоне, нам об этом ничего не рассказывали. И даже когда я приехала в Париж двадцать пять лет назад, мне немного довелось прочитать на эту тему. Это был своего рода секрет, тайна, похороненная в прошлом. Нечто такое, о чем никто не хотел говорить. Мне не терпелось усесться перед компьютером и начать поиски нужных материалов в Интернете.

Как только совещание закончилось, я сразу же направилась в свою клетушку, носившую громкое название «офис» и выходившую окнами на шумную рю Марбеф. Мы сидели, что называется, друг у друга на головах. Но я привыкла к тесноте, и она не доставляла мне особых неудобств. У меня и дома не было своего угла, где я могла бы спокойно сесть и писать. Но Бертран пообещал, что в новой квартире у меня будет своя большая, отдельная комната. Мой личный кабинет. Наконец-то. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Своего рода роскошь, к которой еще следовало привыкнуть.


Я включила компьютер, вошла в Интернет и отправилась на поисковый сервер Google. В строке поиска я набрала фразу: «velodrome d'hiver vel d'hiv». Ссылок оказалось великое множество. Бóльшая часть их была на французском, и во многих приводились многочисленные подробности происшедшего.

Я читала весь остаток дня. Я ничем больше не занималась, только читала, сохраняла найденную информацию и искала книги об оккупации и облавах. Многие книги, как я обратила внимание, так и не увидели свет в печатном варианте. Мне стало интересно, почему. Потому что никто не хотел читать о «Вель д'Ив»? Потому что эти события больше никого не интересовали? Я даже позвонила в парочку книжных магазинов. Мне ответили, что найти эти книги будет нелегко. Пожалуйста, попробуйте, попросила я.

Выключив компьютер, я ощутила невероятную усталость. У меня болели глаза. В голове и на сердце лежала тяжесть от прочитанного.

На стадион «Вель д'Ив» полиция согнала свыше четырех тысяч еврейских детишек в возрасте от двух до двенадцати лет. Большинство из них были французами, они родились во Франции.

И никто из них не вернулся из Аушвица.



День тянулся и тянулся, казалось, что он никогда не закончится. Прижавшись к матери, девочка наблюдала за тем, как люди вокруг теряли чувство реальности и медленно сходили с ума. Ни воды, ни еды не было. Жара стояла невыносимая. В воздухе висела сухая, невесомая пыль, от которой щипало в глазах и першило в горле.

Огромные ворота, ведущие на стадион, были закрыты. Вдоль стен выстроились молчаливые полицейские, направив на людей оружие. Идти было некуда. Делать было нечего. Оставалось только сидеть и ждать. Ждать чего? Что будет с ними, с их семьей, со всеми этими людьми, собравшимися здесь?

Вместе с отцом девочка попыталась найти туалетные комнаты, находящиеся по другую сторону арены. Там их встретила невероятная вонь. Туалетов было всего несколько, на такую толпу их никак не могло хватить, и вскоре они вышли из строя. Девочке пришлось присесть на корточки у стены, чтобы облегчиться. При этом ее едва не стошнило, и она вынуждена была зажать рот ладошкой. Повсюду, где только можно и где нельзя, приседая на испачканном полу, мочились и испражнялись люди, сломленные, сгоравшие от стыда и уже потерявшие его. Девочка увидела внушительную и величавую пожилую даму, которую загоразживал своим пальто супруг. Другая женщина буквально задыхалась от ужаса, закрыв лицо руками и безостановочно качая головой из стороны в сторону.

Девочка шла сквозь толпу за отцом к тому месту, где они оставили мать. Им буквально приходилось протискиваться через это вавилонское столпотворение. Повсюду на сиденьях и в проходах громоздились узлы, сумки, матрасы, а самой арены не было видно, кругом чернели головы людей. Интересно, подумала девочка, сколько же здесь человек? По проходам между рядами бегали чумазые и перепачканные дети, они просили пить. Беременная женщина, смертельно бледная от жары и жажды, отчаянно кричала, что умрет, умрет прямо сейчас. Внезапно какой-то пожилой мужчина, потеряв сознание, мешком повалился на грязный пол. Его посиневшее

лицо исказила судорога. Никто не сделал ни малейшего движения, чтобы помочь ему.

Девочка присела рядом с матерью. Та сидела совершенно спокойно и очень тихо. Она почти не разговаривала. Девочка взяла мать за руку и пожала ее, мать никак не отреагировала. Отец поднялся на ноги и подошел к полицейскому, чтобы попросить у него воды для ребенка и жены. Тот коротко обронил, что в данный момент воды нет. Отец заявил, что это отвратительно, что с ними нельзя обращаться, как с животными. Полицейский молча отвернулся.

Девочка снова заметила Леона, мальчика, которого уже видела в гараже. Он пробирался сквозь толпу, не сводя глаз с гигантских ворот. Она обратила внимание, что у него на одежде нет желтой звезды. Она была оторвана. Девочка поднялась и подошла к нему. Лицо у него было чумазое, перепачканное сажей. На левой щеке красовался синяк, еще один виднелся на шее, возле ключицы. Она на мгновение задумалась над тем, что и сама наверняка выглядит такой же усталой и измученной.

— Я ухожу отсюда, — негромко произнес он. — Так сказали мне родители. Я ухожу немедленно.

— Но как? — спросила она. — Полицейские не выпустят тебя.

Мальчик перевел на нее взгляд. Он был ее ровесником, ему недавно исполнилось десять, но выглядел он намного старше. В его облике не осталось ничего детского, мальчишеского.

— Я что-нибудь придумаю, — ответил он. — Родители сказали, чтобы я уходил. Они оторвали мою звезду. Это единственный способ... В противном случае — конец. Конец всем нам.

И снова девочка почувствовала, как в сердце вполз ледяной холодок страха. Конец? Неужели этот мальчишка прав? Неужели это действительно конец?

Он пристально уставился на нее, и во взгляде его сквозило легкое презрение.

— Ты ведь не веришь мне, правда? Тебе лучше пойти со мной. Оторви свою звезду и пойдём со мной. Мы спрячемся где-нибудь. Я позабочусь о тебе. Я знаю, что делать.

Девочка подумала о маленьком братике, который сидел в шкафу и ждал ее. Она потрогала гладкий ключ в кармане. Она ведь и в самом

деле может пойти с этим умным, ловким мальчиком. Она может спасти и братика, и себя.

Но она чувствовала себя слишком маленькой, слишком уязвимой, чтобы совершить нечто подобное в одиночку. Девочка была так напугана. А ее родители... Мать, отец... Что будет с ними? И вообще, правду ли говорит этот мальчик? Может ли она доверять ему?

Чувствуя ее нерешительность, он взял ее за руку.

— Пойдем со мной, — настойчиво сказал он.

— Не знаю, — пробормотала она.

Он отступил от нее на шаг.

— А я все решил. Я ухожу. Прощай.

Она смотрела, как он пробирается к выходу. Полицейские как раз открыли ворота, чтобы впустить новую группу людей: стариков на носилках, в креслах-каталках, бесконечную череду хнычущих детей, заплаканных женщин. Она смотрела, как ловко Леон пробирается сквозь толпу, выжидая подходящую минуту.

В какой-то момент полицейский схватил его за воротник и отшвырнул назад. Быстрый и ловкий, мальчик вскочил на ноги и снова начал пробираться к воротам, подобно пловцу, искусно и умело сражающемуся с сильным течением. Девочка следила за ним как замороженная.

Несколько женщин яростно атаковала полицейских у входа, требуя воды для детей. На мгновение стражи порядка явно растерялись, не зная, что предпринять. Девочка видела, как в поднявшейся суматохе мальчуган легко проскользнул в ворота, быстрый, как молния. Секунда, и он исчез.

Она вернулась к родителям. На город медленно опускалась ночь, и девочка ощутила, что в ней, как и в тысячах других людей, запертых здесь, поднимается безысходное отчаяние. Это было неподдающееся описанию отчаяние, жуткое, страшное, с которым невозможно было совладать, и ее охватила паника.

Девочка попыталась закрыть глаза, нос, уши, отгородиться от запаха, пыли, жары, от стонов и криков боли, от зрелища плачущих взрослых, хнычущих детей, но у нее ничего не получалось.

Она могла только беспомощно смотреть, не в силах сделать хоть что-то. Откуда-то сверху, из-под самого купола, где люди

сидели небольшими кучками, донесся шум. Девочка услышала душераздирающий крик, потом увидела, как через балюстраду перевалилась куча трепыхающейся одежды, и до нее донесся глухой удар. Толпа дружно ахнула.

— Папа, что это было? — спросила она.


Отец попытался заставить ее отвести глаза в сторону.

— Ничего, хорошая моя, ничего особенного. Это просто узел с одеждой, он упал сверху.

Но девочка видела, что произошло, и поняла все. Молодая женщина, ровесница ее матери, и маленький ребенок. Женщина спрыгнула, прижав к себе ребенка, с самой высокой точки балюстрады.

Со своего места девочка видела изломанное тело женщины и окровавленную головку ребенка, лопнувшую подобно перезрелому помидору.

Девочка опустила голову и заплакала.



Когда я была маленькой и жила в доме под номером 49 по улице Гислоп-роуд в Бруклине, штат Массачусетс, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я перееду во Францию и выйду замуж за парижанина. Я считала, что останусь в Штатах навсегда. В одиннадцать я без памяти влюбилась в Эвана Фроста, соседского парнишку. Он был веснушчатым подростком с кривыми зубами, словно сошедшим с картин Нормана Рокуэлла,^[11] чья собака Черныш обожала играть на замечательных цветочных клумбах моего отца.

Мой отец, Шон Джермонд, преподавал в Массачусетском технологическом институте.^[12] Он казался воплощением «чокнутого профессора» со своей взлохмаченной шевелюрой и совиными очками. Но при этом папа был очень популярен, и студенты любили его. Моя мать, Хитер Картер Джермонд, была в прошлом чемпионкой по теннису, родом из Майами, этакая спортивная, загорелая дамочка, которая, казалось, никогда не постареет. Она помешалась на йоге и здоровом питании.

По воскресеньям отец и наш сосед, мистер Фрост, устраивали дикие перебранки через забор из-за того, что Черныш затоптал превосходные отцовские тюльпаны, а мать пекла на кухне кексы с медом и отрубями и вздыхала. Она старалась всячески избегать конфликтов. Не обращая внимания на этот бедлам, моя сестрица Чарла смотрела сериалы «Остров Гиллигана» или «Гонщик» в гостиной, погонными метрами поглощая красные лакричные палочки. А наверху мы с моей подругой Кэти Лейси подглядывали из-за занавесок за великолепным Эваном Фростом, который резвился вместе с угольно-черным Лабрадором, вызывавшим припадки эпилептического буйства у моего отца.

У меня было счастливое и благополучное детство. Никаких потрясений, никаких сцен или коллизий. Я ходила в школу Ранкля на нашей же улице. Спокойные обеды в Дни Благодарения. Веселые и уютные празднества на Рождество. Долгие и ленивые летние каникулы в Наханте. Спокойные недели складывались в безмятежные месяцы. Единственный раз я перепугалась до смерти, когда в пятом классе моя

учительница, вечно восторженная мисс Себольд, прочла нам вслух «Сердце-обличитель» Эдгара Алана По. Благодаря ей несколько лет подряд мне снились по ночам кошмары.

И только став подростком, я ощутила первые внутренние позывы посетить Францию. Эта страна манила меня неким тайным и даже таинственным очарованием и притягательностью, которые становились сильнее с каждым прожитым годом. Почему именно Франция? Почему именно Париж? Французский язык всегда привлекал меня. Я считала его более мягким и чувственным по сравнению с немецким, испанским или итальянским. Помнится, у меня здорово получалось подражать голоску французского скулса, Пепе ле Пью, из «Песенок с приветом».^[13] Но в глубине души я сознавала, что крепнущее у меня стремление непременно побывать в Париже не имеет ничего общего с бытующими в Америке клише о поисках романтики, смысла жизни и сексуальной свободы. Все было намного сложнее.

Когда я впервые открыла для себя Париж, то была поражена контрастами, таившимися в этом городе. Дешевые и грубые кварталы привлекали меня так же, как и его величественные и роскошные округа. Я обожала его парадоксы, его секреты, его сюрпризы. Мне понадобилось двадцать пять лет, чтобы стать здесь своей, но я добилась цели. Я научилась мириться с нетерпеливыми официантками и грубыми водителями такси. Я научилась ездить по кольцу на Place de l'Etoile,^[14] не обращая внимания на оскорбления, которыми осыпали меня взбешенные водители автобусов и — что было намного удивительнее — элегантные, выхоленные блондинки в сверкающих черных машинах. Я научилась приручать наглых консьержек, высокомерных продавщиц, усталых телефонисток и напыщенных докторов. Я узнала и поняла, что парижане считают себя выше и лучше всех остальных обитателей земного шара, не исключая своих соотечественников, от Ниццы до Нанси, испытывая особенную неприязнь к жителям пригородов Города Света.^[15] Я узнала, что вся остальная Франция величает парижан «собакоголовыми» (*Parisien Tete de Chien*), и платит им редкой неприязнью. Никто не любил Париж сильнее урожденного, истого парижанина. Никто другой и вполниту не так нахален, заносчив, самоуверен и так неотразим. Иногда я задумывалась над тем, за что так сильно люблю Париж? Может быть,

за то, что он так и не принял меня. Он все время был со мной близок, я ощущала ритм его жизни и его дыхание, но он всегда заставлял меня помнить свое место. Американка. Для него я навсегда останусь американкой. *L'Americaine*.

Помнится, когда мне было столько, сколько сейчас Зое, я хотела стать журналисткой. Впервые я начала писать еще в средней школе, тогда это были заметки для школьной стенной газеты, и с тех пор не могу остановиться. Я приехала жить в Париж, когда мне только-только исполнилось двадцать, сразу же после окончания Бостонского университета, где я получила диплом магистра со специализацией по английскому языку и литературе. Моим первым местом работы стал американский журнал мод, в котором я получила должность младшего помощника редактора колонки. Но вскоре я уволилась оттуда. Мне хотелось писать о чем-нибудь более значимом, нежели длина юбок или какие цвета будут особенно популярны нынешней весной.

Но вышло так, что я согласилась на первую же попавшуюся работу. Она заключалась в том, что я должна была переписывать пресс-релизы для сети американского кабельного телевидения. Зарплата, конечно, оставляла желать лучшего, но на жизнь мне хватало, и я поселилась в девятом *arrondissement*, в квартире вместе с двумя геями, Эрве и Кристофом, которые стали моими добрыми друзьями.

На этой неделе я собиралась поужинать вместе с ними в их жилище на рю де Кадет, где я жила до того, как встретила Бертрана. Он редко составлял мне компанию. Иногда я даже недоумевала, почему ему настолько безразличны и неинтересны Эрве и Кристоф. «Потому что твой дорогой супруг, как и большинство французских буржуа, благовоспитанных и удачливых джентльменов, предпочитает женщин гомосексуалистам, *cocotte*, милая моя!» Я буквально слышала томный голос своей подруги Изабеллы, ее озорной и лукавый смешок. Да, она была права. Бертран явно и безусловно отдавал предпочтение женщинам. Бабник, короче говоря, как назвала бы его Чарла.

Эрве и Кристоф по-прежнему обитали там же, где и я жила с ними раньше. Если не считать того, что моя крошечная спальня теперь превратилась в просторный встроенный стенной шкаф для одежды, в который можно было войти. Кристоф был жертвой моды, чем, впрочем, гордился. Мне нравилось бывать у них в гостях; здесь всегда

можно было встретить интересных людей: известную модель или популярного певца, неординарного писателя, чье творчество вызывало неоднозначную реакцию, симпатичного соседа-гея, кого-нибудь из американских или канадских журналистов, а в придачу еще иногда и очередного начинающего редактора. Эрве работал пресс-атташе в большой издательской компании, а у Кристофа был модный небольшой бутик в Латинском квартале.

Они были моими настоящими, верными друзьями. Хотя у меня были здесь и другие друзья, в основном экспатрианты из Америки — Холли, Сюзанна и Джейн. С одними я познакомилась во время работы в журнале, других встретила в американском колледже, куда частенько заглядывала, чтобы повесить там объявления о найме подходящих нянь. У меня в подругах числилась даже парочка француженок, типа Изабеллы. Я обзавелась ими благодаря занятиям балетом Зои, в школе Салль Плейель, но именно Эрве и Кристофу я могла позвонить в час ночи, после очередной ссоры с Бертраном. Именно они приехали в больницу, когда Зоя сломала лодыжку, свалившись с мотороллера. Они были из тех, кто никогда не забывал о моем дне рождения. Из тех, кто всегда знает, какие фильмы сто́ит смотреть и какие пластинки покупать. Их угощение неизменно было изысканным, бесподобным и подавалось только при свечах.

Я прихватила с собой бутылку охлажденного шампанского. Кристоф еще принимает душ, объяснил Эрве, встречая меня в дверях. Ему уже перевалило за сорок, точнее, он приближался к пятидесяти и был пухленьким, лысым и жизнерадостным. При этом Эрве дымил как паровоз. Убедить его бросить курить было невозможно. Поэтому мы даже и не пытались.

— Очень милый жакет, — заметил он, откладывая сигарету, чтобы откупорить шампанское.

Эрве и Кристоф всегда обращали внимание на то, что я ношу и какими духами пользуюсь. Они замечали мой новый макияж или прическу. В их обществе я никогда не ощущала себя *l'Americaine*, отчаянно пытающейся угнаться за парижским высшим светом. С ними я была собой. И за это была им благодарна.

— Этот сине-зеленый цвет идет тебе, он прекрасно подходит к глазам. Где ты купила его?

— В магазине «ХиМ», на рю де Ренн.

— Ты выглядишь сногшибательно. А как обстоят дела с квартирой? — поинтересовался он, протягивая мне фужер и теплый гренок, намазанный розовым паштетом из кефали.

— Там нужно чертовски много переделывать, — вздохнула я. — Боюсь, это работа не на один месяц.

— Полагаю, твой дорогой супруг-архитектор пребывает в полном восторге от подобной перспективы?

Я поморщилась.

— Ты хочешь сказать, что он неутомим?

— Ага, — согласился Эрве. — Чем причиняет тебе кучу неприятностей.

— Один-ноль в твою пользу, — проворчала я, отпивая глоток шампанского.

Эрве внимательно взглянул на меня поверх крошечных очков без оправы. У него были светло-серые глаза и невероятно длинные ресницы.


— Послушай, Жужу, — изрек он, — с тобой все в порядке?

Я жизнерадостно улыбнулась.

— Да, у меня все отлично.

Но это было далеко не так. Вновь обретенные познания о событиях июля сорок второго года пробудили во мне чувство незащищенности и уязвимости, порождая в душе доселе неведомую обреченность, какое-то тяжелое чувство, которое я даже не могла описать словами, и это меня беспокоило. И всю неделю — с того самого момента, как я начала поиски информации об облаве на «Вель д'Ив» — я не могла избавиться от этого ощущения, оно ни на минуту не оставляло меня.

— Знаешь, ты сама на себя не похожа, — озабоченно заявил Эрве. Он присел рядом и пухлой рукой похлопал меня по колену. — Я помню, когда у тебя бывает такое лицо, Джулия. Тебя что-то гложет. А теперь будь хорошей девочкой и расскажи мне, что случилось.



Отгородиться от ада, разверзшегося вокруг, девочка могла только одним способом — уткнуться лицом в острые коленки и зажать уши ладошками. Она принялась раскачиваться взад и вперед, наклоня голову к самой земле. Думай о приятных вещах, думай обо всем, что тебе нравится, обо всем, что доставляет радость, обо всех особенных, волшебных минутах и событиях, которые помнишь. О том, как мать водила тебя к своей парикмахерше, и о том, как все восторгалось твоими густыми волосами цвета спелой пшеницы, которыми ты обязательно будешь гордиться впоследствии, та petite! [16].

Или о том, как отец работал с кожей у себя в мастерской, о том, какие быстрые и сильные у него руки, и как она восхищалась его ловкостью и умением. О ее десятом дне рождения, о новых наручных часах в замечательной синей коробочке, о кожаном ремешке, который сделал для них отец, о его пьянящем запахе и о том, как негромко тикали часики на руке, приводя ее в полный восторг. Она так гордилась подарком. Но мама сказала, что не сто́ит носить часы в школу. Ведь она может разбить их или потерять. Так что новенькие часики видела только ее лучшая подружка Арнелла. И она так ей завидовала!

Интересно, где теперь Арнелла? Она жила на той же улице, что и девочка, и они вместе ходили в школу. Но Арнелла уехала из города с началом летних каникул. Она поехала с родителями куда-то на юг. Девочка получила от нее только одно письмо, и все. Арнелла была невысокой, рыжеволосой и очень умной. Она уже знала всю таблицу умножения наизусть, и даже самые сложные грамматические правила давались ей легко.

Арнелла никогда и ничего не боялась, и эта ее черта очень нравилась девочке. Даже когда посреди урока раздавался зловеющий звук сирен, которые завывали, как стая голодных волков, Арнелла оставалась спокойной и невозмутимой. Она брала девочку за руку и вела в школьный подвал, пыльный и покрытый плесенью, не обращая внимания на шепот перепуганных детей и распоряжения, которые

дрожащим голосом отдавала мадемуазель Диксо. И они сидели, прижавшись друг к другу, в течение, как им казалось, долгих часов в темной сырости подвала, и на их бледных лицах трепетал робкий отблеск пламени свечей. Они прислушивались к реву авиационных моторов высоко у себя над головой, а мадемуазель Диксо, пытаясь унять дрожь в голосе, читала им вслух Жана де ла Фонтена или Мольера. Ты только посмотри на ее руки, хихикала Арнелла, она боится, ей страшно до такой степени, что она не может даже читать, посмотри на нее. И девочка с удивлением смотрела на Арнеллу и шептала: неужели тебе не страшно? Совсем-совсем не страшно? И та в ответ презрительно встряхивала сверкающими рыжими кудрями. Нет, ничуть. Я не боюсь. А иногда, когда от грохота разрывов вздрагивал пол под ногами, а мадемуазель Диксо сбивалась и умолкала, Арнелла брала девочку за руку и крепко сжимала ее.

Она скучала по Арнелле. Ей хотелось, чтобы она была с нею здесь и сейчас, чтобы она взяла ее за руку и сказала, что бояться не нужно. Девочка скучала по веснушкам Арнеллы, по ее озорным зеленым глазам и дерзкой улыбке. Думай о том, что любишь, о том, что доставляет тебе радость.

Прошлым летом или, быть может, уже позапрошлым, она не помнила точно, папа отвез их на пару недель в деревню, где была река. Девочка не помнила, как она называлась. Но вода на ощупь казалась такой гладкой, прохладной и ласковой. Отец учил ее плавать. Спустя несколько дней она уже барахталась в воде по-собачьи, вызывая смех окружающих. Тогда, у реки, ее братик чуть не сошел с ума от радости и восторга. Он был еще совсем маленьким, едва научился ходить. Она целыми днями бегала за ним по песчаному берегу, а он уворачивался от нее и восторженно визжал. Мать и отец выглядели спокойными и умиротворенными, помолодевшими и снова влюбленными друг в друга, и голова матери лежала на груди отца. Девочка вспомнила маленькую гостиницу у реки, где они ели простую, здоровую пищу в прохладной, увитой виноградом беседке, и как однажды хозяйка попросила помочь ей. И она подавала гостям кофе, чувствуя себя при этом совсем взрослой и гордясь этим, пока не уронила чашку кому-то на ногу, но хозяйка ничуть не рассердилась.

Девочка подняла голову и увидела, что мать разговаривает с Евой, молодой женщиной, которая жила с ними по соседству. У Евы было четверо маленьких детишек, банда непослушных мальчишек, которые не очень-то нравились девочке. Лицо Евы, как и у матери, осунулось и постарело. Как же так получилось, удивилась она, что они состарились всего за одну ночь? Ева, как и они, была полькой. Как и мать, она не очень хорошо говорила по-французски. Как и у родителей девочки, в Польше у Евы осталась семья. Ее мать и отец, дядья и тетки. Девочка вспомнила тот ужасный день, он случился совсем недавно, когда Ева получила письмо из Польши и с залитым слезами лицом появилась на пороге их квартиры, а потом разрыдалась, обняв мать. Мама попыталась утешить ее, но девочка видела, что она и сама потрясена до глубины души. Никто не пожелал рассказать девочке, что стряслось на самом деле, но она, внимательно вслушиваясь в отдельные слова на идише, которые долетали до нее в промежутках между всхлипами, догадалась обо всем сама. Там, в Польше, происходило нечто ужасное, погибали целые семьи, их дома сжигали, так что оставались только пепел и руины. Она спросила у отца, все ли в порядке с ее бабушкой и дедушкой. С родителями матери, черно-белая фотография которых стояла на мраморной каминной полке в гостиной. Отец ответил, что не знает. Из Польши приходили очень дурные известия. Но он не стал рассказывать, какие именно.

И сейчас, глядя на мать и Еву, девочка вдруг задумалась о том, а правы ли были родители, что старались уберечь ее, что утаивали от нее ужасные новости. Правы ли они были, что не объяснили ей, почему в их жизни произошли столь разительные перемены после того, как началась война. Например, почему не вернулся муж Евы, пропавший в прошлом году. Он просто исчез. Куда? Никто не ответил на ее вопрос. Никто ничего ей не объяснил. Она ненавидела, когда с нею обращались, как с несмышленышем. Она ненавидела, когда взрослые понижали голос, если она входила в комнату.

Если бы они рассказывали обо всем, если бы они поведали ей все, что знали, может быть, тогда сегодня им всем было бы легче?

— Со мной все в порядке, я просто немного устала, только и всего. Ладно, кого вы ждете сегодня вечером?

Прежде чем Эрве успел ответить, в комнату вошел Кристоф, живое воплощение парижского изящества и элегантности, одетый во что-то цвета хаки с мягкими бежевыми полутонами, распространяя вокруг запах дорогого мужского одеколona. Кристоф был немножко моложе Эрве, поддерживал загар круглый год и носил волосы цвета перца с солью стянутыми на затылке в большой конский хвост а-ля Лагерфельд.

И в это самое мгновение раздался звонок в дверь.

— Ага, — воскликнул Кристоф, посылая мне воздушный поцелуй, — должно быть, это Гийом.

Он поспешил к входной двери.

— Гийом? — Я вопросительно взглянула на Эрве.

— Наш новый знакомый. Кажется, он как-то связан с рекламой. Разведен. Умница. Он тебе понравится. Сегодня он — наш единственный гость. Все остальные уехали из города по случаю долгого уик-энда.

Мужчина, вошедший в комнату, был высоким и темноволосым. На вид ему было около сорока. В руках он держал завернутую в бумагу ароматическую свечу и букет роз.

— Это Джулия Джермонд, — представил меня Кристоф. — Она журналистка, наш добрый друг с очень давних времен, когда мы еще были молоды.

— Вообще-то, это было только вчера... — пробормотал Гийом с истинно французской галантностью.

Я старалась улыбаться почаще, легко и беззаботно, чувствуя, что время от времени Эрве бросает на меня испытующие взгляды. Это было противоестественно, потому что обычно я ничего не скрывала от него. Я могла бы рассказать ему о том, как странно чувствовала себя в последнее время. И о своих отношениях с Бертраном. Я всегда мирилась с его провокационным, а иногда и откровенно оскорбительным чувством юмора. По большому счету, он не задевал меня. И никогда не доставлял особых переживаний. Вплоть до

последнего времени. Обычно я восхищалась его умом, остроумием, сарказмом. За это я лишь сильнее любила его.

Люди смеялись над его шутками. Они даже немного побаивались его. Заразительный смех, искрящиеся юмором серо-голубые глаза, очаровательная улыбка скрывали жесткого и требовательного человека, который привык получать то, чего хотел. Я вынуждена была мириться с этим, потому как он всегда извинялся передо мной. Всякий раз, стоило ему понять, что он сделал мне больно, он осыпал меня подарками, цветами, одаривая страстным сексом. Вероятнее всего, только в постели мы с Бертраном и общались по-настоящему, на равных, когда никто из нас не подавлял другого. Я помню, как однажды, оказавшись свидетельницей особенно язвительной тирады, произнесенной моим супругом, Чарла обратилась ко мне с вопросом: «Это урод когда-нибудь относится к тебе хорошо?» А потом, глядя, как лицо мое медленно заливается краской, она поспешно добавила: «Господи Боже! Я все поняла. Разговоры в постели. Поступки говорят громче слов». Она вздохнула и потрепала меня по руке. И все-таки почему я ничего не сказала Эрве нынче вечером? Что-то заставило меня промолчать. Что-то заставило меня держать язык за зубами.

Когда мы расселись за восьмиугольным мраморным столом, Гийом принялся расспрашивать меня о том, на какую газету я работаю. Я ответила, но на лице его ничего не отразилось. Я не удивилась. Французы никогда не слышали об издании «Зарисовки Сены». По большей части, ее читали только американцы, живущие в Париже. Это меня не особенно беспокоило, я не гналась за славой. Меня вполне устраивала хорошо оплачиваемая работа, которая вдобавок оставляла достаточно свободного времени, несмотря на редкие вспышки деспотизма Джошуа.

— А над чем вы работаете в данный момент? — вежливо поинтересовался Гийом, наматывая на вилку зеленые спагетти.

— «Вель д'Ив», — отозвалась я. — Приближается шестидесятая годовщина.

— Ты имеешь в виду облаву во время войны? — с набитым ртом обратился ко мне Кристоф.

Я уже собралась было ответить, как вдруг заметила, что вилка Гийома замерла на полпути от тарелки.

— Да, большая облава на «Велодроме д'Ивер», — сказала я.

— Но ведь это случилось не в самом Париже, не так ли? — продолжал Кристоф, не прекращая работать челюстями.

Гийом медленно и осторожно отложил вилку в сторону. Как-то так получилось, что наши взгляды встретились. У него были темные глаза и чувственные, полные губы.

— По-моему, это были нацисты, — заявил Эрве, подливая в фужер шардоне. Похоже, никто из них не заметил напряженного выражения на лице Гийома. — Нацисты, которые арестовывали евреев во время оккупации.

— Собственно, это были вовсе не немцы... — начала я.

— Этим занималась французская полиция, — перебил меня Гийом. — И это произошло в самом сердце Парижа. На стадионе, где когда-то проводились знаменитые велогонки.

— В самом деле? — воскликнул Эрве. — А я считал, что это нацисты и что происходило это в пригороде.

— Вот уже неделю я занимаюсь изучением этого вопроса, — призналась я. — Да, приказы отдавали немцы, но действовала французская полиция. Разве вам не рассказывали об этом в школе?

— Не помню. По-моему, нет, — пробурчал Кристоф.

Гийом не сводил с меня глаз. Он пристально вглядывался в меня, буквально поедая глазами, как будто надеялся выудить из меня что-то. Мне стало не по себе.

— Просто невероятно, — проговорил Гийом, и по губам его скользнула ироническая улыбка, — какое множество французов до сих пор ничего не знают о том, что случилось. А как насчет американцев? Вам известно, что там произошло на самом деле, Джулия?

Я не отвела глаза и выдержала его взгляд.

— Нет, я лично ничего не знала, и в школе в Бостоне, когда я училась там в семидесятые годы, нам тоже ничего не рассказывали. Но теперь мне известно намного больше. И то, что я узнала, меня буквально потрясло.

Эрве и Кристоф хранили молчание. Похоже, они растерялись и не знали, что сказать. Наконец заговорил Гийом.


— Жак Ширак был первым президентом, который в девяносто пятом году заговорил о роли французского правительства во время оккупации. И, в частности, применительно к этой облаве. Его речь была опубликована во всех газетах. Помните?

Совсем недавно, проводя изыскания, я прочла речь Ширака. Он, без сомнения, превзошел самого себя и многим рисковал. Но я не вспомнила о ней, хотя наверняка слышала о его выступлении в новостях шесть лет назад. А мальчики — я всегда называла их именно так и до сих пор не могла отделаться от этой привычки — явно не читали этой речи Ширака и, соответственно, не помнили о ней. Оба в недоумении уставились на Гийома. Эрве курил одну сигарету за другой, а Кристоф грыз ногти, как делал всегда, когда нервничал или испытывал неловкость.

За столом воцарилась тишина. Она была очень странной и непривычной для этой комнаты, свидетельницы великого множества шумных, веселых вечеринок, сопровождавшихся гомерическим хохотом, бесчисленными шутками, громкой музыкой. Здесь, в этих стенах, разыгрывались забавные игры, здесь танцевали всю ночь напролет до утра, не обращая внимания на раздраженных соседей сверху, которые стучали в пол швабрами.

Тишина стала тяжелой и неловкой. Когда Гийом заговорил снова, голос его изменился. Изменилось и выражение лица. Он побледнел и больше не смотрел нам в глаза. Он не отрывал взгляда от своей тарелки с нетронутыми спагетти.

— В день облавы моей бабушке было пятнадцать. Ей сказали что она может быть свободна, поскольку полицейские забирали только детей от двух до двенадцати лет, вместе с родителями. А ее оставили дома. Но забрали всех остальных. Ее маленьких братьев, младшую сестру, мать, отца, тетку и дядю. Ее дедушку и бабушку. Тогда она видела их в последний раз. Потому что назад не вернулся никто. Ни один человек.



Перед глазами у девочки стояли ужасные события прошедшей ночи. Ранним утром беременная женщина родила недоношенного мертвого ребенка. Девочка слышала ее крики и видела текущие по лицу женщины слезы. Она видела, как головка ребенка, перепачканная кровью, показалась между ног женщины. Она знала, что должна отвернуться, но не могла отвести глаз и смотрела, зачарованная и испуганная. Она видела мертвое тельце, серое и восковое, похожее на сломанную куклу, неподвижно лежавшее под грязной простыней. Женщина все время стонала. Никто не мог успокоить ее.

На рассвете отец девочки сунул руки в ее кармашек и нашел ключ от потайного шкафа. Он взял его и подошел к одному из полицейских. Он показал ключ. Он объяснил ситуацию. Он пытался сохранить самообладание, но девочка видела, что он на грани срыва. Он говорил полицейскому, что должен пойти и спасти своего четырехлетнего сына. Он обещал, что обязательно вернется сюда. Он всего лишь освободит сына и сразу же вернется. Но полицейский рассмеялся ему в лицо. Он с издевкой поинтересовался: «И ты думаешь, что я тебе поверю, бедный старик?» Отец умолял полицейского пойти вместе с ним, ведь он хотел всего лишь освободить сына, а потом сразу же вернуться. Но полицейский приказал ему убираться. Нетвердой походкой, сгорбившись, отец вернулся на свое место. Он плакал.

Девочка забрала ключ из его дрожащей руки и положила обратно в карман. Сколько же еще сможет продержаться взаперти маленький братик, думала она. Должно быть, он все еще ждет ее. Он доверял ей, да что там доверял, он безоговорочно верил ей.

Мысль о том, что он сидит один в темноте и ждет, сводила ее с ума. Наверняка его уже мучают голод и жажда. И вода у него, скорее всего, уже закончилась. И батарейка в фонарике тоже, наверное, села. Но потом она решила, что лучше быть где угодно, только не здесь. Где угодно, только не здесь, в этом аду, среди отвратительной вони, жары и пыли, плачущих и умирающих людей.

Она украдкой взглянула на мать, которая сидела, скорчившись, уйдя в себя. За последние несколько часов она не произнесла ни слова. Она взглянула на отца, на его осунувшееся лицо и ввалившиеся, пустые

глаза. Девочка огляделась по сторонам, нашла глазами Еву и ее жалких, несчастных мальчишек, посмотрела на другие семьи, на всех этих незнакомых людей, у которых, как и у нее самой, на груди была пришита желтая звезда. Она смотрела на тысячи детей, страдающих от голода и жажды, которые не слушали увещаний своих родителей и плакали, не находя себе места. Она смотрела на малышей, которые не понимали, что происходит, думая, что это какая-то странная затянувшаяся игра. Им хотелось вернуться домой, в свои постели, к своим любимым плюшевым игрушкам.

Она попыталась отдохнуть, положив остренький подбородок себе на колени. С восходом солнца вернулась жара. Она не представляла, как пережить еще один день здесь. Она чувствовала себя слабой и уставшей. В горле у нее пересохло. Живот от голода сводило болезненной судорогой.

Спустя какое-то время она забылась коротким сном. Девочке снилось, что она вернулась домой, что она опять в своей маленькой комнатке, выходящей окнами на улицу, снова сидит в гостиной, которую всегда заливало своими лучами яркое солнце, рисуя узоры на камине и на фотографии бабушки из Польши. И она слышит, как с другой стороны тенистого дворика до нее доносятся звуки скрипки, на которой играет учитель музыки. *Sur le pond d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond.* Мать готовит ужин, негромко подпевая в такт доносящейся мелодии, *les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça.* В длинном коридоре маленький братик играет с красным поездом, с грохотом и лязгом толкая его по коричневым половицам. *Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça.* Она ощущала знакомый и родной запах дома, убаюкивающий аромат воска и специй, и прочей вкуснятины, которая готовилась на кухне. Она слышала голос отца, который читал что-то вслух матери. Они были в безопасности. И они были счастливы.

Вдруг она ощутила чью-то холодную руку у себя на лбу. Девочка подняла глаза и увидела молодую женщину в высокой голубой шапочке с вышитым на ней крестом.

Молодая женщина улыбнулась ей и протянула чашку свежей воды, которую девочка жадно выпила. Потом сестра милосердия дала ей тоненькое печенье и какие-то рыбные консервы.

— Ты должна быть храброй, — пробормотала молоденькая сестра милосердия.

Но девочка увидела и еще кое-что: глаза ее, как и у отца, были полны слез.

— Я хочу уйти отсюда, — прошептала девочка. Она хотела вернуться в свой дом, к миру и покою, который там ощущала.

Сестра милосердия кивнула головой. Она снова улыбнулась невеселой и робкой улыбкой.

— Я понимаю. Очень жаль, но я ничего не могу сделать.

Она выпрямилась и направилась к другому семейству. Девочка задержала ее, схватив за рукав.

— Пожалуйста, скажите, когда мы уйдем отсюда? — взмолилась она.

Сестра милосердия покачала головой. Она нежно погладила девочку по щеке. А потом направилась дальше, к другой семье.

Девочка подумала, что сходит с ума. Ей хотелось кричать, хотелось убежать из этого страшного, отвратительного места. Ей хотелось вернуться домой, обратно в ту жизнь, которая была у нее до появления желтой звезды, до того как незнакомые мужчины постучали в их дверь.

Почему подобное происходит с ней? Что сделала она или ее родители, чтобы заслужить такое? Почему так страшно быть еврейкой? Почему вообще с евреями обращаются так ужасно и отвратительно?

Она вспомнила самый первый день, когда пришла в школу с желтой звездой. Тот момент, когда она вошла в класс и увидела, что глаза всех учеников прикованы к ней. К большой желтой звезде, размером с ладонь отца, на ее маленькой груди. И только потом она заметила, что в классе были и другие девочки, носившие желтую звезду. У Арнеллы она тоже была. И от этого ей стало чуточку легче.

На перемене девочки со звездами держались вместе. На них показывали пальцами остальные ученицы, те, кого они раньше считали своими подругами. Мадемуазель Диксо сделала попытку объяснить, что звезда ничего не меняет. Что ко всем ученикам будут относиться так же, как и раньше, есть у них звезда или нет.


Но речь мадемуазель Диксо не помогла. С этого дня большинство девочек перестали разговаривать с детьми, носившими на одежде

желтые звезды. Или, хуже того, смотрели на них с нескрываемым презрением. Этого она не могла вынести. И еще этот мальчишка, Даниэль, который шептал на улице ей и Арнелле: «Ваши родители — грязные евреи, и вы тоже грязные еврейки». Почему грязные? Почему евреи обязательно должны быть грязными? Девочке было грустно и стыдно. Ей хотелось заплакать. Арнелла ничего не сказала, только закусил губу до крови. И тогда впервые она увидела Арнеллу испуганной.

Девочка хотела отодрать звезду, она заявила родителям, что больше не пойдет с ней в школу. Но мать сказала, что этого нельзя делать, что она должна гордиться этим, гордиться своей звездой. Ее братик закатил истерику, потому что тоже хотел носить такую же звезду. Но ведь ему еще не исполнилось шесть лет, терпеливо объясняла мать. Ему придется подождать еще пару лет. Он безутешно рыдал весь день, до самого вечера.

Она подумала о братике, который сидел сейчас в большом темном шкафу. Ей хотелось обнять его горячее маленькое тельце, поцеловать вьющиеся светлые волосики, пухленькую мягкую шейку. Девочка изо всех сил стиснула в кармане ключ.

— Мне все равно, что говорят другие, — прошептала она. — Я придумаю, как вернуться домой и спасти его. Я обязательно придумаю.



После ужина Эрве предложил нам лимонный ликер, ледяной итальянский ликер с лимоном. У него был такой чудесный желтый цвет. Гийом медленно потягивал свой напиток. Во время ужина он говорил совсем мало. Похоже, он был подавлен. И я не решалась вновь поднять тему событий на «Вель д'Ив». Но именно он повернулся ко мне и заговорил, тогда как остальные напряженно слушали.

— Моя бабушка уже совсем старенькая, — сказал он. — Она больше не будет говорить об этом. Но бабуля успела рассказать мне все, что я должен знать; о том дне она рассказала мне все. Я думаю, что самым трудным для нее было жить дальше, зная, что остальные погибли. Продолжать жить без них. Потеряв всю свою семью.

Я не знала, что сказать. Мальчики тоже хранили молчание.

— После войны моя бабушка каждый день приходила в гостиницу «Лютеция», что на бульваре Распай, — продолжал Гийом. — Пожалуй, я бы посоветовал вам самой съездить туда и попытаться найти кого-нибудь, кто вернулся домой из концентрационных лагерей. Там были списки людей и организаций. Она ходила туда каждый день и ждала. Но спустя какое-то время она перестала навещать гостиницу. До нее стали доходить слухи о лагерях. Она начала понимать, что все ее родственники погибли. Что никто не вернется назад. В общем-то, тогда об этом никто ничего не знал. Но теперь, после того как вернулись те, кому повезло уцелеть, и рассказали о пережитом, все знают, что там творилось.

За столом снова воцарилась тишина.

— А знаете, что потрясло меня больше всего в событиях на «Вель д'Ив»? — спросил Гийом. — Кодовое название операции.

Благодаря упорным поискам ответ на этот вопрос был мне известен.

— Операция «Весенний ветер», — пробормотала я.

— Не правда ли, очень милое название для таких кошмарных событий? — сказал Гийом. — Гестапо попросило французскую полицию «предоставить» им определенное количество евреев в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. Но полиция вознамерилась депортировать их как можно больше, и власти решили

подкорректировать полученный приказ, так что они арестовали и маленьких детей, которые родились уже во Франции. Французских детей и французских граждан.

— Гестапо не просило арестовывать их? — переспросила я.

— Нет, — ответил он. — Во всяком случае, поначалу. Депортация детей открыла бы правду: всему миру стало бы ясно, что евреев отправляют не в трудовые лагеря, а посылают на смерть.

— Так почему же детей арестовали? — задала я очередной вопрос.

Гийом сделал глоток лимонного ликера.

— Вероятно, в полиции считали, что дети евреев, пусть даже они родились во Франции, все равно остаются евреями. Так что в итоге Франция отправила в лагеря смерти почти восемьдесят тысяч евреев. И назад вернулась хорошо если пара тысяч. А из детей не вернулся никто.

На обратном пути домой я все не могла забыть темные и грустные глаза Гийома. Он предложил показать мне фотографии своей бабушки и ее семьи, так что я оставила ему номер телефона. Он пообещал, что вскоре позвонит.

Когда я вошла, Бертран смотрел телевизор. Он лежал на диване, подложив под голову руку.

— Ну, — поинтересовался он, не соизволив даже оторваться от экрана, — как поживают твои мальчики? Все такие же изысканно утонченные?

Я сбросила с ног сандалии и присела на диван, глядя на его чеканный, элегантный профиль.

— Замечательное угощение. И еще к ним в гости пришел интересный человек. Гийом.

— Ага, — воскликнул Бертран, глядя на меня с некоторым интересом. — Гей?

— Нет, по-моему. Впрочем, я не разбираюсь в таких вещах.

— И что же такого интересного ты нашла в этом Гийоме?

— Он рассказывал нам о своей бабушке, которая сумела избежать облавы на «Вель д'Ив» в сорок втором году.

— М-м, — пробормотал он, с помощью пульта дистанционного управления переключая каналы.

— Бертран, — обратилась я к нему, — когда ты учился в школе, вам рассказывали о трагедии на «Вель д'Ив»?

— Нет, насколько я помню.

— Я как раз работаю над этой темой для журнала. Приближается шестидесятая годовщина.

Бертран обхватил мою босую ступню и начал массировать ее сильными, теплыми пальцами.

— Ты полагаешь, читателям будет интересна эта история с «Вель д'Ив»? — небрежно поинтересовался он. — Это ведь было так давно и осталось в прошлом. По-моему, это не совсем то, о чем хотело бы прочесть большинство людей.

— Ты имеешь в виду, что французы стыдятся этих событий? — сказала я. — Поэтому мы просто должны забыть об этом и жить дальше, так, что ли?

Он убрал мою ногу с коленей, и в глазах у него появился знакомый блеск. Я подобралась.

— Ну-ну, — с дьявольской усмешкой протянул он, — тебе представилась еще одна возможность продемонстрировать своим дорогим соотечественникам, какими непорядочными оказались мы, лягушатники, сотрудничая с нацистами и отправляя эти бедные несчастные семейства на смерть. Маленькая мисс Нахант обнаруживает зловещую правду! И что ты собираешься делать дальше, *amour*, ^[17] ткнуть нас в это носом? Да всем уже давно наплевать на эту историю! Ее уже никто не помнит. Напиши о чем-нибудь другом. О чем-нибудь смешном, занятном, пикантном. Ты ведь знаешь, как это делается. Скажи Джошуа, что с «Вель д'Ив» он промахнулся. Никто не станет читать об этом. Люди зевнут и перевернут страницу, переходя к следующей колонке.

Разозлившись, я встала с дивана.

— Мне кажется, ты ошибаешься, — кипя от возмущения, заявила ему я. — Я думаю, что людям слишком мало известно о тех событиях. Даже Кристоф почти ничего не знает о них, а ведь он француз.

Бертран лишь презрительно фыркнул в ответ.

— А-а, неужели Кристоф умеет читать? По-моему, единственные слова, которые он в состоянии разобрать, это «Гуччи» и «Прада».

Не говоря больше ни слова, я вышла из комнаты, отправилась в ванную и включила воду. Ну почему, почему я не послала его ко всем

чертям? Почему я по-прежнему мирюсь с ним, снова и снова? Потому что ты все еще любишь его, правильно? Любишь с той самой минуты, когда познакомилась с ним, несмотря на его властность, грубость и эгоизм? Он умен, он красив, он может быть забавен, он очень хорош в постели, не так ли? Ты помнишь о бесчисленных чувственных ночах, о поцелуях и ласках, о смятых простынях, о его красивом теле, теплых губах, шаловливой улыбке. Бертран. Очаровательный. Неотразимый. Энергичный и трудолюбивый. Вот почему ты терпишь его, не так ли? Но сколько еще это будет продолжаться? Я вспомнила недавний разговор с Изабеллой. Джулия, ты терпишь выходки Бертрана, потому что боишься потерять его? Мы сидели в маленьком кафе неподалеку от школы Салль Плейель, в которой наши дочери занимались балетом, и Изабелла закурила очередную сигарету, которым я потеряла счет, и взглянула мне прямо в глаза. Нет, ответила я. Я люблю его. Я действительно люблю его. Я люблю его таким, какой он есть. Она присвистнула, мои слова явно произвели на нее впечатление, но она мне не поверила. Не до конца, во всяком случае. Ну, что же, тогда ему повезло. Но, ради всего святого, если он зайдет слишком уж далеко, скажи ему. Просто скажи ему об этом.

Лежа в ванне, я вспомнила самый первый раз, когда увидела Бертрана. Это случилось на какой-то эксцентричной дискотеке, в Куршавеле. Он пришел с компанией шумных, подвыпивших приятелей. А я была со своим парнем Генри, с которым познакомилась за пару месяцев до этого, на кабельном телевидении, где тогда работала. У нас был легкий, ни к чему не обязывающий роман. Никто из нас не был так уж сильно влюблен. Мы просто были двумя американцами-соотечественниками, живущими во Франции.

Бертран пригласил меня на танец. Кажется, его ничуть не смутил тот факт, что я сидела за столиком в обществе другого мужчины. Смущенная его беспардонностью, я отказалась. Но он был очень настойчив. «Всего один танец, мисс. Всего один танец. Но это будет замечательный танец, я обещаю». Я посмотрела на Генри. Генри пожал плечами. «Валяй», — сказал он и подмигнул мне. И я встала и отправилась танцевать с нахальным и бесстрашным французом.

В двадцать семь лет я была еще очень красива. И да, меня действительно выбрали «мисс Нахант», когда мне исполнилось семнадцать. У меня до сих пор где-то хранится корона из горного

хрустала, которую мне тогда вручили. Зоя частенько играла с нею, когда была маленькой. Но я никогда не гордилась своей красотой. Впрочем, я заметила, что, переехав в Париж, я стала привлекать к себе больше внимания, чем по ту сторону Атлантики. Я также обнаружила, что французы более смелы и открыты, когда дело доходит до флирта. И я поняла еще одну вещь: несмотря на то что во мне не было ничего от искушенной парижанки — я была слишком высокой, слишком светловолосой, слишком зубастой, — моя внешность уроженки Новой Англии оказалась именно тем, чем надо, своеобразным последним писком моды. Помню, что в первые месяцы своего пребывания в Париже я была изумлена тем, как французы — и мужчины, и женщины — откровенно рассматривают друг друга. Постоянно оценивают себя и окружающих. Изучают фигуру, одежду, аксессуары. Я вдруг вспомнила свою первую весну в Париже, когда шла по бульвару Сен-Мишель вместе с подругами, Сюзанной из Орегона, и Джейн из Вирджинии. Мы даже не одевались специально для выхода в город, на нас были джинсы, футболки и вьетнамки на босу ногу. Но мы, все трое, были высокими, атлетически сложенными, светловолосыми, то есть выглядели явными американками. Мужчины постоянно заговаривали с нами. *Bonjour Mesdemoiselles, vous etes Americaines, Mesdemoiselles?* [18]. Молодые мужчины, зрелые мужчины, студенты, бизнесмены, бесконечная череда мужчин. Они требовали дать им номера телефонов, приглашали на ужин, просто на рюмочку, умоляли, смеялись, отпускали шуточки. Одни были очаровательными, другие — не очень. Дома такого просто не могло случиться. Американцы не волочатся за девушками на улицах, повествуя о том, какой огонь пылает в их сердцах. Джейн, Сюзанна и я, мы лишь беспомощно хихикали, чувствуя себя одновременно польщенными и смущенными.

Бертран говорит, что он влюбился в меня во время нашего первого танца, в ночном клубе Куршавеля. Прямо там и именно тогда. Я ему не верю. Мне кажется, любовь пришла к нему позже. Может быть, на следующее утро, когда он пригласил меня покататься на лыжах. *Merde alors*, [19] француженки совсем не умеют ходить на лыжах, выдохнул он, глядя на меня с нескрываемым обожанием. Что вы имеете в виду, поинтересовалась я. Они и вполтину не так быстры, рассмеялся он и пылко поцеловал меня. А вот я влюбилась в него с первого взгляда. Влюбилась сразу и безоговорочно, так что даже не оглянулась на

бедного Генри, чтобы попрощаться, уходя с дискотеки под руку с Бертраном.

Бертран очень быстро заговорил о женитьбе. В общем-то, я не стремилась к этому, тогда меня вполне устраивало положение его девушки и я рассчитывала побыть ею еще какое-то время. Но он оказался весьма настойчив, очарователен и любвеобилен, так что в конце концов я сдалась и согласилась выйти за него замуж. Полагаю, он не сомневался в том, что я окажусь хорошей женой и хорошей матерью. Я была умна, развита и начитанна, образованна (красный диплом Бостонского университета) и воспитанна — «для американки», я буквально читала его мысли. Я была здоровой, красивой и сильной. Я не курила, не употребляла наркотики, почти не пила и верила в Бога. Поэтому, вернувшись в Париж, я была представлена семейству Тезаков. Как же я нервничала в тот самый первый день. У них была элегантная, классическая квартира на *rue de l'Universite*.^[20] Меня встретили холодные глаза Эдуарда, его сухая улыбка. А потом я увидела Колетту, ее безупречный макияж и стильную одежду. Она пыталась изобразить дружелюбие, угощала меня кофе с сахаром, протягивая мне чашечку холеными, наманикюренными пальчиками. И еще там были две сестры. Одна угловатая, светловолосая и бледная: Лаура. Другая загорелая до черноты, розовощекая и круглолицая: Сесиль. Там же присутствовал и жених Лауры, Тьерри. Он не снизошел до разговора со мной. Зато обе сестрицы рассматривали меня с несомненным и живым интересом, явно озадаченные тем фактом, что их дорогой братец Казанова выбрал себе в спутницы жизни простушку американку, когда *le tout-Paris*^[21] был у его ног.

Я знала, что Бертран — как и вся его семья — ожидал, что я быстренько, одного за другим, рожу ему четырех или пятерых ребятишек. Но осложнения начались сразу же после нашей свадьбы. Нескончаемые осложнения, которых мы никак не могли ожидать. Черда ранних выкидышей повергла меня в пучину отчаяния.

Спустя шесть нелегких лет я все-таки сумела выносить Зою. Бертран еще долго надеялся, что за ней последует и номер второй. Как и я, впрочем. Но больше мы на эту тему не разговаривали.


А потом была еще и Амели...

Но сегодня вечером я абсолютно не расположена думать об Амели. Я предостаточно занималась этим в прошлом.

Вода в ванне стала едва теплой, и я вылезла из нее, дрожа от холода. Бертран все еще смотрел телевизор. В любой другой день я бы, по обыкновению, подошла к нему, он протянул бы ко мне руки, обнял, приласкал и поцеловал, а я бы пожаловалась, что он был слишком груб, но я бы произнесла это голосом обиженной маленькой девочки, надув губы. А потом мы бы поцеловались, и он повел бы меня в нашу спальню. И мы занялись бы любовью.

Но сегодня я не подошла к нему. Я потихоньку забралась в постель и почитала еще кое-какие материалы о детях на «Вель д'Ив».

Последнее, что я вспомнила, перед тем как выключить свет в спальне, было лицо Гийома в тот момент, когда он рассказывал о своей бабушке.



Сколько времени они уже провели здесь? Девочка не могла вспомнить. Все ее чувства притупились, она чувствовала себя так, будто что-то внутри у нее умерло. Дни и ночи слились в сплошную неразличимую и однообразную череду. В какой-то момент она заболела, ее рвало желчью, и она стонала от боли. Она чувствовала, как отец обнимает ее, стараясь утешить. Но все мысли ее были только об одном — о маленьком братике. Она не могла не думать о нем. Иногда она доставала ключ из кармана и исступленно целовала его, как будто это были его маленькие пухлые щечки и кудрявые волосы.

В последние дни здесь умерло несколько человек, и девочка видела их агонию своими глазами. Она видела, как мужчины и женщины теряли рассудок в этой ужасной, удушливой жаре, видела, как их валили наземь и привязывали к носилкам. Она была свидетельницей сердечных приступов, самоубийств и приступов лихорадки. Девочка смотрела, как из помещения выносят тела. Еще никогда ей не доводилось видеть такого кошмара. Ее мать превратилась в кроткое и безропотное животное. Она почти не разговаривала. Она лишь молча плакала. И молилась.

Однажды утром громкоговорители выплюнули короткие слова команды. Они должны были взять с собой вещи и выстроиться у входа. Соблюдая тишину. Девочка поднялась на ноги, пошатываясь от слабости и головокружения. Колени у нее подгибались, и ноги едва держали ее. Она помогла отцу поднять мать на ноги. Они взяли с собой сумки и узлы. Толпа медленно продвигалась к дверям. Девочка заметила, что люди шли, с трудом, сдерживая болезненные стоны. Даже дети ковыляли, как столетние старики, со сгорбленными спинами, опустив головы. Девочке хотелось знать, куда они направляются. Она уже решила было спросить об этом отца, но, взглянув на его осунувшееся, мрачное лицо, поняла, что сейчас он ничего не ответит. Неужели они наконец отправляются домой? Неужели наступил конец их мучениям? Неужели все закончилось? Неужели она сможет пойти домой и освободить братика?

Они медленно шли по узкой улице, и полицейские подгоняли их. Девочка видела, что отовсюду — из окон, из дверных проемов, с балконов и тротуаров — за ними наблюдают местные жители. У большинства из них были пустые, ничего не выражающие лица. Они просто стояли и смотрели, не говоря ни слова. Им все равно, подумала девочка. Им все равно, что с нами сделают, куда нас ведут. Какой-то мужчина засмеялся, показывая на них пальцем. Почему, подумала девочка, почему он смеется? Неужели мы выглядим смешными в дурно пахнущей, порванной одежде? И поэтому они смеются над нами? Неужели это так смешно? Как они могут смеяться над нами, как они могут быть такими жестокими? Она хотела плюнуть им в лицо, накричать на них.

Женщина средних лет перешла улицу и быстрым, незаметным движением сунула что-то ей в руки. Это оказалась небольшая мягкая булочка. Полицейский оттолкнул женщину в сторону. Но девочка успела увидеть, как та вернулась на другую сторону улицы. Женщина пробормотала: «Маленькая бедняжка. Да смилостивится над тобой Господь». Интересно, что сейчас делает Бог, вяло подумала девочка. Неужели он отвернулся от них? Или он так наказывает их за что-то? Она не знала, за что. Ее родители были не особенно религиозными людьми, хотя она знала, что они верили в Бога. Они не воспитывали ее в традиционном религиозном духе, как воспитывали Арнеллу ее родители, соблюдая все обычаи и обряды. Девочка подумала: может быть, в этом и заключается их наказание? Кара за то, что они верили недостаточно сильно?

Она протянула булочку отцу. Тот сказал, чтобы она съела ее сама. Она быстро проглотила ее, почти не разжевывая. И едва не подавилась.

На тех же самых городских автобусах их отвезли на железнодорожную станцию, выходящую на реку. Девочка не знала, как она называется. Ей никогда не приходилось бывать здесь раньше. За десять лет своей жизни она редко покидала Париж. Когда она увидела поезд, то почувствовала, как ее охватывает паника. Нет, она не может уехать, она должна остаться здесь, должна остаться из-за братика, ведь она обещала вернуться и спасти его. Она потянула отца за рукав, шепча имя братика. Он взглянул на нее сверху вниз.

— Мы ничего не можем поделать, — беспомощно проговорил он. — Ничего.

Она вспомнила того умного мальчика, которому удалось сбежать, который удрал со стадиона. В сердце у нее разгорелось пламя гнева. Почему ее отец так слаб, так нерешителен? Неужели ему безразлична судьба сына? Неужели ему безразлична судьба его маленького мальчика? Почему ему не достало мужества сбежать? Как он может вот так стоять здесь и позволять, чтобы его, как бессловесную овцу, грузили в поезд? Как он можно просто стоять здесь, даже не пытаясь вырваться из этого ада, чтобы вернуться в свою квартиру, спасти сына и обрести вместе с ним свободу? Почему он не заберет у нее ключ и не убежит?

Отец снова взглянул на нее, и она догадалась, что он прочел ее мысли. Очень спокойно он объяснил ей, что они подвергаются большой опасности. Он не знает, куда их везут. Он не знает, что с ними будет дальше. Но он точно знает, что если он попытается сбежать сейчас, то его убьют. Убьют на месте, не колеблясь, на глазах у нее и ее матери. И если такое случится, это будет конец. Они с матерью останутся одни. Поэтому он должен быть с ними, чтобы защитить их.

Девочка слушала. Никогда раньше отец не разговаривал с ней так. Это был тот самый голос, который она слышала по ночам, во время непонятных, странных, тайных разговоров родителей. Она пыталась понять. Она пыталась сделать так, чтобы на лице не отразились обуревавшие ее чувства. Это ее вина! Это она разрешила мальчику спрятаться в шкафу. Во всем виновата только она сама. А ведь сейчас ее братик мог быть с ними. Он мог бы стоять рядом, держа ее за руку, если бы не она.

Она заплакала, и ее горячие слезы обжигали щеки.

— Я не знала! — всхлипывала она. — Папа, я не знала, я думала, что мы вернемся. Я думала, что он будет в безопасности. — Потом она подняла на него глаза, и в голосе ее зазвучали боль и ярость, и девочка забарабанила своими маленькими кулачками по груди отца. — Ты никогда и ничего не говорил мне, папа, ты ничего не объяснил, ты никогда не говорил мне, что мы в опасности, никогда! Почему? Ты думал, что я слишком маленькая, чтобы понять, правильно? Ты хотел защитить меня? Ты ведь этого хотел?

Лицо отца. Она больше не могла смотреть на него. А он глядел на нее с отчаянием и грустью. От слез его лицо расплывалось у нее перед глазами. Она плакала, закрыв лицо ладошками. Ее отец молча стоял рядом, не прикасаясь к ней. И в эти ужасные, страшные минуты одиночества девочка поняла. Она больше не была счастливым десятилетним ребенком. Она стала намного старше. И теперь больше ничего не будет так, как прежде. Для нее. Для их семьи. Для ее братика.

В последний раз ее охватила вспышка ярости, и она с силой дернула отца за рукав, сама удивившись своему поступку.

— Он ведь умрет! Он погибнет!


— Мы все подвергаемся опасности, — ответил он наконец. — Ты, я, твоя мать, твой брат, Ева и ее сыновья, и все эти люди. Все, кто находится здесь. Я сейчас рядом с тобой. И мысленно мы с твоим братом. Он присутствует в наших молитвах, в наших сердцах.

Девочка не успела ответить. Их начали загонять в вагоны — в вагоны, в которых не было сидений, один только голый пол и стены. Это были закрытые вагоны для перевозки скота. Внутри стояла отвратительная вонь, было сыро и грязно. Стоя возле дверей, девочка смотрела на запыленный, серый вокзал.

На соседней платформе какая-то семья ожидала прибытия другого поезда. Отец, мать и двое детей. Мать была очень красивой, и волосы ее были уложены в модную прическу. Наверное, они уезжали в отпуск. Рядом с матерью стояла девочка, ее ровесница. Она была одета в красивое платье лилового цвета. Волосы у нее были чисто вымыты, а туфельки блестели.

Две девочки смотрели друг на друга. И красивая молодая женщина с модной прической смотрела тоже. Девочка, стоявшая в вагоне, знала, что ее заплаканное лицо покрыто грязью, волосы засалились и свалялись. Но она не опустила голову от стыда и смущения. Она стояла, выпрямившись, гордо задрав подбородок. Она даже вытерла слезы с глаз.

А когда дверь тяжело закрылась, когда поезд дернулся, с лязгом и грохотом трогаясь с места, когда внизу заскрипели и застонали, разгоняясь, колеса, девочка выглянула в маленькую щелочку в стене. Она не сводила глаз с крохи на перроне. Она все смотрела и смотрела на нее, пока фигурка в лиловом платье не исчезла вдали.



Мне никогда особо не нравился пятнадцатый *arrondissement*. Может быть, все дело было в безобразных современных небоскребах, которые изуродовали берега Сены, совсем рядом с Эйфелевой башней, к чему я так и не смогла привыкнуть, хотя они были построены в самом начале семидесятых, задолго до того, как я приехала в Париж. Но когда вместе с Бамбером мы свернули на рю Нелатон, где когда-то располагался стадион «Велодром д'Ивер», я вдруг поймала себя на мысли, что эта часть Парижа нравится мне еще меньше.

— Какая ужасная улица! — пробормотал Бамбер. Он сделал пару снимков.

На рю Нелатон было темно и тихо. Совершенно очевидно, что сюда редко заглядывало солнце. На одной ее стороне выстроились каменные дома буржуа, возведенные в конце девятнадцатого века. На другой, где когда-то находился стадион «Велодром д'Ивер», высилось какое-то коричневое сооружение, типичная постройка начала шестидесятых годов, выкрашенная в омерзительный цвет и обладающая отвратительными пропорциями. Над вращающимися стеклянными дверями висела табличка «Министерство внутренних дел».

— Странное и неподходящее место для правительственного учреждения, — прокомментировал увиденное Бамбер. — Тебе не кажется?

Бамберу удалось разыскать всего парочку фотографий прежнего здания стадиона «Вель д'Ив». Одну из них я держала сейчас в руке. На светлом фасаде в глаза бросались огромные черные буквы «Вель д'Ив». Гигантская дверь. У тротуара припаркована вереница автобусов, в окнах которых видны головы пассажиров. Вероятнее всего, снимок сделан из окна через улицу, в то утро, когда началась облава.

Мы поискали глазами мемориальную табличку или что-нибудь в этом роде, что напоминало бы о происходивших здесь событиях, но ничего не обнаружили.

— Не могу поверить, что здесь нет памятного знака, — пробормотала я.

Наконец нам удалось найти кое-что на бульваре де Гренель, за углом. Крошечная табличка. Очень скромная. Я вдруг подумала, что, наверное, на нее никто не обращает внимания.

«16 и 17 июля 1942 года в Париже и его пригородах были арестованы 13 152 еврея. Их депортировали в Аушвиц, где они впоследствии и погибли. На стадионе „Велодром д'Ивер“, который некогда располагался на этом месте, в нечеловеческих условиях содержались 1129 мужчин, 2916 женщин и 4115 детей. Всех их согнала сюда полиция правительства Виши по приказу нацистских оккупантов. Да будут благословенны те, кто пытался спасти их. Прохожий, помни о них!»

— Интересно... — протянул Бамбер. — Почему так много женщин и детей и так мало мужчин?

— Просто слухи о большой облаве ходили уже давно, — пояснила я. — Тем более что в августе сорок первого года уже состоялись многочисленные облавы. Но как бы то ни было, тогда удалось арестовать лишь немногих мужчин. Но те облавы не были такими масштабными и так тщательно спланированными, как эта. Вот почему о ней предпочли забыть. В ночь на шестнадцатое июля большая часть мужчин скрылась, полагая, что женщины и дети будут в безопасности. Но они ошибались.

— И как долго ее готовили?

— Несколько месяцев, — ответила я. — Французское правительство целенаправленно работало над организацией этой облавы с апреля тысяча девятьсот сорок второго года, составляя списки всех подлежащих аресту евреев. Для ее осуществления были привлечены свыше шести тысяч парижских полицейских. Сперва ее планировали начать четырнадцатого июля. Но на этот день приходился национальный праздник. Поэтому ее перенесли на более поздний срок.

Мы зашагали по направлению к станции метро. Это была мрачная улица. Мрачная, тоскливая и печальная.

— А что было потом? — спросил Бамбер. — Куда отправили все эти семьи?

— Несколько дней их продержали на стадионе «Вель д'Ив». Спустя какое-то время туда позволили войти группе врачей и медсестер. Потом они в один голос рассказывали о царившем внутри хаосе и отчаянии. После этого несчастных перевезли на вокзал

Аустерлиц, а оттуда — в лагеря в окрестностях Парижа. Затем их прямиком отправили в Польшу.

Бамбер удивленно приподнял бровь.

— Лагеря? Ты имеешь в виду, что и во Франции были концентрационные лагеря?

— Эти лагеря считались французскими прототипами Аушвица. Дранси, он был расположен к Парижу ближе всего, Питивьер и Бюнна-Роланде.

— Интересно, как выглядят эти места сегодня? — сказал Бамбер. — Пожалуй, нам стоит съездить туда и посмотреть самим.

— Согласна. Так и сделаем, — откликнулась я.

Мы зашли в угловое кафе на рю Нелатон, чтобы выпить по чашечке кофе. Я взглянула на свои часы. Сегодня я обещала зайти к *Maté*. Но я понимала, что уже не успеваю сделать этого. Ну что же, значит, завтра. Эти визиты никогда не были мне в тягость. Она стала для меня бабушкой, которой у меня никогда не было. Обе мои бабушки умерли, когда я была еще совсем маленькой. Мне лишь хотелось, чтобы Бертран уделял ей больше внимания, учитывая, что она души в нем не чаяла.

Слова Бамбера заставили меня вернуться к настоящему и причине, по которой мы оказались здесь. К «Вель д'Ив».

— Знаешь, я рад, что не француз, — заявил он.

Потом он сообразил, что только что ляпнул.

— О-о, прошу прощения. Ведь ты теперь настоящая француженка, правильно?

— Да, — ответила я. — По мужу. На самом деле у меня двойное гражданство.

— Я вовсе не это имел в виду, — поперхнулся Бамбер. Он выглядел смущенным и растерянным.

— Не бери в голову, — улыбнулась я. — Знаешь, прошло столько лет, но мои здешние родственники по-прежнему называют меня американкой.

Бамбер ухмыльнулся.

— Это тебя расстраивает?

Я пожала плечами.

— Иногда. Я прожила здесь большую часть жизни. Я чувствую, что именно здесь мое место.

— Сколько лет ты уже замужем?

— Скоро будет шестнадцать. А живу я здесь уже четверть века.

— У тебя было одно из этих роскошных французских бракосочетаний?

Я рассмеялась.

— Нет, все было достаточно просто, в Бургундии, где у моих родственников по мужу дом, неподалеку от Санса.

Перед моим мысленным взором промелькнули воспоминания о том дне. Шон и Хитер Джермонд и Эдуард и Колетта Тезаки практически не разговаривали друг с другом. Казалось, все мои французские родственники внезапно напрочь забыли английский. Но мне было плевать. Я была счастлива. Яркий солнечный день. Тихая маленькая сельская церквушка. На мне было простое платье цвета слоновой кости, которое одобрила моя свекровь. Рядом стоял Бертран, великолепный в своем сером фраке. Торжественный обед дома у Тезаков, роскошно сервированный стол. Шампанское, свечи и лепестки роз. Чарла произнесла смешную речь на своем ужасном французском, так что смеялась только я. Лаура и Сесиль, глупо и жеманно улыбающиеся. Моя мать в костюме цвета бледного пурпура, шепчущая мне на ухо: «Я надеюсь, ты будешь счастлива, ангел мой». Мой отец, вальсирующий с чопорной Колеттой. Казалось, все это было давным-давно.

— Ты скучаешь по Америке? — поинтересовался Бамбер.

— Нет. Я скучаю по сестре. А по Америке — нет.

Подошел молоденький официант с заказанным нами кофе. Он бросил взгляд на огненно-рыжие лохмы Бамбера и самодовольно ухмыльнулся. И только потом обратил внимание на впечатляющее количество фотоаппаратов и объективов.

— Вы туристы? — полюбопытствовал он. — Фотографируете виды Парижа?

— Нет, мы не туристы. Мы фотографируем то, что осталось от «Вель д'Ив», — ответил ему по-французски Бамбер со своим протяжным британским акцентом.

Официант, похоже, растерялся.

— Сейчас уже никто не помнит о «Вель д'Ив», — пробормотал он. — Об Эйфелевой башне спрашивают, да, а о «Вель д'Ив» — почти нет.

— Мы журналисты, — пояснила я. — Мы работаем на американский журнал.

— Иногда сюда приходят евреи со своими семьями, — поделился с нами молодой человек. — После речей в очередную годовщину, которые произносят на мемориале там, у реки.


Внезапно мне в голову пришла одна мысль.

— Вы, случайно, не знаете никого из тех, кто жил на этой улице, соседа, может быть, которому известно что-нибудь об облаве? С кем мы могли бы поговорить? — спросила я. Мы уже расспрашивали кое-кого из тех, кто выжил: большинство написали книги о выпавших на их долю испытаниях, но нам недоставало свидетелей. Нам нужны были парижане, которые своими глазами видели, как все происходило.

Но тут я смутилась и почувствовала себя ужасно глупо. В конце концов, этому юноше едва исполнилось двадцать. Скорее всего, в сорок втором году его отец еще не родился на свет.

— Да, знаю, — к моему удивлению, ответил он. — Если вы пройдете немного по улице в обратную сторону, то слева увидите магазинчик, в котором продают газеты. Его владелец, Ксавье, может рассказать вам что-нибудь. Его мать прожила на этой улице всю жизнь.

Мы оставили ему внушительные чаевые.



А потом была казавшаяся бесконечной пыльная улица, тянувшаяся от маленького вокзала через весь городок. Люди останавливались, смотрели на них, показывали пальцами. У девочки болели ноги. Куда они шли теперь? Что с ними будет? Далеко ли они отъехали от Парижа? Поездка на поезде была недолгой, всего каких-то пару часов. Как всегда, она думала о братике. С каждой пройденной милей у нее на сердце становилось все тяжелее. Неужели она когда-нибудь сумеет вернуться домой? И как можно надеяться на это? Ей становилось не по себе при мысли о том, что он, наверное, думает, что она забыла его. А что еще ему оставалось думать, запертому в темном шкафу? Он наверняка думает, что она бросила его, что она разлюбила его. У него нет ни света, ни воды, и, конечно, ему очень страшно. Она так подвела его...

Интересно, как называется это место? Она не успела прочесть название на вокзале, когда они приехали. Но она сразу же обратила внимание на вещи, которые в первую очередь подмечают городские дети: живописный пейзаж, ровные зеленые луга, золотистые поля. Свежий воздух, от которого кружится голова, пьянящий запах лета. Жужжание пчел. Птицы в небе. Пушистые белые облака. После вони и духоты последних нескольких дней девочке показалось, что она попала в рай. Быть может, в конце концов все будет не так плохо.

Вслед за своими родителями она вошла в ворота из колючей проволоки, по обеим сторонам которых стояли сурового вида часовые с винтовками в руках. А потом она увидела ряды длинных, темных барачных корпусов, ощутила царившую вокруг гнетущую атмосферу, и у нее упало сердце. Девочка прижалась к матери. Полицейские начали выкрикивать команды. Они приказали женщинам с детьми идти к барачным корпусам направо, мужчинам — налево. Вцепившись в руку матери, она беспомощно смотрела, как отец уходит от нее с группой мужчин. Теперь, когда его не было рядом, ей стало страшно. Но она ничего не могла поделать. Винтовки вселяли в нее ужас. Мать не двигалась с места. Глаза ее, казалось, ничего не видели. Лицо у нее было бледным и безжизненным.

Девочка крепче стиснула руку матери, и их подтолкнули к баракам. Внутри было темно, пусто и грязно. Голые доски и солома. Вонь и грязь. Уборная находилась на улице — убогое, дощатое сооружение с прорезанными в полу дырками. Им было приказано заходить сюда группами по несколько человек, мочиться и испражняться у всех на виду, подобно животным. Девочку затошнило от отвращения. Ей казалось, что она ни за что не войдет в эту загородку. Она не сможет этого сделать. Девочка посмотрела на мать, которая, расставив ноги, присела над одним из отверстий. От стыда она наклонила голову, пряча лицо. Но, в конце концов, и она сделала так, как ей приказали, съезжившись, надеясь, что на нее никто не смотрит.

Поверх ограждения из колючей проволоки, вдалеке, виднелась деревня. Черный шпиль церкви. Водонапорная башня. Крыши и дымовые трубы. Деревья. А ведь там, подумала она, совсем недалеко, в этих домах у людей есть кровати, простыни, одеяла, пища и вода. Они, эти люди, были чистыми. Они носили чистую одежду. На них никто не кричал, не повышал голос. Никто не обращался с ними, как с бессловесной скотиной. А ведь они были совсем рядом, по ту сторону ограждения. В чистой маленькой деревушке, откуда до нее доносился слабый колокольный звон.

Здесь наверняка отдыхают дети на каникулах, подумала она.купаются. Ходят на пикники, играют в прятки. И эти дети счастливы несмотря на то, что идет война, несмотря на то, что еды стало меньше, и несмотря на то, что их отцы, быть может, ушли на фронт воевать. Счастливые, любимые, обожаемые дети. Она не могла понять, почему между ними и ею существует такая разница. Она не могла представить себе причину, по которой с ней и со всеми другими людьми здесь обращались так жестоко и бесчеловечно. Кто принял такое решение и почему?

На обед им дали чуть теплый суп из капусты. Он был очень жидким, и в нем было полно песка. И больше ничего. Потом она смотрела, как женщины одна за другой раздевались догола и пытались смыть грязь со своих тел тоненькой струйкой воды, текущей из ржавых железных умывальников. Она решила, что они выглядят гротескно и очень уродливо, страшно. Она ненавидела их всех: полных и худых, молодых и пожилых; она ненавидела их за то,

что они предстали перед ней обнаженными. Она не хотела смотреть на них. И она ненавидела себя за то, что все-таки смотрит.

Съездившись, она прижалась к теплomu боку матери и постаралась не думать о братике. Все тело у нее чесалось, и кожа на голове тоже. Она хотела принять ванну, лечь в постель, обнять братика. Ей хотелось сесть за стол и пообедать. Девочка задумалась, а может ли что-нибудь быть хуже того, что случилось с ней за последние несколько дней? Она вспомнила своих подружек, других маленьких девочек в школе, которые тоже носили звезды на одежде. Доминик, Софи, Агнессу. Что случилось с ними? Может быть, кому-нибудь из них удалось сбежать? Может быть, кто-то из них сумел спрятаться и теперь в безопасности? Может быть, и Арнелла скрывается вместе со своей семьей? Увидит ли она ее когда-нибудь снова, увидит ли остальных своих подруг? И пойдет ли она снова в школу в сентябре?

В ту ночь она не могла заснуть, ей необходимо было ощутить ободряющее прикосновение отца. У нее болел живот, время от времени ее скручивали спазмы боли. Она знала, что им не разрешается выходить из барака ночью. Она стиснула зубы, подтянула колени к груди и обхватила их руками. Но боль становилась все сильнее. Она медленно поднялась и на цыпочках прокралась между рядами спящих женщин и детей к уборной снаружи, за дверь.

Яркие лучи прожекторов, перекрещиваясь, озаряли территорию лагеря, пока она, скорчившись, сидела над отверстием в полу. Девочка всмотрелась повнимательнее и увидела толстых белых червей, копошившихся в темной массе кала. Она испугалась, что полицейский на сторожевой вышке увидит ее белеющие во тьме ягодницы, и натянула юбку пониже, пытаясь прикрыть бедра. Потом постаралась как можно быстрее вернуться обратно в барак.


Внутри ее встретила завеса душного и вонючего воздуха. Кое-кто из детей плакал во сне. Она слышала всхлипы женщины. Она повернулась к матери, глядя на ее осунувшееся, бледное лицо.

Счастливая, любящая женщина куда-то исчезла. Исчезла мать, которая подхватывала ее на руки и нашептывала ласковые слова на идише. Исчезла женщина с блестящими кудрями цвета спелой пшеницы и роскошной фигурой, та, которую все соседи и владельцы лавок и магазинов называли по имени. Та, от которой всегда исходил

теплый, уютный, сладкий запах матери: вкусной еды, свежего мыла, чистого выглаженного белья. Та, которая так заразительно смеялась. Та, которая говорила, что даже если начнется война, то они переживут ее, потому что они были крепкой, надежной семьей, семьей, в которой все любили друг друга.

Эта женщина мало-помалу исчезала. Она стала костлявой и сухопарой, кожа у нее посерела и обвисла, и она уже больше не улыбалась и не смеялась. От нее пахло сыростью, болезнями и страхом. Волосы у нее стали ломкими и сухими, и их густо посеребрила седина.

У девочки возникло ощущение, что мать уже умерла.



Пожилая женщина взглянула на Бамбера и меня слезящимися, полупрозрачными глазами. Должно быть, ей никак не меньше ста, решила я. Ее улыбка была беззубой, как у ребенка. По сравнению с ней *Mamé* выглядела подростком. Она жила прямо над магазином своего сына, торговавшего газетами на рю Нелатон. Тесная квартирка, заполненная пыльной мебелью, изъеденными молью коврами и чахлыми растениями в горшках. Пожилая леди восседала в старом продавленном кресле у окна. Она не сводила с нас глаз, когда мы вошли и представились. Похоже, она была рада возможности развлечься и поболтать с неожиданными посетителями.

— Ага, американские журналисты, — дрожащим голосом произнесла она.

— Американские и британские, — поправил ее Бамбер.

— Журналисты, которых интересуют события на «Вель д'Ив»? — прошамкала она.

Я достала ручку и блокнот, положила его на колени.

— Вы что-нибудь помните о той облаве, мадам? — обратилась я к ней. — Не могли бы вы рассказать нам что-либо об этом, пусть даже самые незначительные подробности?

Она рассмеялась кудахтающим смехом.

— Вы полагаете, я лишилась памяти, юная леди? Или, может быть, думаете, что я все забыла?

— Ну, — заметила я, — в конце концов, это было уже давно.

— Сколько вам лет? — просто спросила она.

Я почувствовала, что лицо мое залилось краской. Бамбер спрятал улыбку за фотоаппаратом.

— Сорок пять, — ответила я.

— А мне скоро будет девяносто пять, — заявила она, обнажая голые десна. — Шестнадцатого июля сорок второго года мне было тридцать пять. На десять лет моложе вас. И я помню. Я помню все.

Она умолкла на мгновение. Затуманенными глазами пожилая женщина смотрела на улицу.

— Я помню, как ранним утром меня разбудило громыханье автобусов. Они ехали прямо под моим окном. Я выглянула наружу и

увидела, как они подъезжают. Их было много и становилось все больше. Это были наши городские автобусы, на которых я ездила каждый день. Зеленые и белые. Их было очень много. Мне стало интересно, для чего они приехали сюда. А потом я увидела, как на улицу выходят люди. Взрослые. И дети. Детей было очень много. Понимаете, трудно забыть детей.

Я торопливо записывала ее слова в блокнот, пока Бамбер щелкал затвором фотоаппарата.

— Спустя какое-то время я оделась и вышла со своими мальчиками, которые тогда были совсем еще маленькими. Мы хотели узнать, что происходит, нас мучило любопытство. На улицу вышли и наши соседи, и *concierge*. А потом мы увидели желтые звезды и все поняли. Евреи. На евреев устроили облаву.

— Вы не догадывались, что должно было случиться с этими людьми? — спросила я.

Женщина пожалала сгорбленными плечами.

— Нет, — ответила она, — мы понятия не имели об этом. Откуда нам было знать? Мы узнали обо всем только после войны. Мы думали, что их отправляют куда-то на работу. В то время мы не предполагали, что с ними может случиться что-либо плохое. Я помню, как кто-то сказал: «Это французская полиция, значит, им не причинят вреда». Поэтому мы и не забеспокоились. А на следующий день, несмотря на то что это случилось в самом сердце Парижа, ни в газетах, ни по радио не было никаких сообщений. Такое впечатление, что происшедшее никого не касалось. Вот и мы не волновались. До тех пор, пока я не увидела детей.

Она умолкла.

— Детей? — повторила я.

— Спустя несколько дней евреев снова увозили на автобусах, — продолжала она. — Я стояла на тротуаре и видела, как из *velodrome*^[22] выходили семьи, и там были грязные, плачущие дети. Они выглядели испуганными, и я пришла в ужас. Я вдруг поняла, что там, внутри, им почти нечего было есть и пить. Я ощутила одновременно гнев и беспомощность. Я хотела бросить им хлеба и фруктов, но полицейские не дали мне этого сделать.

Она снова умолкла, на этот раз надолго. Мне показалось, что на нее вдруг навалились внезапная усталость и изнеможение. Бамбер

тихо опустил фотоаппарат. Мы ждали. И боялись пошевелиться. Я засомневалась, что женщина найдет в себе силы продолжить рассказ.

— Прошло столько лет, — произнесла она наконец, и голос ее звучал приглушенно, почти шепотом, — спустя столько лет я до сих пор вижу этих детей, понимаете? Я вижу, как они садятся в автобусы и как их увозят отсюда. Я не знала, куда их везут, но у меня появилось дурное предчувствие. Ужасное предчувствие. А большинство людей вокруг меня остались равнодушными. Они считали происходящее вполне обыденным. Они считали нормальным, что евреев куда-то увозят.

— Как вы думаете, почему они так считали? — спросила я.

Снова кудахтанье, обозначающее смех.

— Многие годы нам, французам, вдалбливали, что евреи — враги нашего государства, вот почему! В тысяча девятьсот сорок первом или сорок втором году, если я правильно помню, во дворце Пале Берлиц была организована выставка, которая называлась «Евреи и Франция». Немцы позаботились о том, чтобы она не закрывалась несколько месяцев. У населения Парижа она пользовалась большим успехом. А что она представляла собой на самом деле? Шокирующее проявление антисемитизма.

Искривленными, заскорузлыми пальцами она разгладила свою юбку.

— Понимаете, я помню и полицейских. наших добрых, славных парижских полицейских. наших собственных добрых, славных *gendarmes*.^[23] Которые силой загоняли детей в автобусы. Кричали. Били их своими *batons*.^[24]

Она склонила голову. Потом пробормотала что-то, чего я не поняла. Мне показалось, что она сказала что-то вроде: «Да падет позор на наши головы за то, что мы не остановили этого безобразия».


— Вы ведь ни о чем не подозревали, — мягко и негромко произнесла я, тронутая видом ее внезапно увлажнившихся глаз. — Да и что вы могли сделать?

— Понимаете, никто не помнит детей из «Вель д'Ив». Они больше никому не интересны.

— Может быть, в этом году вспомнят, — сказала я. — Может быть, сейчас все будет по-другому.

Она поджала высохшие губы.

— Нет. Вот увидите. Ничего не изменилось. Никто не хочет помнить. Да и почему кто-то должен помнить об этом? Это были самые черные дни в истории нашей страны.



Девочка очень хотела знать, где отец и что с ним. Наверняка он находится в том же самом лагере, в одном из бараков, но она видела его всего раз или два. Она потеряла счет дням. И одна только мысль не давала ей покоя — мысль о младшем братике. Она просыпалась среди ночи, вся дрожа, думая о том, что он заперт в шкафу. Она доставала из кармашка ключ и смотрела на него, с ужасом и болью. Может быть, он уже мертв. Может быть, он уже умер от голода и жажды. Она пыталась вести счет дням с того черного четверга, когда за ними пришли. Сколько прошло времени с того момента? Неделя? Десять дней? Она не знала. Она чувствовала себя потерянной и забытой. Ее подхватил вихрь ужаса, голода и смерти. В лагере умерли еще несколько детей. Их маленькие тела унесли под слезы и стоны оставшихся.

Однажды утром она заметила, как несколько женщин бурно обсуждают что-то. Они выглядели обеспокоенными и расстроенными. Она спросила у матери, что происходит, но та ответила, что не знает. Не желая оставаться в неведении, девочка принялась расспрашивать женщину, у которой был сынишка ее возраста и которая последние несколько дней спала рядом с ними. У этой женщины было красное лицо, как если бы ее мучила лихорадка. Она ответила девочке, что по лагерю ходят слухи. Слухи о том, что родителей отправят на Восток, на принудительные работы. Они должны будут подготовить все к приезду детей, которых привезут попозже, через пару дней. Девочка с ужасом выслушала новости. Она передала разговор матери. И у той как будто открылись глаза. Она яростно затрясла головой. Мать воскликнула: нет, такого не может быть. Они не могут так поступить с ними. Они не могут разлучить родителей с детьми.

В той далекой, прежней, спокойной и безопасной жизни девочка, наверное, поверила бы матери. Она верила всему, что говорила ей мать. Но в этом суровом новом мире девочка чувствовала себя повзрослевшей. Она чувствовала себя старше матери. Она знала, что другие женщины говорили правду. Она знала, что слухи правдивы. Вот

только она не знала, как объяснить это матери. Потому что ее мама превратилась в маленького ребенка.

Поэтому, когда в барак вошли мужчины, она не испытала страха. Она чувствовала себя закаленной и возмужавшей. Она чувствовала себя так, как будто вокруг нее выросла крепкая стена. Она взяла мать за руку и крепко сжала ее. Она хотела, чтобы мама была сильной и храброй. Им приказали выйти наружу. Они должны были маленькими группами перейти в другой барак. Она терпеливо стояла в очереди рядом с матерью. И все время оглядывалась по сторонам, чтобы не пропустить отца. Но его нигде не было видно.

Когда подошла их очередь войти в барак, девочка заметила двух полицейских, сидящих за столом. Рядом с ними стояли две женщины, скромно и неброско одетые. Это были женщины из деревни, которые с холодными и непроницаемыми лицами оглядывали ряды заключенных. Девочка услышала, как они приказали пожилой женщине, стоявшей впереди нее в очереди, отдать им деньги и драгоценности. Девочка смотрела, как та дрожащими руками снимала обручальное кольцо и отстегивала часы. Около женщины стояла маленькая девочка лет шести, дрожа от страха. Полицейский жестом указал на крошечные золотые колечки, которые девочка носила в мочках ушей. Она была слишком напугана, чтобы снять их сама. И бабушка наклонилась к ней, чтобы расстегнуть застёжки. Полицейский вздохнул с притворным отчаянием. Все происходило слишком медленно. Такими темпами они провозятся всю ночь, не меньше.

Одна из деревенских женщин подошла к маленькой девочке и резко дернула за сережки, разорвав малышке мочки ушей. Малышка пронзительно вскрикнула, прижав ладошки к окровавленной шее. Пожилая женщина тоже закричала. Полицейский ударил ее по лицу. Их вытолкали из очереди и вывели наружу. По толпе прокатился шепоток страха. Полицейские взяли оружие наизготовку. Шепот стих, воцарилась тишина.

Девочке и ее матери нечего было отдавать. Только обручальное кольцо матери. Краснолицая деревенская женщина разорвала на матери платье от ворота до пояса, обнажив ее бледную кожу и несвежее белье. Ее руки жадно ощупывали складки платья, прошлись по нижнему белью, пробежались по укромным уголкам тела матери. Мать поморщилась и вздрогнула, но ничего не сказала. Девочка молча

наблюдала за происходящим, и в душе у нее зарождался страх. Она ненавидела, когда другие мужчины плотоядно разглядывали ее маму, ненавидела деревенскую женицину за то, что та ощупывала ее тело, обращаясь с ней, как с куском мяса. Неужели и со мной они будут вести себя так же, подумала она. Неужели они разорвут и мое платье? Может быть, они заберут у нее и ключ. Она крепко стиснула его в кармане. Нет, они не смогут отнять его у нее. Она не отдаст его им. Она не отдаст им ключ от потайного шкафа. Никогда.

Но полицейских не интересовало то, что могло быть у нее в карманах. Прежде чем они с матерью отошли в сторону, девочка успела бросить последний взгляд на стол, на растущую на нем грудку драгоценностей: браслетов, брошей, колец, часов, денег. Интересно, что они собираются со всем этим делать, подумала она. Продать все эти украшения? Носить самим? Зачем вообще эти вещи нужны им?

Снаружи их снова выстроили в шеренгу. День был жарким, душным и пыльным. Девочке хотелось пить, в горле у нее пересохло. Они долго стояли под лучами палящего солнца, и полицейские не сводили с них глаз. Что происходит? Где ее отец? Почему они должны стоять здесь? Девочка слышала доносящийся отовсюду негромкий шепот. Никто ничего не знал. Никто не мог сказать ничего конкретного. Но она знала. Чувствовала. И когда это случилось, она не удивилась, потому что ожидала чего-то подобного.

Полицейские набросились на них подобно стае бешеных собак. Они поволокли женицин в одну сторону лагеря, детей — в другую. Даже самых крошечных детей забрали у их матерей. Девочка равнодушно следила за происходящим, как если бы была сторонним наблюдателем. Она слышала крики, вопли, она видела, как женицины падали на землю, цепляясь руками за одежду и волосы своих детей. Она видела, как полицейские избивали женицин дубинками и прикладами винтовок. Она видела, как какая-то женицина упала без чувств, и лицо ее превратилось в кровавую кашу.

Ее мать, словно загипнотизированная, не шевелясь, стояла рядом. Девочка слышала ее частое, затрудненное дыхание. Она крепко держалась за ледяную руку матери. Вдруг она почувствовала, как полицейские отрывают их друг от друга, услышала крик матери, увидела, как та бросилась к ней, платье распахнулось у нее на груди, волосы растрепались, она беспрестанно выкрикивала имя дочери. Она

попыталась схватить мать за руки, но мужчины оттолкнули ее в сторону, и она упала на колени. Ее мать сопротивлялась, как сумасшедшая, на несколько секунд ей удалось отбросить от себя полицейских, и в эти последние мгновения девочка вдруг увидела свою настоящую маму, сильную и страстную женщину, по которой она скучала и которой восхищалась. Она почувствовала, как материнские руки обнимают ее, ощутила, как густые волосы матери коснулись ее лица. И внезапно потоки ледяной воды ослепили ее. Отплевываясь, жадно хватая воздух открытым ртом, она протерла глаза и увидела, как полицейские оттаскивают ее мать в сторону, держа за ворот разорванного платья.

Потом ей казалось, что прошла целая вечность. Брошенные, потерянные, заплаканные дети. Ведра воды, которые выплескивали им в лицо. Сражающиеся, но уже сломленные женщины. Глухие звуки ударов. Но она знала, что все это произошло очень быстро.

Тишина. Все кончено. Наконец толпа детей выстроилась по одну сторону, женщины — по другую. А между ними двумя рядами стояли полицейские. Они все время выкрикивали, что женщины и дети старше двенадцати уезжают первыми и что остальные присоединятся к ним через неделю. Их отцов уже отправили по назначению. Так что все должны подчиняться приказам и сотрудничать с властями.

Девочка увидела мать, стоящую вместе с другими женщинами. Ее мать смотрела на дочь со слабой, но храброй улыбкой. Казалось, она говорила: «Видишь, родная, с нами все будет в порядке, так говорит полиция. Ты приедешь к нам через несколько дней. Не волнуйся и не бойся, славная моя».

Девочка огляделась по сторонам, рассматривая столпившихся вокруг детей. Их было так много. Она смотрела на малышей, едва научившихся ходить, на их лица, искаженные тоской и страхом. Она увидела маленькую девочку с порванными, кровоточащими мочками ушей, которая протянула ручонки к своей бабушке. Что теперь будет со всеми этими детьми, что теперь будет с ней? Куда увозят их родителей?

Женщин заставили построиться в несколько рядов и вывели через ворота лагеря. Она увидела мать, которая с высоко поднятой головой

*шагала по дороге, ведущей через деревню к железнодорожному вокзалу. Мать обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на нее.
А потом девочка потеряла ее из виду.*

— Сегодня у нас хороший день, мадам Тезак, — сообщила мне Вероника с сияющей улыбкой, когда я вошла в белую, залитую солнечными лучами комнату. Она была одной из сиделок, которые ухаживали за *Mamé* в чистом и приятном доме престарелых, расположенном в семнадцатом *arrondissement*, неподалеку от парка Монсо.

— Не называйте ее мадам Тезак, — пролаяла бабушка Бертрана. — Она не любит, когда ее так называют. Зовите ее мисс Джермонд.

Я не смогла скрыть улыбку. Вероника же, напротив, явно была выбита из колеи.

— И в конце концов, мадам Тезак — это я, — с некоторой высокомерностью заявила пожилая леди, демонстрируя полное пренебрежение второй мадам Тезак, своей невесткой Колеттой, матью Бертрана. Это так похоже на *Mamé*, подумала я. Такая раздражительность и сварливость, и это в ее-то возрасте. Ее звали Марсель. Ей было ненавистно это имя. Никто и никогда не смел называть ее Марсель.

— Прошу прощения, — извинилась Вероника.

Я легонько коснулась ее руки.

— Пожалуйста, не переживайте из-за этого, — сказала я. — Обычно я не пользуюсь фамилией мужа.

— Это все американские штучки, — заявила *Mamé*. — Мисс Джермонд — типично американское обращение.

— Да, я заметила, — поддакнула ей несколько воспрянувшая духом Вероника.

Что же ты заметила, хотелось бы мне знать, подумала я. Мой акцент, мою одежду, мою обувь?

— Итак, у вас сегодня хороший день, *Mamé*? — Я присела рядом и накрыла ее руку своей.

По сравнению с пожилой дамой с рю Нелатон *Mamé* выглядела очень свежей. На ее лице практически отсутствовали морщины. Серые глаза сохранили яркость и живость. Но пожилая дама с рю Нелатон, несмотря на свою старческую внешность, сохранила ясную голову,

тогда как *Mamé* страдала болезнью Альцгеймера. Бывали дни, когда она просто не могла вспомнить, кто она такая.

Родители Бертрана решили поселить ее в доме престарелых, когда поняли, что она не может жить одна. Она могла включить газовую конфорку и оставить ее на целый день. Она открывала кран в ванной и забывала о нем, так что вода заливала соседей. Она регулярно запирала свою квартиру на ключ, после чего ее часто находили бродящей по рю Сантонь в домашнем халате. Естественно, она воспротивилась принятому решению. Ей совсем не улыбалось переселиться в дом престарелых. Но, в общем-то, она прижилась здесь и даже чувствовала себя вполне комфортно, несмотря на эпизодические проявления своего вздорного характера.

— У меня и вправду хороший день, — ухмыльнулась она, когда Вероника оставила нас.

— Да, я вижу, — заметила я, — терроризируете все заведение, по своему обыкновению?

— Все как обычно, — ответила мадам. Затем она повернулась ко мне. Ее любящие нежные серые глаза внимательно всматривались в мое лицо. — Как поживает твой никчемный супруг? Он никогда не навещает меня, видишь ли. Только не говори мне, что он очень занят.

Я вздохнула.

— Ну, по крайней мере, ты здесь, — мрачно и неприветливо заявила она. — Ты выглядишь усталой. У тебя все в порядке?

— Все отлично, — заверила ее я.

Я знала, что выгляжу усталой. Но ничего не могла с этим поделать. Разве что отправиться в отпуск. Но отдых был запланирован только на лето, а до него еще надо было дожить.

— А что с квартирой?

Я только что заезжала туда, чтобы посмотреть, как продвигается ремонт, и уже после этого отправилась в дом престарелых. В бывшей квартире мадам кипела бурная деятельность. Бертран руководил работами со своей обычной энергичностью. Антуан казался усталым и опустошенным.

— Все будет замечательно, — сказала я. — Во всяком случае, после того как ремонт закончится.

— Я скучаю по ней, — заявила *Mamé*. — Мне не хватает домашней обстановки.

— Уверена, что так оно и есть, — согласилась я.

Бабушка Бертрана пожала плечами.

— С возрастом привыкаешь к знакомым местам, к обстановке, должна тебе заметить. Как и к людям, наверное. Иногда мне становится интересно, Андрэ так же скучает по ней, как и я, или нет?

Андрэ — так звали ее покойного супруга. Я не была с ним знакома. Он умер, когда Бертран был еще подростком. Я уже привыкла к тому, что *Mamé* говорит о нем в настоящем времени. Я никогда не поправляла ее, не напоминала о том, что он умер много лет назад от рака легких. Ей очень нравилось рассказывать о нем. Когда я впервые познакомилась с ней, еще до того, как она начала путаться в событиях и терять память, всякий раз, стоило мне прийти к ней в гости, она показывала мне альбомы с семейными фотографиями. Мне казалось, что я изучила лицо Андрэ Тезака до мельчайших подробностей. Те же серо-голубые глаза, что и у Эдуарда. Круглый нос картошкой. И теплая улыбка, теплее, чем у сына.

Mamé пространно рассказывала мне о том, как они встретились, как полюбили друг друга и как во время войны для них наступили нелегкие времена.

Семейство Тезаков происходило из Бургундии, но когда Андрэ унаследовал семейный винодельческий бизнес, то не смог свести концы с концами. Поэтому он перебрался в Париж и открыл небольшой антикварный магазинчик на рю де Тюренн, неподалеку от *Place des Vosges*.^[25] Ему потребовалось некоторое, довольно продолжительное, время, чтобы сделать себе имя и приобрести репутацию удачливого и надежного дельца. Но, в конце концов, он добился своего. Его бизнес процветал. После смерти отца у руля семейного предприятия встал Эдуард, который и перевез магазин на рю дю Бак, в седьмой *arrondissement*, где располагались самые престижные парижские заведения по торговле антиквариатом. Теперь семейным предприятием управляла Сесиль, младшая сестра Бертрана, и у нее получалось очень и очень неплохо.

Как-то врач *Mamé*, унылый и угрюмый, но толковый доктор Роше, заявил мне, что расспросы мадам о прошлом представляют собой прекрасное терапевтическое средство. По его словам, она лучше помнила то, что произошло тридцать лет назад, чем то, что было сегодня утром.

Это была наша маленькая игра. Во время каждого своего посещения я задавала ей вопросы. У меня это получалось вполне естественно, без малейшего притворства или напряжения. Мадам прекрасно знала, к чему я стремлюсь, но делала вид, что не замечает моих уловок.

Я получила массу удовольствия от ее рассказов о том времени, когда Бертран был еще подростком. Мадам вспоминала малейшие и очень интересные подробности. Оказывается, он был неуклюжим и неловким юношей, совсем не тем холемым денди, о котором я столько слышала. Его успехи в школе были весьма посредственными, он вовсе не был примерным учеником, как о том восторженно повествовали его родители. В четырнадцать лет у него произошла знаменательная ссора с отцом из-за дочери соседа, неразборчивой в связях крашеной блондинки, которая курила марихуану.

Однако случалось и так, что путешествия по избирательной памяти мадам Тезак не приносили мне никакого удовольствия. Зачастую там встречались долгие, мрачные пропуски и провалы. Она не могла вспомнить буквально ничего. В «плохие» дни она замыкалась в себе, как улитка в раковине. Она сидела молча, с недовольным видом уставившись в экран телевизора и выпятив подбородок.

Однажды утром она никак не могла сообразить, кто такая Зоя. Она постоянно спрашивала: «Кто эта девочка? Что она здесь делает?» Зоя, по своему обыкновению, отнеслась к этому совершенно по-взрослому. Но позже тем вечером я слышала, как она плачет, уткнувшись в подушку. Когда я нежно поинтересовалась у нее, что случилось, она призналась, что ей невыносимо видеть, как стареет прабабушка.

— *Mamé*, — обратилась я к ней, — а когда вы с Андрэ поселились в квартире на рю де Сантонь?

Я ожидала, что она поморщится, отчего станет похожей на пожилую хитрую обезьянку, и скажет что-нибудь вроде: «Ох, я совсем этого не помню...»

Но ответ ее прозвучал коротко и резко, как удар хлыста.

— В июле сорок второго года.

Я вздрогнула и выпрямилась, глядя на нее во все глаза.

— В июле сорок второго? — переспросила я.

— Совершенно верно, — ответила она.

— А как вы нашли эту квартиру? Ведь шла война. Должно быть, это было нелегко, не так ли?

— Вовсе нет, — весело и даже беззаботно воскликнула она. — Эта квартира освободилась как-то очень неожиданно. Мы услышали об этом от *concierge*, мадам Руайер, которая дружила с нашей прежней *concierge*. До этого мы жили на рю де Тюренн, как раз над магазином Андрэ, в тесной и убогой квартирке, в которой была всего одна спальня. Поэтому мы переехали сразу же, вместе с Эдуардом, которому исполнилось тогда уже десять или двенадцать лет. Квартплата, я помню, была совсем маленькой. В те времена тот *quartier*^[26] не был и вполтину так популярен, как сегодня.

Я пристально посмотрела на нее и откашлялась.

— *Mamé*, вы не помните, это случилось в самом начале июля? Или в конце?

Она улыбнулась, явно довольная тем, что так отчетливо все помнит.

— Я прекрасно помню, что это был самый конец июля.

— А вы не помните, почему квартира освободилась столь внезапно?

Еще одна сияющая улыбка.

— Конечно, помню. Тогда состоялась большая облава. В общем, арестовали многих людей. Так что внезапно освободилось много мест, не только наша квартира.

Я молча смотрела на нее. Она не отрывала от меня взгляда. Внезапно глаза ее затуманились, когда она заметила выражение моего лица.

— Но как именно все произошло? Как вы переехали туда?

Она принялась бесцельно поправлять рукава своего платья, тщательно выговаривая слова:

— Мадам Руайер сказала нашей *concierge*, что на рю Сантонь освободилась трехкомнатная квартира. Вот так это и случилось. Именно так все и было.


Воцарилось молчание. Мадам перестала теревить рукава и сложила руки на коленях.

— Но, *Mamé*, — прошептала я, — вам никогда не приходило в голову, что эти люди могут вернуться?

На лице у нее появилось серьезное выражение, а в складках губ возникло болезненное напряжение.

— Мы ничего не знали, — произнесла она наконец. — Ровным счетом ничего.

Она опустила голову, глядя на руки, и больше ничего не сказала.



Эта ночь была самой тяжелой. Это была самая ужасная ночь для нее и для всех остальных детей, думала девочка. Бараки были разграблены подчистую. Не осталось ничего, ни одежды, ни одеял, вообще ничего. Стеганные одеяла были испорчены, пух и перья покрывали землю белой пеленой.

Дети плакали навзрыд, кричали, икали от страха и ужаса. Малыши ничего не могли понять и все время хныкали, они звали своих матерей. Они намочили свою одежду, катались по земле, визжали от отчаяния. Дети постарше, подобно ей самой, сидели на земле, обхватив голову руками.

На них никто не обращал внимания. Они никому не были нужны. Кормили их очень редко. Дети были настолько голодны, что щипали сухую траву, сено, солому. Никто не пришел, чтобы успокоить и утешить их. Девочка задумалась: те полицейские... Неужели у них не было своих семей? Неужели у них не было своих детей? Детей, к которым они возвращались домой? Как они могли так жестоко обращаться с чужими детьми? Может быть, им приказали так вести себя, или для них это было вполне естественным и самым обычным делом? Может быть, они были машинами, а не живыми людьми? Девочка пристально всматривалась в них. Нет, они казались настоящими, из плоти и крови. Они были мужчинами. Она ничего не могла понять.

На следующий день девочка заметила группу людей, которые наблюдали за ними через забор из колючей проволоки. Это были деревенские женщины, в руках они держали какие-то узелки и еду. Они пытались просунуть ее через заграждение. Но полицейские приказали им убираться. И больше к детям не приходил никто.

Девочка чувствовала себя так, словно превратилась в кого-то еще. Кого-то крепкого, закаленного, грубого и жестокого. Иногда она дралась с другими детьми, с теми, кто пытался выхватить у нее из рук кусок заплесневелого хлеба, который она нашла. Она обругала их. Она избила их. Она ощущала себя опасной и дикой.

Поначалу она старалась не обращать внимания на маленьких детей. Они были слишком похожи на ее братика. Но теперь она вдруг

почувствовала, что должна помочь им. Они были маленькими, уязвимыми и беззащитными. Такими жалкими. Такими грязными. Многие из них страдали расстройством желудка. Их одежда пропиталась испражнениями. И не было никого, кто вымыл бы их и накормил.

Понемногу она стала различать их по именам и по возрасту, но некоторые дети были такими маленькими, что едва умели разговаривать. Они были благодарны ей за теплый голос, за улыбку, за поцелуй и ходили за ней по всему лагерю, как перепуганные и перепачканные воробышки.

Она рассказывала им истории и сказки, которые читала братику перед сном. По ночам, лежа на кишащей вшами соломе, в которой шуршали крысы, она шепотом пересказывала им разные истории, стараясь сделать их длиннее, чем они были на самом деле. Вокруг нее собирались и дети постарше. Кое-кто из них делал вид, что не слушает, но девочка знала, что они притворяются.

Здесь, в лагере, была одна девочка, высокое темноволосое создание по имени Рахиль, которая часто поглядывала на нее с легким презрением. Но ночь за ночью она слушала истории и понемножку подбиралась все ближе, чтобы не пропустить ни слова. И вот однажды, когда почти все малыши наконец заснули, она заговорила с девочкой. Глубоким, хриловатым голосом она сказала:

— Мы должны уйти отсюда. Нам нужно бежать.

Девочка отрицательно покачала головой.

— Отсюда не сбежишь. У полицейских ружья. У нас ничего не получится.

Рахиль лишь пожала худенькими плечиками в ответ.

— А я все равно убегу.

— А как же твоя мать? Она будет ждать тебя в другом лагере, как и моя.

Рахиль улыбнулась.

— И ты в это поверила? Ты поверила в то, что они сказали?

Девочка готова была ударить Рахиль за эту многозначительную улыбку.

— Нет, — твердо ответила она. — Я не поверила им. Я больше ничему не верю.

— И я тоже, — заявила Рахиль. — Я видела, что они сделали. Они даже не потрудились правильно записать, как зовут маленьких детей. Они раздали всем маленькие таблички с именами, которые перепутались, когда дети сняли их. Значит, им все равно. Они солгали всем. И нам, и нашим матерям.

А потом, к невероятному удивлению девочки, Рахиль потянулась к ней и дружески взяла за руку. Она крепко пожала ее, как делала когда-то Арнелла. Затем поднялась на ноги и исчезла.

На следующее утро их разбудили очень рано. Полицейские вошли в бараки и принялись расталкивать их дубинками и прикладами. Младшие дети, не успев толком проснуться, начали плакать. Девочка попыталась успокоить тех, кто находился рядом с ней, но они были слишком напуганы. Потом их всех повели в сарай. Девочка держала за руки двух малышек. Она увидела полицейского, который держал в руках какую-то непонятную штуковину. Девочка не поняла, что это такое. Эта штука издавала странный шипящий свист. Малышки, увидев ее, расплакались и попятились назад. Другие полицейские стали шлепать их и пинать ногами, а потом подтащили к мужчине, который держал в руках странный инструмент. Девочка с ужасом смотрела на происходящее. А потом она вдруг поняла. Им собирались остричь волосы. Их всех должны были побрить наголо.

Она видела, как густые волосы Рахили темной волной упали на пол. Ее голый череп был белым и заостренным, как яйцо. Рахиль с яростью и презрением взглянула на полицейских, а потом плюнула им на башмаки. Один из *gendarmes* с силой ударил ее в бок.

Малышки запаниковали. Каждого из них пришлось держать двоим или троим взрослым мужчинам. Когда подошла ее очередь, девочка не стала сопротивляться. Она молча наклонила голову. Она ощутила прикосновение вибрирующего лезвия и зажмурилась, не в силах вынести вида чудесных соломенных волос, падающих к ее ногам. Ее волосы. Ее красивые, роскошные волосы, вызывавшие всеобщее восхищение. Она почувствовала, как к горлу у нее подступают рыдания, но сумела не расплакаться. Она никогда больше не заплачет перед этими мужчинами. Никогда. Это всего лишь волосы. Они отрастут.


Унизительная процедура почти завершилась. Она снова открыла глаза. У полицейского, который держал ее, были мясистые розовые

руки. Она не сводила с него глаз, пока второй мужчина сбрасывал остатки ее локонов...

Это оказался тот самый рыжеволосый полицейский с ее улицы. Тот самый, с которым часто болтала ее мать. Тот самый, который всегда подмигивал ей, когда она возвращалась из школы. Тот самый, которому она помахала в день облавы, тот самый, который отвернулся тогда. Но сейчас он стоял слишком близко и поэтому не мог отвернуться.

Она молча смотрела ему прямо в глаза, не опуская взгляда. Глаза у него были необычного, какого-то желтоватого цвета, похожие на расплавленное золото. Лицо его залила краска смущения, и девочке показалось, что он дрожит. Но она по-прежнему ничего не говорила, только смотрела на него с нескрываемым презрением.

Он, не шевелясь, тоже глядел на нее во все глаза. Девочка улыбнулась горькой улыбкой повзрослевшего человека, неожиданной в десятилетнем ребенке, и стряхнула его отяжелевшие руки.



Из дома престарелых я выходила сама не своя, все было как в тумане. Мне нужно было возвращаться в контору, где меня уже поджидал Бамбер, но я обнаружила, что вновь иду на рю де Сантонь. В голове у меня крутились бесчисленные вопросы, и я чувствовала, что тону в них. Неужели *Mamé* говорила правду или она все перепутала из-за болезни? В самом ли деле в ее бывшей квартире жила еврейская семья? Как могли Тезаки вселиться туда и ничего не знать о своих предшественниках, как утверждала *Mamé*?

Я медленно шла по двору. Небольшая комнатка *concierge* должна была находиться примерно здесь, думала я. Много лет назад ее перестроили в отдельную, но крошечную квартирку. В коридоре вдоль стен тянулись ряды металлических ящиков. *Concierge*, которая раньше покупала почту и разносила ее по квартирам, больше не было. Мадам Руайер, так ее звали, как говорила *Mamé*. Я много читала о *concierges* и о той роли, которую они сыграли во время арестов. Одни, и таких было большинство, добросовестно выполняли приказы, отданные полицейскими, а некоторые пошли еще дальше, показывая и выдавая полиции убежища, в которых прятались отдельные еврейские семьи. Другие же разграбили опустевшие квартиры, поживившись брошенным имуществом, сразу же после начала облавы. И лишь очень немногие, как мне стало известно из прочитанного, постарались в меру своих сил и возможностей защитить еврейские семьи. Интересно, на чью сторону встала мадам Руайер, подумала я. Мимоходом я вспомнила и свою *concierge* на бульваре дю Монпарнас: она была моей ровесницей, родом из Португалии, и не познала ужасов войны.

Я не стала вызывать лифт и поднялась на четвертый этаж по лестнице. Рабочие ушли перекусить, у них наступило время обеденного перерыва. В здании царил тишина. Открыв входную дверь, я вдруг почувствовала, как меня охватило какое-то странное чувство, ощущение безысходного отчаяния и опустошенности. Я прошла в старую часть квартиры, ту, которую Бертран показывал нам накануне. Итак, именно здесь все и произошло. Вот в эту самую дверь жарким июльским утром, перед самым рассветом, постучали полицейские.

Кажется, все, что я прочла об облаве за прошедшие несколько недель, все, что узнала о событиях на «Вель д'Ив», обрушилось на меня здесь, в этой квартире, в которой я собиралась жить. Все изученные мной свидетельские показания, все выжившие жертвы облавы и посторонние наблюдатели, с которыми я разговаривала, все это позволило мне с небывалой ясностью понять и представить драму, разыгравшуюся здесь, в этих стенах, которых я сейчас касалась.

Статья, которую я начала писать несколько дней назад, была почти готова. Приближался срок сдачи. Хотя мне еще предстояло посетить лагеря на Луаре и Дранси, находившиеся за городской чертой Парижа и у меня была назначена встреча с Франком Леви, ассоциация которого, главным образом, и занималась организацией торжественной церемонии памяти жертв облавы, состоявшейся шестьдесят лет назад. Совсем скоро мое расследование закончится, и я буду писать о чем-нибудь другом.

Но теперь, когда я знала о том, что произошло здесь, совсем рядом со мной, и что так тесно, почти интимно, было связано со мной и моей жизнью, я чувствовала, что должна узнать больше. Мои поиски еще не закончились. Я чувствовала, что должна узнать все, до конца. Что случилось с еврейской семьей, которая жила здесь до нас? Как их звали? Были ли у них дети? И вернулся ли кто-нибудь из них из лагерей смерти? Или они погибли, все до единого?

Я бродила по пустой квартире. В одной из комнат рабочие разбирали стену. Среди обломков я заметила длинную глубокую выемку, искусно спрятанную за стеной панелью. Сейчас она частично обнажилась. Наверное, когда-то она служила надежным тайником, убежищем. Если бы эти стены могли говорить... Но мне не нужно было, чтобы они заговорили. Я и так знала, что здесь произошло. Я буквально видела это. Уцелевшие свидетели тех событий рассказывали о душной, безветренной ночи, о бесцеремонном стуке в двери, о коротких и резких словах команды, о поездке на автобусах через весь Париж. Они рассказывали о зловонном аде, который воцарился в здании велодрома «Вель д'Ив». Те, кто рассказывал мне об этом, выжили. Те, кто вырвался из ада. Те, кто сорвал желтую звезду с одежды и сбежал.

Мне вдруг пришла в голову мысль, а смогу ли я смириться с таким знанием, смогу ли жить в этой квартире, зная о том, что здесь

была арестована другая семья, арестована и отправлена на верную смерть. Интересно, а как жили с сознанием этого Тезаки?

Я достала сотовый телефон и позвонила Бертрану. Когда он увидел на дисплее мой номер, то пробормотал в трубку:

— Совещание.

На нашем тайном языке это означало, что он занят.

— Это срочно, — сказала я.

Я услышала, как он произнес несколько слов в сторону, обращаясь к кому-то, а потом его голос четко зазвучал в трубке.

— Что стряслось, любовь моя? — спросил он. — Пожалуйста, выкладывай побыстрее, меня ждут люди.

Я сделала глубокий вздох.

— Бертран, — спросила я, — ты знаешь, как твои дедушка и бабушка получили квартиру на рю де Сантонь?

— Нет, — ответил он, — не знаю. А что?

— Я только что навещала *Mamé*. Она рассказала мне, что они переехали сюда в июле сорок второго года. По ее словам, квартира освободилась после того, как еврейскую семью, которая жила здесь до них, арестовали во время облавы «Вель д'Ив».

Молчание.

— Ну и что? — поинтересовался наконец Бертран.

Я почувствовала, что у меня горят щеки. Мой голос эхом прокатился по пустой квартире.

— Но тебя разве не беспокоит тот факт, что ваша семья вселилась в эту квартиру, зная, что проживавшая здесь еврейская семья была арестована? Они тебе рассказывали об этом?

Я буквально видела, как он типично французским жестом пожимает плечами, как у него опускаются уголки губ, а брови, наоборот, взлетают вверх.

— Нет, меня это ничуть не беспокоит. Я ничего не знал, они ничего мне не говорили, но это меня совершенно не волнует. Я уверен, что многие парижане в июле сорок второго года переехали в квартиры, освободившиеся после облавы. Ведь от этого члены моей семьи не становятся коллаборационистами, а?

Его смех резал мне слух.

— Я никогда такого не говорила, Бертран.

— Ты принимаешь эту историю слишком близко к сердцу, Джулия, — уже спокойнее произнес он. — В конце концов, это случилось шестьдесят лет назад. Не забывай, шла война. Всем приходилось нелегко.

Я вздохнула.

— Я всего лишь хочу знать, как это случилось. Я просто ничего не понимаю.

— Все очень просто, *mon ange*.^[27] Во время войны моим дедушке и бабушке пришлось нелегко. Магазин по продаже антиквариата не приносил прибыли. Поэтому они наверняка с радостью ухватились за возможность переехать в более комфортабельную и просторную квартиру. В конце концов, у них был ребенок. Они были молоды. И обрадовались тому, что у них появилась крыша над головой. Скорее всего, они попросту и думать забыли об этом еврейском семействе.


— Ох, Бертран, — прошептала я. — Как они могли *не думать* об этой несчастной семье? Как они могли?

Кажется, он послал мне воздушный поцелуй в трубку.

— Полагаю, они просто ничего не знали. Но я должен идти, *amour*. Увидимся вечером.

И он повесил трубку.

Я же побыла еще какое-то время в квартире. Я прошла по длинному коридору, постояла в пустой гостиной, провела рукой по гладкой мраморной каминной полке, пытаюсь понять, что же произошло, и стараясь не позволить эмоциям захлестнуть меня с головой.



Поговорив еще несколько раз с Рахилью, девочка решилась. Они убегут отсюда. Они обязательно должны убежать из этого страшного места. Особого выбора у них не было: им оставалось или умереть, или убежать. Она знала, что если останется здесь с другими детьми, то это будет конец. Многие дети были больны. Несколько человек уже умерли. Однажды она видела сестру милосердия, такую же, как и на стадионе, женщину в голубой высокой шапочке. Одна сестра милосердия на такую массу больных, умирающих от голода детей.

Свое решение убежать они держали в тайне. Они не сказали о том, что собираются сбежать отсюда, никому из детей. Никто и ни о чем не должен был догадаться. Они намеревались удрать из лагеря среди бела дня. Девочки подметили, что днем полицейские почти не обращали на детей внимания. Все должно было пройти легко и быстро. Вниз мимо барачков, по направлению к водонапорной башне, к тому месту, где деревенские женщины пытались просунуть им еду через колючую проволоку. Они обнаружили в том месте маленькое окошко в спиралях проволоки. Оно было небольшим, но вполне достаточным, чтобы в него пролез ребенок.

Некоторые дети уже покинули лагерь в сопровождении полицейских. Девочка смотрела, как они уходят, слабые, больные создания с бритыми головами в рваной, потрепанной одежде. Куда их уводят? Далеко? К отцам и матерям? В такую возможность она не верила. Рахиль тоже. Если все они должны были попасть в одно место, для чего полиции понадобилось отрывать детей от родителей? К чему было причинять такую боль, такие страдания, думала девочка. «Это все потому, что они нас ненавидят, — заявила ей глубоким, хриловатым голосом Рахиль. — Они ненавидят евреев». И, должно быть, ненавидят очень сильно, решила девочка. Но откуда взялась такая ненависть? Она еще никого не ненавидела в своей жизни, не считая разве что одной учительницы. Учительницы, которая сурово наказала ее за то, что она не выучила урок. Интересно, она действительно желала этой женщине смерти, принялась вспоминать девочка. Оказывается, да, желала. Так вот как,

наверное, и происходят такие вещи. Вот откуда берется такая ненависть. Ты так ненавидишь кого-нибудь, что хочешь убить его. Ненавидишь кого-нибудь только за то, что он носит на груди желтую звезду. Она содрогнулась от ужаса. Она чувствовала себя так, словно все зло на земле, вся ненависть мира сосредоточились здесь, в этом лагере, вокруг нее, в жестоком выражении лиц полицейских, в их равнодушии, в их презрении. Неужели и за пределами этого лагеря евреев тоже ненавидят? Неужели теперь вся ее жизнь станет таким кошмаром?

Она вспомнила, как в прошлом июне, возвращаясь из школы, подслушала разговор соседней. Женские голоса, пониженные до шепота. Она замерла на ступеньках, наострив уши, как гонимая собака. «Представляете, куртка у него распахнулась, а там, на груди, вот она, желтая звезда. Никогда бы не подумала, что он еврей». Она услышала, как другая женщина поперхнулась от неожиданности: «Он еврей! Такой приличный человек. Вот так сюрприз. Какой кошмар!»

Тогда она поинтересовалась у своей матери, почему некоторые их соседи не любят евреев. Мать в ответ пожала плечами, потом вздохнула и еще ниже склонилась над утюгом, которым гладила белье. Но она не ответила на вопрос. Поэтому девочка отправилась к отцу. Что плохого в том, что они евреи? Почему некоторые люди ненавидят евреев? Отец почесал в затылке, а потом взглянул на нее сверху вниз с неуверенной улыбкой. Запинаясь, он сказал: «Потому что они думают, что мы — другие. Поэтому они боятся нас». Но в чем заключается эта разница, подумала девочка. Чем они отличаются от других?

Ее мать. Ее отец. Ее братик. Тоска по ним причиняла ей физическую боль. Ей казалось, что она падает в бездонную пропасть. И бегство представлялось ей единственным способом обрести хотя бы некоторый контроль над своей жизнью, над этой новой жизнью, которой она не понимала. Может быть, и ее родителям тоже удалось убежать? Может быть, им удалось вернуться домой? Может быть... может быть...

Она подумала о пустой квартире, о неубранных постелях, о еде, медленно гниющей на кухне. И о братике, оставшемся в одиночестве в тишине шкафа. В мертвом молчании квартиры.

Рахиль коснулась ее руки, и девочка испуганно вздрогнула.

— Пора, — прошептала она. — Сейчас самое время.

В лагере было тихо, он казался пустым и заброшенным. Они заметили, что после того как увели взрослых, полицейских здесь стало намного меньше. И полицейские почти не разговаривали с детьми. Они оставили их в покое.

На бараки обрушилась невыносимая жара. Внутри, на сырой соломе, неподвижно лежали слабые и больные дети. Откуда-то издалека до девочки доносились мужские голоса и смех. Мужчины, наверное, спрятались от солнца под навесом.

Единственный полицейский, которого они видели, сидел в тени, положив винтовку на колени. Он откинул голову, прислонившись к стене барака и, кажется, спал, приоткрыв рот. Они поползли к проволочному ограждению, похожие на маленьких юрких ящериц. За ним они уже видели зеленые луга и поля, простирающиеся перед ними.

Вокруг по-прежнему царила тишина. Тишина и жара. Не заметили ли их кто-нибудь? Они распластались в высокой траве. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Девочки осторожно оглянулись назад. Никакого движения. Ни звука. Неужели все так просто? Нет, такого не может быть. Больше никогда и ничего не будет легко и просто. Никогда.

Рахиль комкала в руках рваную одежду. Она убедила девочку надеть ее, говоря, что лишний слой ткани защитит кожу от колючей проволоки. Девочка с содроганием натянула на себя грязный, рваный свитер и тесные, засаленные брюки. Интересно, кому принадлежала эта одежда раньше? Наверное, какому-нибудь бедному ребенку, у которого отняли мать и который остался совсем один, чтобы умереть.

По-прежнему не поднимая головы, они приблизились к дыре в колючей проволоке. Чуть в стороне от нее стоял полицейский. Девочки не могли различить его лица, им была видна лишь его круглая фуражка. Рахиль показала на дыру в проволочном ограждении. Нужно было спешить. Нельзя было терять времени. Они легли на живот и по-пластунски поползли к дыре. Она кажется такой маленькой, подумала девочка. Разве смогут они протиснуться в нее и не пораниться, несмотря на надетую поверх своей чужую одежду? О чем они думали, когда разрабатывали свой план? Как они могли

надеяться, что их никто не увидит? Что они смогут сбежать? Они просто сошли с ума, подумала девочка. Просто сошли с ума.

Травинки щекотали ей нос. Они пахли чудесно. Ей захотелось зарыться в траву лицом и вдыхать ее зеленый, свежий аромат. Она увидела, что Рахиль уже добралась до дыры и теперь осторожно просовывает в нее голову.

Внезапно девочка услышала чьи-то тяжелые шаги по траве. Сердце у нее замерло. Она подняла голову и увидела нависшую над ней гигантскую тень. Полицейский. Он поднял ее, держа за воротник старенькой блузки, и встряхнул. От страха у нее отнялись руки и ноги.

— Какого черта ты здесь делаешь? — прошипел он ей в ухо.

Рахиль уже наполовину пролезла в отверстие. Мужчина, по-прежнему держа девочку за шиворот, нагнулся и схватил Рахиль за лодыжку. Та вырывалась и сопротивлялась, но он был намного сильнее и в конце концов вытащил ее из дыры в колючей проволоке. Лицо и руки у нее кровоточили.

Они стояли перед ним, Рахиль всхлипывала, а девочка выпрямилась во весь рост и гордо задрала подбородок. Внутри у нее все дрожало, но она твердо решила, что не покажет своего страха. По крайней мере, попытается.

А потом она посмотрела на него, и у нее перехватило дыхание.

Это был тот самый рыжеволосый полицейский. Он тоже сразу же узнал ее. Она увидела, как дернулся кадык у него на шее, и почувствовала, как ослабла его хватка.

— Вы не можете убежать, — хрипло выдохнул он. — Вы должны оставаться здесь, понятно?

Он был совсем еще молод, немногим старше двадцати, крупный, с нежной розовой кожей. Девочка заметила, что он вспотел в своей темной форме. На лбу у него выступили капли пота, и на верхней губе тоже. Он растерянно моргал, переступая с ноги на ногу.

И тут девочка поняла, что не боится его. Она вдруг ощутила нечто вроде жалости, это удивило и позабавило ее. Она коснулась его руки. Он с удивлением и замешательством опустил глаза. Она сказала:

— Вы меня помните.

Это был не вопрос, а утверждение.

Он кивнул головой, вытирая влагу у себя под носом. Она вынула из кармана ключ и показала ему. Рука у нее не дрожала.

— Вы помните моего маленького братика, — продолжала она. — Маленького светловолосого мальчугана, с вьющимися волосами?

Он снова кивнул.

— Вы должны отпустить меня, месье. Это мой маленький братик, месье. Он остался в Париже. Один. Я заперла его в шкафу, потому что думала... — Голос у нее сорвался. — Потому что я думала, что там он будет в безопасности! Я должна вернуться! Отпустите меня, дайте мне выбраться через эту дыру. Вы же можете притвориться, что не видели меня, месье!

Мужчина оглянулся через плечо на бараки и навесы, как будто опасаясь, что кто-нибудь может подойти сюда, услышать или увидеть их.

Он приложил палец к губам. Потом снова посмотрел на девочку. Поморщился, покачал головой.

— Я не могу так поступить, — негромко произнес он. — У меня приказ.

Она положила руку ему на грудь.

— Пожалуйста, месье, — тихонько взмолилась она.

Рядом с нею чихнула Рахиль, лицо которой покрывали кровь и слезы. Мужчина опять оглянулся через плечо. Такое впечатление, что в душе у него боролись противоречивые чувства. Девочка снова подметила странное выражение у него на лице, то самое, которое она видела и в день облавы. Смесь жалости, стыда и гнева.

Она чувствовала, как медленно уходят минуты, растянувшиеся в часы, налитые свинцовой тяжестью. Бесконечные минуты падали в вечность. Она чувствовала, как слезы подступают к горлу, готовые смениться безудержной паникой. Что она будет делать, если он отправит ее и Рахиль обратно в бараки? Как она сможет жить здесь дальше? Как? Она гневно подумала, что снова попытается сбежать, и будет пытаться снова и снова. Снова и снова.

Внезапно полицейский обратился к ней по имени. Он взял ее за руку. Его ладонь была горячей и влажной.

— Иди, — прошептал он сквозь стиснутые зубы, и по вискам у него потекли струйки пота, обрамляя бледное, одутловатое лицо. — Беги, ну же! Быстрее!

Озадаченная и растерянная, она взглянула в глаза цвета расплавленного золота. Он подтолкнул ее к дыре, рукой пригибая к земле. Приподняв проволоку, он сильным толчком отправил ее на ту сторону. Колючки впились ей в лицо. А потом все кончилось. Она с трудом поднялась на ноги. Она была свободна и стояла по другую сторону ограждения.

Рахиль смотрела на них во все глаза, не в силах пошевелиться.

— Я тоже хочу уйти отсюда, — прошептала она.

Мужчина крепко взял ее за плечо.

— Нет, ты останешься, — возразил он.

Рахиль заплакала в голос.

— Это нечестно! Почему она, а не я? Почему?

Полицейский сделал ей знак замолчать, приподняв другую руку. Девочка за ограждением замерла, она не могла уйти просто так. Почему Рахиль не может убежать с нею? Почему она должна остаться?

— Пожалуйста, отпустите ее, — взмолилась девочка. — Пожалуйста, месье.

Она вдруг заговорила спокойным, тихим голосом. Голосом взрослой женщины.

Полицейский явно не находил себе места, не зная, что делать. Но колебался он недолго.

— Ладно, беги, — сказал он, подталкивая Рахиль. — Быстро!

Он опять приподнял проволоку, пока Рахиль проползала под ней на ту сторону. И вот она, запыхавшись, уже стояла рядом с девочкой.

Мужчина порылся в карманах, вытащил что-то и протянул девочке через забор.

— Возьми это, — приказал он.


Девочка опустила глаза на толстую пачку денег, которая оказалась у нее в руке. Она положила ее в кармашек, рядом с ключом.

Полицейский оглянулся на бараки, и на лбу у него собрались морщинки.

— Ради всего святого, бегите! Бегите быстрее, обе! Если они вас увидят... Оторвите звезды. Попытайтесь найти кого-нибудь, кто вам поможет. Будьте осторожны! Удачи!

Девочка хотела поблагодарить его, поблагодарить за помощь, за деньги, которые он дал. Она хотела протянуть ему руку, но Рахиль

схватила ее за плечо, развернула спиной к проволоке, и они побежали. Из всех сил они бежали по полю, топча высокие колосья спелой пшеницы, размахивая руками, как ветряные мельницы, им не хватало воздуха, легкие разрывались, но они старались убежать как можно дальше от лагеря, как можно дальше от этого проклятого места.



Вернувшись домой, я вдруг сообразила, что последние пару дней меня все время подташнивает. Поначалу я не обращала на это внимания, с головой уйдя в работу над статьей о событиях на «Вель д'Ив». Потом, на прошлой неделе, на меня свалились неожиданные новости о квартире *Maté*. Но теперь я сообразила, что моя грудь обрела болезненную чувствительность, и наконец-то серьезно задумалась над тем, что со мной происходит. Я проверила, когда у меня должна была начаться менструация. Так и есть, произошла задержка. Но в прошлом со мной бывало и такое. В конце концов я решила спуститься в аптеку на бульваре и купить тест на беременность. Просто так, на всякий случай.

Вот я и убедилась. Полоска на тесте посинела. Итак, я беременна. Беременна. Я не верила своим глазам.

Я уселась на кухне и задумалась.

Последняя моя беременность, пять лет назад, после двух выкидышей, была сущим кошмаром. Боли начались почти сразу, затем у меня открылось кровотечение, после чего выяснилось, что плод развивается вне матки, в одной из труб. Пришлось делать тяжелую операцию. И физически, и морально я была раздавлена. Мне потребовалось много времени, чтобы вновь прийти в себя. Врачи удалили у меня один яичник. К тому же в то время мне уже стукнуло сорок. Разочарование и печаль на лице Бертрана. Он ни в чем не упрекал меня, но я ощущала его состояние. Просто знала. А оттого, что он не захотел поговорить со мной о своих чувствах, мне стало еще больнее. Он переживал молча, без меня. Слова, которые так и не были произнесены, встали между нами непроницаемой стеной. Я разговаривала о случившемся только со своим психиатром. Или с близкими друзьями.

Я вспомнила последний уик-энд, который мы провели в Бургундии. Тогда мы пригласили погостить Изабеллу с детьми. Их дочь Матильда была ровесницей Зои, и еще у них был маленький Мэтью. А какими глазами смотрел на него Бертран, на этого чудесного мальчугана лет четырех или пяти. Бертран ходил за ним по пятам, Бертран играл с ним, носил на плечах, улыбался ему, но в глазах его

таилась тоска. Это было невыносимо. Изабелла застала меня плачущей на кухне в одиночестве, пока все остальные доедали запеканку полотарингски во дворе. Она крепко обняла меня, потом налила мне полный бокал вина, включила CD-проигрыватель и оглушила меня старыми хитами Дайаны Росс.

— Твоей вины здесь нет, *ma cocotte*,^[28] ты ни в чем не виновата. Помни об этом.

После этого я долгое время чувствовала себя беспомощной. Семейство Тезаков проявило дружелюбие и понимание, но у меня все равно осталось очень неприятное чувство, словно я не смогла дать Бертрану то, чего он хотел больше всего на свете: второго ребенка. Сына, что еще более важно. У Бертрана было две сестры, но ни одного брата. Так что фамилия его грозила исчезнуть, если у него не появится наследник. Тогда я не понимала, насколько это важно для всей его семьи.

А когда я дала понять, что, несмотря на то что являюсь супругой Бертрана, я предпочитаю, чтобы меня называли Джулия Джермонд, ответом мне послужило удивленное молчание. Моя свекровь, Колетта, с деланной улыбкой объяснила, что во Франции такое поведение считается современным. Чересчур современным. Чуть ли не феминистской выходкой, которая не найдет понимания в их кругу. Французская женщина должна носить фамилию мужа. Так что до конца дней своих мне предстояло отзываться на обращение «мадам Бертран Тезак». Помню, как в ответ я продемонстрировала ей свою ослепительную улыбку в тридцать два зуба и бойко заявила, что в таком случае я предпочту, чтобы меня называли Джулией. Она промолчала, но с тех пор и она, и Эдуард, мой свекор, представляли меня просто: «Супруга Бертрана».

Я опустила взгляд на синюю полоску в руках. Итак, ребенок. Ребенок! Меня вдруг охватило чувство радости, абсолютного счастья. У меня будет ребенок. Я обвела взглядом до боли знакомую обстановку кухни. Потом подошла к окну и стала смотреть на темный, мрачный двор, простирившийся внизу. Интересно, мальчик или девочка? Впрочем, какая разница? Я знала, что Бертран будет надеяться, что у нас родится сын. Но он будет любить и девочку, уж это-то я знала. Второй ребенок. Ребенок, которого мы ждали так долго, слишком долго. Ребенок, на появление которого мы уже перестали

надеяться. Сестра или брат, о которых перестала говорить Зоя. Тот самый, относительно которого перестала проявлять любопытство и *Mamé*.

Но как же сообщить эту новость Бертрану? Не могу же я просто позвонить ему и выпалить такое известие по телефону! Мы должны быть вместе, только вдвоем, и никого больше. Мне требовалось романтическое уединение. И еще мы должны держать эту новость в секрете, не говорить об этом никому, пока моя беременность не составит, как минимум, три месяца. Меня охватило непреодолимое желание позвонить Эрве и Кристофу, Изабелле, моей сестре, родителям, но я постаралась сдержать свой порыв. Первым обо всем должен узнать мой муж. Потом моя дочь. Мне в голову пришла одна мысль.

Я схватила телефон и набрала номер Эльзы, приходящей няни. Я спросила, свободна ли она сегодня вечером и не сможет ли посидеть с Зоей. Она ответила, что сможет. Тогда я заказала столик в нашем любимом ресторане, в котором подавали пиво и в котором мы бывали регулярно с тех самых пор, как поженились. Наконец я позвонила Бертрану, попала на его голосовую почту и назначила ему свидание в «Томьё» ровно в двадцать один ноль-ноль.

Я услышала, как Зоя отпирает ключом входную дверь. До меня донесся грохот захлопывающейся двери, и вот она вошла на кухню, держа в руке тяжелый рюкзак.

— Привет, мама, — поздоровалась она. — Как дела?

Я улыбнулась. Как всегда, стоило мне взглянуть на Зою, как я про себя поражалась ее красоте, ее стройной высокой фигурке, ее ясным карим глазам.

— Иди ко мне, — сказала я, заключая ее в медвежьи объятия.

Зоя ответила на ласку, потом отстранилась и внимательно посмотрела на меня.

— У тебя, мне кажется, был очень хороший день, правильно? — поинтересовалась она. — Я чувствую это по тому, как ты меня обнимаешь.

— Ты права, — согласилась я, умирая от желания рассказать ей все. — День действительно был очень даже неплохой.

Она по-прежнему не сводила с меня глаз.

— Я очень рада. А то в последнее время ты какая-то странная. Я решила, что это из-за тех детей.

— Из-за тех детей? — повторила я, ласково убирая прядку волос, упавшую ей на глаза.

— Ну, ты понимаешь, тех детей, — ответила она. — Детей на «Вель д'Ив». Тех, которые так и не вернулись домой.

— И опять ты права, — пробормотала я. — Мне было очень грустно. И мне по-прежнему жаль их.

Зоя взяла мои руки в свои и принялась крутить у меня на пальце обручальное кольцо. Этой привычкой она обзавелась, будучи совсем маленькой, и до сих пор не оставила ее.

— И еще я слышали, как на прошлой неделе ты разговаривала по телефону, — призналась она, не глядя на меня.

— Ну и?

— Ты думала, что я сплю.

— Ага, — глубокомысленно изрекла я.

— Я не спала, хотя было уже поздно. По-моему, ты разговаривала с Эрве. Ты говорила ему о том, что рассказала тебе *Mamé*.

— О квартире? — спросила я.

— Да, — сказала она и наконец подняла на меня глаза. — О той семье, которая жила там раньше. И о том, что случилось с этой семьей. И о том, как *Mamé* жила там все эти годы, и как ей, похоже, было все равно.

— Получается, ты все слышала, — пробормотала я.

Она кивнула.

— Ты знаешь что-нибудь о той семье, мама? Ты знаешь, кем они были? Что с ними стало?

Я отрицательно покачала головой.

— Нет, родная, не знаю.

— А правда, что *Mamé* было все равно?

Так, теперь мне следовало соблюдать крайнюю осторожность.

— Милая, я уверена, что ей было не все равно. Просто, на мой взгляд, она не знала, что случилось.

Зоя снова принялась крутить кольцо у меня на пальце, на этот раз быстрее.

— Мама, ты ведь узнаешь о них все, что можно?


Я накрыла ладонью нервные пальчики, не желающие оставить в покое мое кольцо.

— Да, Зоя. Именно это я и собираюсь сделать, — ответила я.

— Папе это не понравится, — заметила она. — Я слышала, как папа говорил, чтобы ты перестала переживать на этот счет. Чтобы вообще забыла об этом. По-моему, он был очень зол.

Я прижала ее к себе и зарылась лицом в ее волосы. Я подумала о замечательном секрете, который хранила в своей душе. Я подумала о сегодняшнем вечере, о ресторанчике «Томьё». О недоверчивом выражении лица Бертрана, о том, как он задохнется от счастья.

— Милая, — сказала я. — Папа не станет возражать. Я обещаю.



Выбившись из сил, девочки повалились на землю под большим кустом. Им страшно хотелось пить, они задыхались от быстрого бега. У девочки больно кололо в боку. Вот бы сейчас выпить глоток воды. Немножко отдохнуть. Восстановить силы. Но она знала, что долго оставаться здесь нельзя. Она должна идти дальше, должна вернуться в Париж. Любым способом.

«Оторвите звезды», — сказал им мужчина. Они с трудом сняли с себя лишние лохмотья, окончательно разорванные колючей проволокой. Девочка опустила глаза на грудь. Вот она, звезда, у нее на блузке. Она потянула ее. Рахиль, глядя на нее, подцепила свою звезду ногтями. Она легко оторвалась. А вот у девочки звезда не поддавалась, она была пришита слишком крепко. Она сбросила блузку, поднесла звезду к лицу. Крохотные, ровные стежки. Она вспомнила мать, склонившуюся над столом с рукоделием, терпеливо и аккуратно нашивающую звезды на их одежду, одну за другой. От этих воспоминаний на глазах у нее выступили слезы. Она расплакалась, прижав блузку к лицу, и ее охватило неведомое ранее отчаяние.

Девочка вдруг почувствовала, что Рахиль обнимает ее, обнимает своими окровавленными руками, гладит по голове, прижимает к себе. Рахиль спросила: «Это правда, то, что ты рассказывала о своем младшем брате? Он действительно заперт в шкафу?» Девочка кивнула. Рахиль крепче прижала ее к себе, неловко и неумело гладя по голове. Где сейчас моя мама, подумала девочка. И мой отец. Куда их повезли? Они хотя бы вместе? Они в безопасности, им ничего не угрожает? Если бы только они видели ее сейчас... Если бы только они видели ее, плачущую под кустом, грязную, оборванную, голодную, отчаявшуюся...

Она попыталась взять себя в руки и даже выдавила улыбку, глядя на Рахиль сквозь слезы. Да, она грязная, отчаявшаяся, голодная; пусть, зато она не боится. Перепахканной ладошкой она смахнула слезы с глаз. Она слишком быстро повзрослела, чтобы теперь бояться чего-либо. Она больше не ребенок. Ее родители могли бы гордиться ею. Она так хотела этого! Они могли бы гордиться ею, потому что она убежала из лагеря. Они могли бы гордиться ею,

потому что она возвращалась в Париж, чтобы спасти братика. Они могли бы гордиться ею, потому что она больше не боялась.

Она с утроенной силой принялась за звезду, зубами разрывая нитки, которыми мать пришила ее к блузке. Наконец клочок желтой материи упал на землю. Она посмотрела на него. Большие черные буквы. «ЕВРЕЙКА». Она скомкала его в руке.

— Тебе не кажется, что она выглядит совсем маленькой? — повернулась девочка к Рахили.

— И что ты собираешься делать с ней? — поинтересовалась та. — Если мы оставим звезды в кармане, а нас обыщут, нам конец.

Девочки решили зарыть звезды под кустом вместе с одеждой, в которой они пролезали через забор из колючей проволоки. Земля была сухой и мягкой. Рахиль вырыла яму, сложила в нее одежду и звезды, а потом снова засыпала ее коричневым суглинком.

— Ну вот, готово, — с торжеством заявила она. — Я хороню звезды. Они умерли и лежат в могиле. И останутся там навсегда.

Девочка засмеялась вместе с Рахилью. А потом ощутила угрызения совести. Ведь мать говорила ей, что она должна гордиться своей звездой. Должна гордиться тем, что она еврейка.

Сейчас ей не хотелось думать об этом. Все изменилось. Абсолютно все. Им нужно найти еду и питье, крышу над головой, а еще ей обязательно нужно вернуться домой. Как? Она пока не знала. Она даже не знала, где они сейчас находятся. Но зато у нее были деньги. Деньги, которые дал ей полицейский. В конце концов, он оказался не таким уж плохим человеком. Может быть, это означало, что найдутся и другие добрые и хорошие люди, которые им помогут. Люди, которым не за что их ненавидеть. Люди, которые не считали их «другими».

Они находились неподалеку от деревни. Из-за кустов они видели дорожный указатель.

— Бюн-ла-Роланд, — вслух прочла Рахиль.

Инстинкт самосохранения подсказал им, что заходить в деревню не стоит. Здесь они не найдут помощи. Деревенские жители знали о лагере, тем не менее никто не пришел на помощь заключенным, за исключением тех женщин, да и то было один раз. Кроме того, деревня располагалась слишком близко к лагерю. Они могли наткнуться на кого-нибудь, кто отправит их обратно. Поэтому они

повернулись спиной к Бюн-ла-Роланд и двинулись прочь, стараясь держаться поближе к высокой траве, которая росла на обочине дороги. Если бы еще напиток чего-нибудь, думала девочка. От голода и жажды она ослабела, и у нее кружилась голова.

Они шли и шли вперед, останавливаясь и прячась, когда слышали шум приближающейся машины или мычание коров, которых гнал домой местный фермер. В правильном ли направлении они двигались? К Парижу или в обратную от него сторону? Девочка не знала. Но, по крайней мере, она была уверена в том, что они все дальше и дальше удалялись от лагеря. Она посмотрела на свои туфельки. Они разваливались на ходу. А ведь это была вторая ее любимая пара, обувь для торжественных случаев, которую она надевала на дни рождения или походы в кино, а также когда ходила в гости к подружкам. Они купили их в прошлом году вместе с матерью, неподалеку от Place de la République.^[29] Кажется, это было так давно. В другой жизни. Теперь туфельки стали ей малы, и у нее болели пальцы ног.

День уже клонился к закату, когда они добрались до леса, большого, прохладного, зеленого лесистого массива. Под деревьями пахло сладковатой сыростью. Девочки сошли с дороги, надеясь отыскать в лесу землянику или голубику. Вскоре они набрали на настоящие заросли ягод. Рахиль вскрикнула от радости. Девочки уселись прямо на землю и принялись жадно рвать спелые ягоды. Девочка вспомнила, как они раньше собирали фрукты вместе с отцом, в то благословенное время, когда они отдыхали у реки. Как давно это было, целую вечность назад...

Ее желудок, не привыкший к такому изобилию, взбунтовался. Она схватилась обеими руками за живот, и ее вырвало. Она извергла из себя массу непереваренных ягод. Во рту ощущался отвратительно кислый и мерзкий привкус. Девочка сказала Рахили, что они должны найти воду. Она с трудом заставила себя подняться на ноги, и они углубились в лес, таинственный ярко-зеленый мир, разбавленный золотыми пятнами и полосами солнечных лучей. Внезапно сквозь заросли папоротника девочка увидела косулю, и от благоговейного страха у нее перехватило дыхание. Она ведь не привыкла к дикой природе, она была истинно городским ребенком.


Вскоре они набрали на небольшой чистый пруд. Вода казалась на вид прохладной и свежей. Девочка пила и все никак не могла

оторваться. Она прополоскала рот, постаралась смыть с блузки пятна ягодного сока, а потом опустила в неподвижную воду ноги. После той памятной эскапады у реки она больше не купалась в водоемах, а потому не решалась окунуться в пруд с головой. Рахиль догадалась, в чем дело, и ободряющим тоном сказала девочке, чтобы та не боялась и что она ее поддержит. Девочка скользнула в воду, держа Рахиль за плечи. Рахиль обхватила ее одной рукой вокруг живота, а другой держала за шею, под подбородком, как когда-то делал отец. Прикосновение воды было восхитительным, она нежно ласкала кожу девочки. Она плеснула водой на свою обритую голову, на которой уже начали отрастать волосы — золотистый пушок, жесткий и грубый, как щетина на подбородке отца.

Внезапно девочка почувствовала себя полностью опустошенной и вымотанной. У нее оставалось только одно желание — прилечь на мягкий зеленый мох и заснуть. Хотя бы ненадолго. Для того чтобы перевести дух. Рахиль согласилась. Они вполне могли позволить себе короткий отдых. Здесь они были в безопасности.

Девочки прижались друг к другу, вдыхая полной грудью свежий запах мха, который так разительно отличался от вони гнилой соломы в бараках.

Девочка заснула очень быстро. Сон ее был глубоким и спокойным. Она уже давно так не спала.



Это был наш обычный столик. Он притаился в углу, справа от входа, за старомодной оцинкованной стойкой бара с зеркалами тонированного стекла. Красная бархатная *banquette*,^[30] изогнутая в форме буквы «Г». Я опустилась на нее и стала наблюдать за официантками, снующими по залу в традиционных белых фартучках. Одна из них принесла мне коктейль из белого вина и ликера из черной смородины. Сегодня в ресторане было много посетителей. Бертран привел меня сюда на первом свидании, много лет назад. И с тех пор здесь почти ничего не изменилось. Тот же самый низкий потолок, стены цвета слоновой кости, бледные светильники в форме шаров, накрахмаленные скатерти. Та же самая здоровая и обильная пища из Гаскони и Кореза, которую очень любил Бертран. Когда я только познакомилась с ним, он жил неподалеку отсюда, на рю Маляр, в старомодной мансардной квартирке под самой крышей, в которой летом стояла невыносимая жара. Будучи коренной американкой, выросшей среди кондиционеров, я не могла понять, как он умудряется жить здесь. В то время я сама еще жила на рю Кадет вместе с мальчишками, и моя темная, прохладная маленькая комнатка представлялась мне раем земным, когда в Париже наступало жаркое и душное лето. Бертран вместе с сестрами вырос в этом районе Парижа, аристократическом и модном седьмом *arrondissement*, где уже много лет на длинной и кривой Университетской улице жили его родители, совсем рядом с рю дю Бак, на которой процветал их антикварный магазин.

Наш обычный столик. Именно за ним мы сидели, когда Бертран предложил мне руку и сердце, попросив стать его женой. За этим самым столиком я сказала ему, что беременна Зоей. И здесь же я сказала ему, что узнала об Амели.

Амели...

Только не сегодня. Не сейчас. С Амели покончено. В самом деле? Нет, правда покончено? Я должна была признаться себе, что не уверена в этом. Но пока что я больше ничего не хотела знать. Не хотела ничего видеть. У меня будет ребенок. Амели не может этому

помешать. Я улыбнулась, но улыбка была горькой. Закрывает глаза. Типично французское отношение: «закрывает глаза» на похождения своего супруга. Вот только получится ли это у меня? Не знаю.

Когда я впервые узнала о его неверности, а это случилось целых десять лет назад, то закатила грандиозный скандал. А ведь и тогда мы сидели за этим столиком, с изумлением вспомнила я. И я решила высказать ему все в лицо здесь и сейчас. Он не стал ничего отрицать. Он остался спокойным и отстраненным и вежливо выслушал меня, положив подбородок на сцепленные руки. Кредитная карточка о многом может рассказать. Гостиница «Жемчужина», рю ди Канетт. Гостиница «Ленокс», рю Делабр. Гостиница «У Кристины», рю Кристин. Один гостиничный счет за другим.

Такое ощущение, что Бертран и не стремился скрыть свою связь на стороне. Он не проявил особой осторожности ни с гостиничными счетами, ни с чужими духами, запах которых пропитал его одежду, волосы, ремень пассажирского сиденья в его «Ауди-Универсале», что, собственно, и стало для меня первым тревожным сигналом, насколько я помню. *L'Heure Bleu*.^[31] Тяжелый, сильный, навязчивый и насыщенный аромат духов от Дома Герлена. Было нетрудно установить, кто она такая. В сущности, я даже была с ней знакома. Он представил нас друг другу сразу же после нашей свадьбы.

Разведенная особа. Трое детей-подростков. Чуть-чуть за сорок, блестящие каштановые волосы. Воплощение парижского совершенства и изящества. Невысокая, стройная, прекрасно одетая. Модная сумочка и туфельки в тон, всегда выдержанные в классических пропорциях. Прекрасная работа. Просторная квартира, выходящая окнами на Трокадеро. Звучная, известная во Франции фамилия, напоминающая название знаменитой марки вина. Обручальное кольцо-печатка на левой руке.

Амели. Старая подружка Бертрана, с которой он познакомился много лет назад, еще когда учился в *lycee*.^[32] Виктора Дюруа. Та самая, встречаться с которой он, оказывается, не переставал никогда. Та самая, с которой он не переставал трахаться, невзирая на браки, детей и прошедшие годы. «Теперь мы остались только друзьями, — пообещал он. — Только друзьями. Хорошими друзьями».

После ужина, в машине, я превратилась в львицу, обнажила клыки и выпустила когти. Кажется, он был польщен. Он дал мне твердое

обещание, даже поклялся, что у него всегда была на первом месте я одна, и только я. Она не имела для него никакого значения, она была всего лишь *passade*.^[33] И я поверила ему, и верила достаточно долго.

Но с недавних пор моя уверенность пошатнулась. Неясные, смутные подозрения. Ничего конкретного, одни подозрения. Интересно, я ему до сих пор верю или уже нет?

— Ты просто сумасшедшая, если поверила ему, — в один голос сказали Эрве и Кристоф.

— Может быть, тебе следует спросить его прямо, без обиняков? — посоветовала Изабелла.

— Ты рехнулась, если до сих пор веришь ему, — заявила Чарла, и ее поддержали моя мать, Холли, Сюзанна и Джейн.

Но сегодня вечером никакого упоминания об Амели, твердо решила я. Только Бертран, я и чудесные новости. Я пригубила свой напиток. Официантки улыбались мне. Я чувствовала себя превосходно. Я чувствовала себя сильной. К черту Амели. Бертран, в конце концов, был *моим* мужем. Я носила под сердцем *его* ребенка.

Ресторан был полон. Я обвела взглядом столики. Рядом со мной сидела пожилая пара, они склонились над своими тарелками, ничего не видя и никого не слыша, отрываясь только для того, чтобы запить еду вином. Группка молодых женщин, лет этак тридцати, не умеющих сдерживаться и беспрестанно глупо хихикающих, когда обедающая в одиночестве дама сурового облика бросала на них сердитые взгляды. Бизнесмены в серых костюмах, раскуривающие сигары. Американские туристы, пытающиеся расшифровать выбор блюд в меню. Почтенное семейство с детьми-подростками. В зале стоял неумолчный гул голосов, и табачный дым висел густой пеленой. Но меня это не беспокоило. Я привыкла.

Бертран опоздает, по своему обыкновению. Это тоже не имело значения. У меня было достаточно времени, чтобы переодеться и сделать прическу. Я надела шоколадно-коричневые слаксы, которые, как я прекрасно знала, очень ему нравились, и простой облегающий топик в стиле фовистов.^[34] Серьги с жемчугами от Агаты и наручные часики марки «Гермес». Я украдкой взглянула на себя в зеркало, висевшее с левой стороны. Кажется, глаза мои стали больше, ярче и светились необычной синевой. Кожа отливала здоровым блеском. Выгляжу чертовски хорошо для беременной дамочки средних лет,

решила я. И то, как улыбались мне официантки, укрепило меня в мысли, что и они думают точно так же.

Из сумочки я достала список неотложных дел. Завтра с утра я первым делом должна позвонить своему гинекологу и договориться о приеме. Вероятнее всего, мне придется сдавать анализы. Амниоцентез, [35] вне всякого сомнения. Я больше не была «молодой матерью». И рождение Зои, казалось, было уже так давно.

Внезапно меня охватила паника. Смогу ли я вновь выдержать все это, одиннадцать лет спустя? Беременность, роды, бессонные ночи, бутылочки, крики, пеленки? Разумеется, я выдержу, упрекнула я себя. Я мечтала об этом все последние десять лет. Разумеется, я готова. И Бертран тоже.

Но пока я вот так сидела и ждала его, мое беспокойство усиливалось. Я попыталась не обращать на него внимания. Достав блокнот, я стала перечитывать свои последние записи о событиях на «Вель д'Ив». Вскоре я с головой погрузилась в работу. Я больше не слышала гула голосов вокруг, людского смеха, бесшумно скользящих между столиками официанток, скрипа отодвигаемых стульев.

Я подняла голову и увидела мужа, который сидел напротив и смотрел на меня.

— Эй, ты давно пришел? — смущенно спросила я.

Он улыбнулся и накрыл мою руку своей.

— Довольно давно. Ты чудесно выглядишь.

Он был одет в темно-синий вельветовый костюм и снежно-белую крахмальную сорочку.

— И ты тоже, — ответила я.

Я уже готова была поделиться с ним радостной новостью. Но нет, еще слишком рано. Слишком быстро. С трудом, но мне удалось сдержаться. Официантка принесла Бертрану коктейль «Королевский» из вина и черносмородинового ликера.

— Итак? — поинтересовался он. — Почему мы здесь, *amour*? Отмечаем какое-то событие? Сюрприз?

— Да, — откликнулась я, поднимая бокал. — Очень большой и очень приятный сюрприз. Давай выпьем! За приятный сюрприз.

Мы чокнулись бокалами.

— Я могу попробовать угадать, в чем дело? — спросил он.

Я ощутила себя озорной и проказливой, как девчонка.

— Ты ни за что не догадаешься! Ни за что.

Он рассмеялся, удивленный и заинтригованный.

— Ты похожа на Зою. А она знает, что за приятный сюрприз ты мне уготовила?

Я отрицательно покачала головой, чувствуя, как меня охватывает радостное возбуждение.

— Не-а. Никто не знает. Никто... кроме меня.

Я перегнулась через столик и взяла его за руку. Гладкая, загорелая кожа.

— Бертран... — начала я.

Над нами склонилась официантка. Мы решили сделать заказ. С ним было покончено через минуту, *confit de canard*^[36] для меня и *cassoulet*^[37] для Бертрана. В качестве легкой закуски мы выбрали спаржу.

Я посмотрела в спину официантки, удаляющейся в сторону кухни, а потом выпалила заранее заготовленные слова. Очень быстро.

— У меня будет ребенок.

Я внимательно всматривалась в его лицо. Я ждала, что вот сейчас он откроет от удивления рот, а в глазах вспыхнет восторг. Но на лице у него не дрогнул ни один мускул, оно осталось неподвижным, как маска. Он лишь смотрел на меня.

— Ты ждешь ребенка? — повторил он.

Я сжала его руку.

— Это замечательно, правда? Бертран, это ведь замечательно, скажи!

Он по-прежнему молчал. Я ничего не могла понять.

— И давно ты беременна? — соизволил поинтересоваться он наконец.

— Я только что узнала об этом, — пробормотала я, неприятно пораженная его равнодушием.

Он потер глаза, как делал всегда, когда чувствовал усталость или был расстроен. Он ничего не сказал, и я тоже хранила молчание.

Тишина повисла над нами, как густой туман. Я буквально ощущала ее кончиками пальцев.

Официантка принесла первую перемену блюд. Никто из нас не притронулся к спарже.

— В чем дело? — спросила я. У меня больше не было сил молчать.

Он вздохнул, покачал головой, снова потер глаза.

— Я думала, ты обрадуешься... Придешь в восторг... — прошептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами.

Он, подперев подбородок рукой, глядел на меня.

— Джулия, я устал и сдался.

— Но ведь и я тоже! Я тоже перестала надеяться.

В глазах у него появилось мрачное и торжественное выражение. Похоже, он принял окончательное решение, и оно мне не нравилось.

— Что ты имеешь в виду? — сказала я. — Из-за того, что ты потерял надежду, ты не можешь...

— Джулия, меньше чем через три года мне исполнится пятьдесят..

— Ну и что? — воскликнула я, чувствуя, как у меня горят щеки.

— Я не хочу быть престарелым отцом, — тихо закончил он.

— Побойся Бога, — прошептала я.

Молчание.

— Мы не можем оставить этого ребенка, Джулия, — негромким и нежным голосом произнес он. — У нас теперь совсем иная жизнь. Зоя вскоре станет девушкой. Тебе уже сорок пять. Наша жизнь не та, что была раньше. И еще один ребенок в нее не вписывается.

Слезы хлынули ручьем, потекли у меня по лицу, обильно смачивая еду на тарелке.

— Ты хочешь сказать, — с трудом выдавила я, — ты хочешь сказать, что я должна сделать аборт?

Семейство за другим столиком с нескрываемым интересом уставилось на нас, прислушиваясь к нашему разговору. Но мне было плевать.


Как всегда в минуты кризиса, я перешла на родной язык. В такой момент я просто не могла говорить по-французски.

— Ты хочешь, чтобы я сделала аборт, и это после трех выкидышей? — срывающимся голосом спросила я.

Его лицо было печальным. Оно выражало грусть и нежность. Мне захотелось ударить по нему кулаком, ударить изо всей силы.

Но я не могла этого сделать. Я могла лишь разрыдаться в салфетку. Он гладил меня по голове, бормотал слова утешения, повторял, что любит меня.

Я не желала его слушать.



Они проснулись, когда на землю уже опустилась ночь. Лес больше не казался мирным и приветливым другом, с которым они не расставались сегодня почти весь день. Он высился вокруг них, огромный, темный, полный непонятных запахов и звуков. Они медленно двинулись через заросли папоротника, держась за руки, замирая при каждом постороннем звуке. Им казалось, что с каждым шагом ночь становится все чернее и чернее, страшнее и страшнее. Но они продолжали идти вперед. Девочка думала, что вот-вот просто упадет на землю от изнеможения. Но теплая рука Рахили поддерживала и ободряла ее.

Наконец они вышли на широкую тропинку, петлявшую по луговой равнине. Вдалеке мрачной стеной стоял лес. Девочки подняли головы к хмурому, безлунному небу.

— Смотри, — сказала Рахиль, указывая вперед. — Автомобиль.

Они увидели снопы яркого света от фар, прорезавшие ночь. Фары были затемнены черной краской, так что оставалась только узенькая полоска, через которую и бил свет. Девочки услышали рокот приближающегося мотора.

— Что делать? — спросила Рахиль. — Будем останавливать машину или нет?

Но тут девочка увидела еще одну пару затемненных фар, а за ними еще одну. К ним приближалась целая колонна машин.

— Пригнись, — прошептала она, дергая Рахиль за юбку. — Быстрее!

Кустов, в которых можно спрятаться, поблизости не было. Поэтому девочка просто легла на живот, уткнув лицо в землю.

— Зачем? Что ты делаешь? — воскликнула Рахиль.

Но потом поняла и она.

Это были немцы. Немецкие солдаты,двигающиеся куда-то походным порядком.

Рахиль рухнула на землю рядом с девочкой.

Рев мощных моторов стал громче, машины приближались. В тусклом свете фар девочка заметила блестящие каски солдат, сидевших в кузовах. Они обязательно увидят нас, подумала девочка.

Мы не сможем спрятаться. Нам негде укрыться, и они обязательно увидят нас.

Мимо промчался первый вездеход, за ним последовали остальные. Лица девочек запорошила густая белая пыль. Они старались не закашляться и лежали, не шелохнувшись. Девочка уткнулась лицом в землю и зажала уши ладошками. Колонна машин казалась бесконечной. Заметят ли солдаты темные контуры их тел на обочине проселочной дороги? Девочка сжалась в ожидании криков, визга тормозов останавливающихся машин, стука распахивающихся дверей, быстрых шагов и грубых рук, хватающих их за плечи.

Но вот проехала последняя машина, и рев ее мотора стих в ночи. Вернулась тишина. Девочки подняли головы. Дорога была пуста, если не считать клубов белой пыли, поднятой колесами тяжелых автомобилей. Они выждали несколько минут, а потом двинулись по тропинке в противоположном направлении. Вдалеке между деревьями показался мерцающий огонек. Он звал и манил к себе. Девочки подобрались ближе, по-прежнему держась обочины дороги. Они осторожно открыли калитку и подошли к дому. Он похож на ферму, подумала девочка. В открытое окно они увидели женщину, которая читала, сидя у камина, а рядом расположился мужчина с трубкой. В ноздри им ударил дразнящий аромат еды.

Не колеблясь и не раздумывая, Рахиль постучала в дверь. Изнутри кто-то отдернул хлопчатобумажную занавеску. У женщины, которая смотрела на них сквозь стекло, было вытянутое, костлявое лицо. Она долго разглядывала девочек, потом задернула занавеску. Дверь она не открыла.

Рахиль постучала снова.

— Пожалуйста, мадам! Не дадите ли вы нам напиться и немного поесть?

Занавеска не шелохнулась. Девочки подошли к открытому окну и остановились перед ним. Мужчина с трубкой поднялся из кресла.

— Уходите, — низким угрожающим голосом заговорил он. — Убирайтесь отсюда.

Позади него маячила женщина с костлявым лицом. Она молчала.

— Пожалуйста, немного воды... — взмолилась девочка.

Створка окна со звоном захлопнулась.

Девочке хотелось плакать. Как могут эти фермеры быть такими жестокими? В комнате на столе лежал хлеб, она видела его. И кувшин с водой там тоже стоял. Рахиль потащила ее в сторону. Они вернулись на извилистую проселочную дорогу. Вдали виднелись другие фермерские дома. Но все повторялось — их прогоняли, и им приходилось уходить ни с чем.

Было уже поздно. Девочки устали, проголодались и едва переставляли ноги. Наконец они подошли к большому старому дому, стоявшему чуть в стороне от дороги. Двор освещал фонарь на высоком столбе, и свет его упал на их лица. Фасад дома был увит плющом. Они не осмелились стучать. Перед домом девочки заметили большую пустую собачью конуру. Они влезли в нее. Внутри было чисто и тепло, и уютно пахло собакой. На полу стояла миска с водой и валялась старая обглоданная кость. Они с наслаждением принялись утолять жажду. Девочка боялась, что собака вернется и искушает их. Она шепотом поведала Рахили о своих опасениях. Но та уже спала, свернувшись клубочком, сама похожая на маленького щенка. Девочка взглянула на ее утомленное и измученное лицо, на впалые щеки, на темные круги под глазами. Рахиль выглядела, как маленькая старуха.

Девочка прижалась к Рахили и заснула, но сон ее был чутким. Ей приснился странный и жутковатый кошмар. Ей снился маленький братик и что он умер в шкафу. Ей снилось, что ее родителей избил полиция. Во сне она стонала.

Разбудил девочку яростный лай. Она растолкала Рахиль. Они услышали мужской голос, потом звук приближающихся шагов. Хруст гравия под ногами. Было уже слишком поздно пытаться удрать. В отчаянии девочки обнялись, ища успокоения и спасения друг у друга. Ну все, нам конец, успела подумать девочка. Сейчас нас убьют.

Хозяин придержал собаку. Девочка почувствовала, как чья-то рука просунулась внутрь будки и схватила сначала ее, а потом Рахиль за щиколотки. Они выскользнули наружу.

Мужчина оказался невысокого роста, щуплый, с морщинистым лицом, лысой головой и серебристыми усами.

— Ну-ка, ну-ка, и что же мы имеем? — проворчал он себе под нос, прищурившись и разглядывая их в свете фонаря.

Девочка ощутила, как стоявшая рядом Рахиль напряглась, и поняла, что та готовится задать стрекача, быстро и внезапно, как

кролик.

— Вы заблудились? — поинтересовался старик. В голосе его проскользнули обеспокоенные нотки.

Девочки были обескуражены. Они ожидали угроз, побоев, словом, чего угодно, только не доброты.

— Пожалуйста, месье, мы очень хотим есть, — пролепетала Рахиль.

Мужчина кивнул.

— Вижу, не слепой.

Он наклонился, чтобы успокоить повизгивавшего пса. Потом он сказал:

— Ну, детвора, идем. Следуйте за мной.

Ни одна из девочек не двинулась с места. Могут ли они доверять этому человеку?

— Здесь никто не причинит вам вреда, — сказал старик.

Они лишь плотнее прижались друг к другу, все еще перепуганные насмерть.

— Женестьева! — крикнул мужчина, обернувшись к дому.

В широком дверном проеме появилась пожилая женщина в синем домашнем халате.

— А на кого сейчас лает твоя негодная собака, Жюль? — сердито поинтересовалась она. Потом она увидела девочек. От изумления она прижала руки к щекам. — Господи Боже! — пробормотала она.

Женщина подошла ближе. У нее было простоватое круглое лицо и толстая седая коса. Она смотрела на детей с жалостью и беспокойством.

У девочки комок подступил к горлу. Эта пожилая дама была очень похожа на ее бабушку из Польши. Те же самые светлые глаза, седые волосы, внушающая доверие полнота.

— Жюль, — прошептала Женестьева, — они...

Старик кивнул.


— Да, я уверен в этом.

Пожилая леди решительно заявила:

— Они должны войти в дом. Их следует немедленно спрятать.

Она с трудом доковыляла до проселочной дороги, немного постояла там, глядя по сторонам и прислушиваясь.

— Быстрее, дети, пойдёмте, — сказала она, протягивая к ним руки. — Здесь вам будет хорошо. У нас вы будете в безопасности.



Ночь прошла ужасно. Я проснулась с отеками на лице и припухшими от недосыпания глазами. И была очень рада, что Зоя уже ушла в школу. Мне бы очень не хотелось, чтобы она увидела меня в таком виде. Бертран был сама нежность и забота. Он сказал, что нам лучше обговорить все еще раз. Мы сможем поговорить сегодня же вечером, после того как Зоя ляжет спать. Он предложил это совершенно спокойно, мягко, но уверенно. Я видела, что он уже все для себя решил. Никто и ничто не могло заставить его передумать и захотеть этого ребенка.

Я не нашла в себе сил обсудить этот вопрос с друзьями или сестрой. Сделанный Бертраном выбор оказался для меня такой неожиданностью, что я предпочла сохранить все в тайне, по крайней мере на некоторое время.

Этим утром у меня все валилось из рук. За что бы я ни бралась, все казалось мне нудным и тягостным. Каждое движение стоило невероятных усилий. Перед глазами у меня все время вставали сцены прошлого вечера. Я снова и снова вспоминала его слова, с каким выражением он их произносил и какой смысл в них вкладывал. У меня не было другого выхода, кроме как попытаться с головой уйти в работу. Сегодня после обеда я должна была встретиться с Франком Леви в его офисе. Внезапно история с «Вель д'Ив» показалась мне чужой и далекой. Мне казалось, что я состарилась за одну ночь. Для меня больше ничего не имело значения, ровным счетом ничего, за исключением ребенка, которого я носила под сердцем и которого не хотел мой муж.

Я направлялась в офис, когда зазвонил мой сотовый. Это оказался Гийом. В квартире своей бабушки он нашел-таки парочку печатных экземпляров тех книг, которые были мне нужны в связи с историей на «Вель д'Ив». И он звонил, чтобы сообщить, что может мне их одолжить. Не могу ли я где-нибудь встретиться с ним попозже сегодня днем или вечером за бокалом вина? Голос его звучал жизнерадостно и дружелюбно. Я немедленно согласилась. Мы договорились встретиться в шесть часов в кафе «Селект», на бульваре Монпарнас, в

двух минутах ходьбы от моего дома. Мы распрощались, и тут же телефон зазвонил снова.

На этот раз это был мой свекор. Я удивилась. Эдуард редко звонил мне. Мы с ним мирно сосуществовали, но не более того, как это принято у французов. Обменивались ничего не значащими фразами, поддерживая светский разговор. Впрочем, следует признать, я чувствовала себя вполне комфортно в его обществе. У меня всегда было такое чувство, будто он что-то скрывает от меня, не желая продемонстрировать свои истинные чувства ко мне или к кому-либо другому, если на то пошло.

Эдуард был из тех людей, к чьему мнению всегда прислушиваются. Из тех людей, на которых всегда оглядываются, и не только в поисках поддержки или одобрения. Я не могла представить себе, чтобы он выражал какие-либо эмоции, за исключением гнева, гордости и удовлетворения. Я никогда не видела Эдуарда в джинсах, даже во время уик-эндов в Бургундии, когда он сидел у себя в саду, под дубом, читая Руссо. По-моему, я никогда не видела его и без галстука. Я помню, как познакомилась с ним. Кажется, за прошедшие семнадцать лет он ничуть не изменился. Та же самая величественная осанка, серебристые волосы, глаза цвета стали. Мой свекор очень любил готовить, и постоянно прогонял Колетту с кухни, удивляя всех простыми, но великолепными блюдами: *pot au feu*,^[38] луковым супом или аппетитным *ratatouille*,^[39] или омлетом с трюфелями. Единственным существом, кому разрешалось присутствовать на кухне в то время, пока он там священнодействовал, была Зоя. Он питал к ней слабость, хотя и у Сесиль, и у Лауры тоже были свои дети, причем мальчики, Арно и Луи. Он обожал мою дочь. Я даже не догадывалась о том, что происходило между ними во время этих кухонных экзерсисов. Из-за закрытой двери до меня доносился смех Зои, стук ножа по разделочной доске (это он резал овощи), бульканье воды, шипение масла на сковороде и редкий раскатистый смех Эдуарда.

Эдуард поинтересовался, как дела у Зои, как продвигается ремонт в квартире. Наконец он перешел к делу. Вчера он навещал *Mamé*, свою мать. Это был плохой день, добавил он. *Mamé* пребывала в дурном настроении. Он уже совсем было собрался уходить, оставив ее уткнувшейся в телевизор, как вдруг совершенно неожиданно она высказалась в мой адрес.

— И что же именно она сказала? — любопытно спросила я.

Эдуард прочистил горло.

— Моя мать сказала, что вы задавали ей вопросы о квартире на рю де Сантонь.

Я сделала глубокий вдох.

— В общем, это правда, — пришлось признать мне. Интересно, к чему он клонит?

Молчание.

— Джулия, я бы предпочел, чтобы вы больше не задавали *Mamé* вопросов по поводу рю де Сантонь.

Он внезапно заговорил по-английски, как если бы хотел, чтобы я поняла его абсолютно точно.

Растерявшись, я ответила ему на французском:

— Прошу простить меня, Эдуард. Все дело в том, что в настоящее время я провожу расследование облавы на «Вель д'Ив» для своего журнала. И меня удивило подобное совпадение.

В трубке снова воцарилось молчание.

— Совпадение? — эхом откликнулся он, вновь перейдя на французский.

— В общем, да, — сказала я. — Я имею в виду, что до вас в той квартире жила еврейская семья, которую арестовали во время облавы. Я думаю, что *Mamé* очень расстроилась, когда рассказывала мне об этом. Поэтому я прекратила задавать вопросы.

— Благодарю вас, Джулия, — ответил он и снова замолчал. — Ваши вопросы действительно расстроили мою мать. Прошу вас более не упоминать об этой истории в ее присутствии.

Я остановилась посреди тротуара.

— Конечно, я больше не буду задавать ей вопросы, — откликнулась я, — но ведь я не имела в виду ничего плохого. Я всего лишь хотела знать, как получилось, что ваша семья переехала в эту квартиру, и знала ли *Mamé* что-нибудь о той еврейской семье. А вам, Эдуард, известно что-либо?

— Прошу прощения, я не совсем понимаю, о чем вы говорите, — гладко, пожалуй, чересчур гладко и быстро ответил он. — А теперь мне пора идти. До свидания, Джулия.

И он положил трубку.

Он настолько озадачил меня, что на какой-то краткий миг я даже забыла о Бертроне и о нашем разговоре прошлым вечером. Неужели *Mamé* действительно пожаловалась ему на то, что я донимала ее расспросами? Я вспомнила, как она решительно отказалась отвечать на мои вопросы. Как замкнулась в себе и не промолвила ни слова до тех пор, пока я, озадаченная и растерянная, не ушла от нее. Интересно, почему *Mamé* так расстроилась? Почему и она, и Эдуард так напирали на то, что мне не следует расспрашивать их по поводу получения квартиры? Что, по их мнению, я ни в коем случае не должна была узнать?

И тут мысли мои вернулись к Бертрону и ребенку, и на сердце у меня снова стало тяжело. Внезапно я поняла, что не смогу сейчас сидеть в офисе, где Алессандра будет бросать на меня любопытные взгляды. Она непременно начнет допытываться, что случилось, и станет задавать вопросы. Она, конечно, попытается напустить на себя дружелюбно-сочувственный вид, но у нее ничего не выйдет. Бамбер, как истинный джентльмен, не обмолвится ни словом, но улучит момент, чтобы сдержанно пожать мне руку или потрепать по плечу. А ведь есть еще Джошуа. С ним будет труднее всего. «Ну, сахарная моя, что это за драматическое представление? Снова этот твой французский супруг, да?» Я буквально видела его сардоническую ухмылку, когда он предложит мне чашечку кофе. В общем, в офис сегодня утром мне идти никак нельзя.

Я развернулась и направилась к *Arc de Triomphe*,^[40] нетерпеливо, но ловко пробираясь между бесчисленными туристами, которые бродили здесь, во все глаза рассматривая арку и фотографируясь на ее фоне. Вынув записную книжку, я нашла в ней номер телефона ассоциации Франка Леви и позвонила. Я хотела узнать, нельзя ли перенести мою с ним встречу, назначенную на послеполуденное время, и не могу ли я прийти к нему прямо сейчас. Мне ответили, что Франк Леви не возражает встретиться немедленно. Тем более что идти мне было недалеко, на авеню Хош. Мне понадобилось всего десять минут, чтобы добраться туда. Стоило свернуть с переполненной артерии Елисейских Полей, как оказалось, что остальные улицы, разбегающиеся веером от *Place de l'Etoile*, на удивление пустыньны.

Насколько я могла судить, Франку Леви уже минуло шестьдесят. Его лицо несло на себе отпечаток внутренней силы, благородства и

усталости. Мы прошли в его кабинет, комнату с высоким потолком, заставленную книгами, папками, досье, компьютерами и фотографиями. Я позволила себе повнимательнее присмотреться к черно-белым фотоснимкам, развешанным по стенам. Новорожденные. Малыши, едва научившиеся ходить. Дети с желтой звездой на груди.

— Здесь на фотографиях много детей, прошедших через «Вель д'Ив», — обронил он, проследив за моим взглядом. — Но есть и другие. Все они вошли в те одиннадцать тысяч детей, которые были депортированы из Франции.

Мы опустились в кресла у его письменного стола. Договариваясь о встрече, я прислала ему несколько интересующих меня вопросов по электронной почте.

— Вы хотите узнать что-либо о лагерях на Луаре? — спросил он.

— Да, — ответила я. — О Бюн-ла-Роланд и о Питивье. О Дранси, который находился неподалеку от Парижа, я нашла довольно-таки много информации, а вот о двух других мне неизвестно почти ничего.

Франк Леви вздохнул.

— Вы правы. О лагерях на Луаре, по сравнению с Дранси, известно очень немного. А когда вы попадете туда, то увидите, что там осталось очень мало свидетельств того, что произошло. Да и люди, которые живут там, не хотят помнить об этом. И разговаривать тоже не хотят. И самое главное, слишком мало узников выжило.

Я снова обвела взглядом фотографии, всмотрелась в ряды маленьких, беззащитных лиц.

— Чем были эти лагеря изначально? — спросила я.

— Поначалу это были обычные лагеря для военнопленных, построенные в тысяча девятьсот тридцать девятом году для немецких солдат. Но когда к власти пришло правительство Виши, с сорок первого года туда начали отправлять евреев. А в сорок втором году первые прямые поезда отправились из Бюна и Питивьера в Аушвиц.

— А почему еврейские семьи после «Вель д'Ив» отправили не в Дранси, который находился в пригороде Парижа?

Франк Леви слабо улыбнулся.

— После облавы в Дранси отправили евреев, у которых не было детей. Дранси располагался совсем рядом с Парижем. А до остальных лагерей нужно было ехать больше часа. Они были затеряны в мирной сельской местности Луары. И как раз там, в благословенном

уединении, вдали от любопытных глаз, французская полиция разлучила детей с родителями. В Париже сделать это было бы не так-то легко. Полагаю, вы читали о жестокости полицейских?

— Читать особенно нечего.

Слабая улыбка исчезла с его лица.

— Вы правы. Читать особенно нечего. Но мы знаем, как все происходило. У меня есть несколько книг, которые я могу вам одолжить. Детей отрывали от матерей. Их избивали дубинками, ногами, обливали холодной водой.

Помимо воли мои глаза снова устремились к маленьким лицам на фотографиях. Я подумала о Зое и о том, что было бы с ней, если бы она осталась совсем одна, разлученная со мной и Бертраном. Одна, голодная и грязная. Эта мысль заставила меня содрогнуться.

— Эти четыре тысячи детей из «Вель д'Ив» превратились в серьезную головную боль для французских властей, — продолжал Франк Леви. — Нацисты потребовали, чтобы взрослых депортировали немедленно. Не детей, а взрослых. Четкий и жесткий график движения поездов нарушать нельзя было ни в коем случае. Отсюда и жестокое разлучение детей с матерями в начале августа.

— А что случилось с этими детьми потом? — спросила я.

— Их родителей депортировали из лагерей на Луаре прямо в Аушвиц. А детей бросили практически одних в ужасающих антисанитарных условиях. В середине августа из Берлина пришел очередной приказ. Детей тоже следовало депортировать. Однако чтобы не вызвать ненужных подозрений, сначала их нужно было перевезти в Дранси, а уже оттуда в Польшу. В Дранси их необходимо было смешать с незнакомыми им взрослыми, чтобы общественное мнение не сомневалось в том, что дети путешествуют не в одиночку, а вполне благополучно едут вместе со своими семьями на восток, в какую-то еврейскую резервацию.

Франк Леви сделал паузу, глядя, как и я, на фотографии, висящие на стенах.


— Когда дети прибыли в Аушвиц, для них не было сделано никакого исключения, никакого отбора. Их не распределяли между мужчинами и женщинами. Никто не осматривал их, здоровы они или больны, кто может работать, а кто нет. Их отправили прямо в газовые камеры.

— С помощью французского правительства, на французских автобусах, на французских поездах, — добавила я.

Может быть, из-за того, что я была беременна, из-за того, что мои гормоны взбунтовались, или из-за того, что почти не спала нынешней ночью, но я вдруг почувствовала себя опустошенной.

Потрясенная до глубины души, я не могла оторвать взгляда от фотографий.

Франк Леви молча наблюдал за мной. Потом встал с кресла и положил руку мне на плечо.



Девочка с жадностью набросилась на еду, которую поставили перед ней на стол. Она запихивала в рот угощение с чавканьем и сопением, которые привели бы ее мать в ужас. Она блаженствовала. Кажется, еще никогда в жизни девочка не ела такого восхитительного, вкусного супа. Не пробовала такого мягкого, свежего хлеба. Такого сочного, сладковатого сыра бри. Бархатистых, ароматных персиков. Рахиль же ела неторопливо и разборчиво. Девочка взглянула на нее и заметила, что та была очень бледной. Руки у нее дрожали, а глаза горели лихорадочным огнем.

Пожилая чета суежилась на кухне, подливая им в тарелки *potage*, [41] наполняя стаканы свежей водой. Девочка слышала, как они негромко и мягко спрашивали их о чем-то, но не могла заставить себя ответить. И только много позже, когда Женевьева повела ее и Рахиль наверх, чтобы они смогли выкупаться, девочка наконец заговорила. Она рассказывала пожилой женщине о большом стадионе, куда их отвезли с самого начала. Рассказывала о том, как их заперли там на много дней и почти не давали ни еды, ни питья. Рассказывала о поездке на поезде, о лагере, о том, что их грубо и жестоко разлучили с родителями. И наконец рассказала о побеге.

Пожилая женщина слушала ее и кивала, не забывая одновременно ловко раздевать беспомощную Рахиль. Девочка посмотрела на ее костлявое тело, покрытое красными воспаленными волдырями. Пожилая дама встревоженно покачала головой.

— Что же они с тобой сделали? — пробормотала она.

Рахиль уже почти не реагировала на происходящее. Пожилая леди помогла ей залезть в ванну, а потом принялась мыть, как мать девочки купала ее маленького братика.

После ванны Рахиль завернули в большое полотенце и перенесли на кровать в соседней комнате.

— Теперь твоя очередь, — заявила Женевьева девочке, вновь наполняя ванну чистой водой. — Как тебя зовут, малышка? Ты ведь так и не сказала мне.

— Сирка, — ответила девочка.

— Какое замечательное имя! — воскликнула Женестьева, вручая ей чистую мочалку и мыло. Она заметила, что девочка стесняется раздеваться перед ней, поэтому отвернулась. Девочка быстро сбросила с себя грязную одежду и скользнула в ванну. Она мылась очень тщательно, наслаждаясь горячей водой, а потом проворно вылезла и завернулась в огромное, мягкое, восхитительно пахнущее лавандой полотенце.

Женестьева была занята, она стирала грязное белье и одежду девочки в большом эмалированном тазу. Несколько мгновений девочка молча наблюдала за ней, а потом робко коснулась пухлой, округлой руки пожилой женщины.

— Мадам, вы можете помочь мне вернуться в Париж?

Пожилая леди, испуганная и удивленная, обернулась к ней.

— Ты хочешь вернуться в Париж, малышка?

Неожиданно девочка задрожала всем телом. Пожилая женщина с беспокойством уставилась на нее. Она оставила стирку в тазу и вытерла руки полотенцем.

— В чем дело, Сирка?

У девочки затряслись губы.

— Мой маленький братик, Мишель... Он остался в квартире. В Париже. Он заперт в шкафу, в нашем потайном убежище. Он сидит там с того самого дня, когда за нами пришли полицейские. Я думала, что там он будет в безопасности. Я пообещала вернуться и спасти его.

Женестьева с тревогой смотрела на нее, а потом попыталась успокоить, обняв девочку за хрупкие плечи.

— Сирка, сколько времени твой младший брат сидит в шкафу?

— Не знаю, — с тоской прошептала девочка. — Не могу припомнить. Я не помню!

Внезапно последняя надежда, которую она изо всех сил поддерживала в себе, исчезла. В глазах пожилой женщины она прочла то, чего опасалась больше всего на свете. Мишель умер. Умер в шкафу. Она знала. Было уже слишком поздно. Он ждал слишком долго. Он не выжил. Ему не повезло. Он умер там, совсем один, в темноте, без еды и питья. У него оставался один только плюшевый мишка и книжка с картинками. Он поверил ей, он ждал ее, наверное, он даже звал ее, выкрикивал ее имя снова и снова: «Сирка, Сирка, где же ты?»

Где же ты?» Он умер, ее Мишель мертв. Ему было четыре годика, а теперь он мертв, он умер из-за нее. Если бы она не заперла его в тот день в шкафу, сейчас он был бы здесь, с ней, и в эту самую минуту она могла бы купать его в ванне. Она должна была присматривать за ним, она должна была привести его сюда, с собой, где они были бы в безопасности. Она виновата в случившемся. Во всем виновата она одна.

Девочка обессиленно опустилась на пол и свернулась клубочком. Отчаяние поглотило ее. Еще никогда за свою короткую жизнь ей не было так больно. Она почувствовала, как Женевьева прижала ее к себе и принялась гладить по стриженной голове, бормоча слова утешения. И она позволила себе раскрыться навстречу этим мягким старческим рукам, которые так бережно обнимали ее. А потом она ощутила, как ее обволакивает прохлада мягкого матраса и чистых простыней. И девочка провалилась в беспокойный, тяжелый сон.

Она проснулась ранним утром, растерянная, смущенная, чувствуя себя одинокой и забытой. Она даже не могла вспомнить, где находится. После долгих ночей, проведенных в бараках, так странно было вновь оказаться в настоящей постели. Она подошла к окну. Тяжелые занавески были слегка раздвинуты, и в щелочку между ними девочка увидела большой, уютный садик. По траве бродили куры, за которыми, играя, гонялась собака. На витой садовой скамеечке из кованого железа сидела пушистая рыжая кошка и умывалась. Девочка услышала пение птиц и петушиное кукареканье. Где-то совсем рядом мычала корова. Солнечное, погожее утро. Девочка подумала, что еще никогда не видела более умиротворенного и красивого места. Война, ненависть, прочие ужасы казались далекими-далекими. Вокруг были сад и цветы, деревья и животные, и ничто, даже то зло, которое ей довелось ощутить и увидеть за последние несколько недель, не могли запятнать и испортить их.

Она принялась рассматривать одежду, в которую была одета. Белая ночная рубашка, немного длинноватая для нее. Девочка мельком подумала о том, кому она могла принадлежать. Может быть, у пожилой четы были дети или даже внуки. Она обвела взглядом просторную комнату. Обстановка оказалась простой, но удобной. Рядом с дверью высился книжный шкаф. Она подошла ближе, чтобы взглянуть на него. Здесь стояли и ее любимые авторы, Жюль Верн,

баронесса де Сегур. На титульной странице детской рукой было написано «Николя Дюфэр». Интересно, кто это такой, подумала она.

Девочка стала спускаться по скрипучим деревянным ступенькам, ориентируясь на звук негромких голосов, который долетал до нее со стороны кухни. В доме царили тишина и покой, свойственные небогатой, но спокойной старости. Ее босые ноги скользили по квадратным плиткам цвета красного вина. Она мимоходом заглянула в залитую солнечным светом гостиную, в которой пахло пчелиным воском и лавандой. Из угла доносилось тиканье громоздких напольных часов.

Она на цыпочках подкралась к кухне и осторожно заглянула в дверь. За длинным столом сидели пожилые супруги и пили что-то из голубых чашек. Оба выглядели встревоженными.

— Я беспокоюсь о Рахили, — говорила Женевьева. — У нее лихорадка, температура подскочила и все никак не падает. И еще сыпь. Это плохо. Очень плохо. — Она глубоко вздохнула. — Эти дети в ужасном состоянии, Жюль. У одной из них я нашла вшей на ресницах.

Девочка робко и нерешительно вошла в комнату.

— Я просто подумала... — начала она.

Пожилые супруги взглянули на нее и заулыбались.

— Вот это да, — просиял старик. — Сегодня утром, мисс, вы просто другой человек. И ваши щечки капельку порозовели.

— У меня в кармане лежало кое-что... — сказала девочка.

Женевьева поднялась из-за стола. Она указала на полку.

— Ключ и немного денег. Они вон там.

Девочка подошла к полке, взяла свои вещи и прижала их к груди.

— Это ключ от шкафа, — негромким голосом произнесла она. — От шкафа, в котором сидит Мишель. От нашего тайного убежища.

Жюль и Женевьева обменялись взглядами.

— Я знаю, вы думаете, что он мертв, — запинаясь, продолжала девочка. — Но я все равно возвращаюсь туда. Я должна знать наверняка. Может быть, ему кто-нибудь помог, как вы помогли мне! Может быть, он ждет меня. Я должна знать, я обязана выяснить все до конца! Я могу воспользоваться деньгами, которые дал мне полицейский.

— Но как ты собираешься попасть в Париж, petite?^[42] — спросил Жюль.

— Я сяду на поезд. Ведь Париж недалеко отсюда?

Супруги снова обменялись взглядами.

— Сирка, мы живем к югу от Орлеана. Вы с Рахилью проделали очень долгий путь. Но вы шли в другую сторону, от Парижа.

Девочка выпрямилась, собираясь с силами. Она должна вернуться в Париж, вернуться к Мишелю, и она вернется. Она должна своими глазами увидеть, что с ним случилось, какие бы страхи ее ни терзали.

— Я должна уйти, — решительно заявила она. — Из Орлеана в Париж наверняка ходят поезда. Так что я ухожу сегодня же.

Женевьева подошла к ней и взяла ее руки в свои.

— Сирка, здесь ты в безопасности. Ты можешь пожить у нас какое-то время. Мы держим ферму, поэтому у нас есть молоко, мясо и яйца, и нам не нужны продуктовые карточки. Ты можешь отдохнуть здесь, отъестся и вообще поправиться.

— Спасибо вам, — ответила девочка, — но мне уже стало лучше. Мне необходимо вернуться в Париж. Вам необязательно ехать со мной. Я сама справлюсь. Просто расскажите мне, как добраться до вокзала.

Прежде чем пожилая леди успела ответить, сверху донесся протяжный стон. Рахиль. Они поспешили в ее комнату. Рахиль металась на кровати, корчась от боли. Ее простыни промокли и пропитались чем-то темным и зловонным.

— Это то, чего я боялась больше всего, — прошептала Женевьева. — Дизентерия. Ей нужен доктор. Как можно быстрее.

Жюль заковылял вниз по ступенькам.

— Я схожу в деревню, посмотрю, дома ли доктор Тивенен, — бросил он через плечо.

Он вернулся примерно через час, с трудом крутя педали своего велосипеда. Девочка наблюдала за ним из окна кухни.

— Старик куда-то ушел, — сказал он жене. — Его дом пуст. Никто не мог сказать ничего определенного. Поэтому я проехал немного дальше, в сторону Орлеана. Я нашел какого-то молодого врача, попросил его поехать со мной, и он согласился. Но проявил заносчивость и высокомерие и заявил, что у него есть более важные дела.

Женевьева закусила губу.

— Я надеюсь, что он придет. Скорее бы.

Доктор появился только после обеда. Девочка больше не осмеливалась говорить о возвращении в Париж. Она понимала, что Рахиль очень больна. Жюль и Женестьева слишком волновались из-за Рахили, чтобы уделять внимание еще и ей.

Когда они услышали, что прибыл врач, о чем возвестил лай собаки, Женестьева повернулась к девочке и попросила ее побыстрее спрятаться в подвале. Она объяснила, что этого врача они не знают, потому что раньше всегда обращались к другому. Поэтому лучше принять меры предосторожности.


Девочка подняла крышку в полу, скрывающую ход в подвал, и скользнула вниз. Она сидела в темноте, прислушиваясь к каждому слову, долетавшему до нее сверху. Она не могла видеть лица врача, но его голос ей не понравился — он был резким, скрипучим и гнусавым. Он все время спрашивал, откуда взялась Рахиль и где они ее нашли. Он проявил настойчивость и упрямство. Но Жюль отвечал ему спокойно и рассудительно. Он сказал, что Рахиль была дочерью соседа, который на пару дней уехал в Париж.

Но по тону врача девочка заключила, что он не поверил ни единому слову Жюля. Он рассмеялся очень неприятным смехом. А потом принялся рассуждать о законе и порядке. О *marechal Petain* и новом видении Франции. О том, что подумают в *Kommandatur*^[43] об этой темноволосой, худенькой маленькой девочке.

Наконец она услышала, как с грохотом захлопнулась входная дверь.

Потом до нее донесся голос Жюля. Похоже, он был не на шутку испуган и потрясен.

— Женестьева, — сказал он, — что же мы наделали!



— Я хотела бы спросить вас кое о чем, месье Леви. Это не имеет никакого отношения к моей статье.

Он взглянул на меня, а потом вернулся к своему креслу и опустился в него.

— Разумеется. Спрашивайте.

Я подалась вперед, наклонившись над столом.

— Если я дам вам точный адрес, не могли бы вы помочь мне узнать, что случилось с одной семьей? Их арестовали шестнадцатого июля сорок второго года.

— Семья, прошедшая ужасы «Вель д'Ив», — заметил он.

— Да, — ответила я. — Для меня это очень важно.

Он взглянул в мое усталое лицо. На мои припухшие глаза. Появилось ощущение, что он читает мои мысли, видит меня насквозь. Видит боль и печаль, которые я ношу в себе, видит то, что я узнала о своей квартире. Видит все, что со мной произошло нынче утром, видит мои чувства и переживания. Я сидела перед ним и ждала, что он скажет.

— В течение последних сорока лет, мисс Джермонд, я пытался разыскать следы всех евреев, высланных из этой страны в период с сорок первого по сорок четвертый годы. Это долгий и болезненный процесс. Но необходимый. Да, я могу рассказать вам об этой семье. Все данные находятся в компьютере, прямо здесь, у меня в офисе. Но не могли бы вы сказать, зачем вам это нужно? Почему вы хотите узнать именно об этой семье? Что это — природное и вполне объяснимое любопытство журналиста или что-то еще?

Я почувствовала, что у меня начали гореть щеки.

— Это личное, — ответила я. — И мне нелегко объяснить свой интерес.

— Попробуйте, — предложил он.

Я заколебалась, но потом все-таки рассказала ему о квартире на рю де Сантонь. О том, что говорила *Mamé*. О том, что сказал мне свекор. И наконец, разговорившись, я поведала ему о том, что просто не могу забыть об этой еврейской семье. Что все время думаю о том,

кем они были и что с ними стало впоследствии. Он молча слушал, время от времени кивая головой. Наконец сказал:

— Иногда, мисс Джермонд, вспоминать прошлое не так-то легко. Оно может таить в себе неприятные сюрпризы. Правда тяжелее неведения.

Я кивнула, соглашаясь с ним.

— Я понимаю, — сказала я. — Но я все равно должна знать.

Он, не мигая, долго смотрел на меня.

— Я назову вам имена тех, кто жил в этой квартире. Но только для вас. Не для вашего журнала. Вы можете пообещать мне это?

— Да, — пробормотала я, пораженная его торжественным и мрачным тоном.

Франк Леви повернулся к компьютеру.

— Пожалуйста, назовите адрес.

Я дала ему адрес.

Пальцы его забегали по клавиатуре. Компьютер негромко загудел. Я почувствовала, что сердце замерло у меня в груди. Потом тихонько засвистел принтер и выплюнул лист бумаги. Франк Леви, не говоря ни слова, протянул его мне. Я прочитала:

*Дом 26, рю де Сантонь, Париж 75003
СТАРЖИНСКИ*

*Владислав, родился в 1910 году в Варшаве.
Арестован 16 июля 1942 года. Мастерская на рю де
Бретань. «Вель д'Ив». Бюн-ла-Роланд. Конвой номер
15, 5 августа 1942 года.*

*Ривка, родилась в 1912 году в Окунево.
Арестована 16 июля 1942 года. Мастерская на рю
де Бретань. «Вель д'Ив». Бюн-ла-Роланд. Конвой
номер 15, 5 августа 1942 года.*

*Сара, родилась в Париже, в 12 arrondissement,
в 1932 году. Арестована 16 июля 1942 года.
Мастерская на рю де Бретань. «Вель д'Ив». Бюн-
ла-Роланд.*

Принтер с завыванием выплюнул еще одну страницу.

— Фотография, — сказал Франк Леви. Он взглянул на нее, прежде чем отдать мне.

Это был снимок десятилетней девочки. Я прочитала подпись. Июнь тысяча девятьсот сорок второго года. Фотография была сделана в школе на рю ди Бланк-Манто. Школа находилась совсем рядом с рю де Сантонь.

У девочки были раскосые светлые глаза. Наверное, в действительности они были голубыми или зелеными, решила я. Светлые волосы до плеч, схваченные обручем. Милая, застенчивая улыбка. Лицо в форме сердечка. Она сидела за школьной партой, и перед нею лежала раскрытая книга. На груди виднелась звезда.

Сара Старжински. На год младше Зои.

Я снова взяла в руки листок с именами. Мне не нужно было спрашивать Франка Леви, куда направлялся конвой номер 15 из Бюн-ла-Роланд. Я уже знала, что конечным пунктом назначения был Аушвиц.

— Почему здесь упоминается мастерская на рю де Бретань? — спросила я.

— Именно туда согнали большую часть евреев, проживающих в третьем *arrondissement*, прежде чем перевезти их на рю Нелатон, к велодрому.

Я обратила внимание на то, что у Сары не был указан номер конвоя. Я поинтересовалась у Франка Леви, что это значит.

— Это означает, что ни в одном из поездов, выехавших из Франции в Польшу, ее не было. Насколько нам известно.

— Она могла сбежать? — задала я очередной вопрос.

— Трудно сказать. Нескольким детям действительно удалось сбежать из Бюн-ла-Роланда, и их спасли французские фермеры, жившие поблизости. Других детей, которые были намного младше Сары, депортировали, при этом их личность зачастую не была идентифицирована. В таком случае их именовали очень просто, например: «Один мальчик, Питивьер». Увы, мисс Джермонд, я не могу сказать вам, что случилось с Сарой Старжински. Все, что мне известно, это то, что она так и не попала в Дранси вместе с остальными детьми из Бюн-ла-Роланд и Питивьера. В архивах Дранси ее имя не упоминается.

Я снова взглянула на нежное, невинное лицо.

— Что же могло с ней случиться? — пробормотала я.

— Ее след теряется в Бюн. Ее могла спасти какая-нибудь семья, проживающая по соседству, и прятать всю войну под другим именем.

— Такое часто бывало?

— Да, довольно часто. Выжили многие еврейские дети, и выжили только благодаря помощи и щедрости французских семей или религиозных учреждений.

Я подняла на него глаза.

— Как вы считаете, могла Сара Старжински спастись? Могла она уцелеть и выжить?

Он посмотрел на фотографию милой, улыбающейся девочки.

— Я надеюсь, что так оно и случилось. Но теперь вы узнали то, что хотели. Вы узнали, кто жил в вашей квартире.

— Да, — сказала я. — Да, благодарю вас. Но меня все равно интересует, каким образом семья моего мужа могла поселиться в квартире Старжински после их ареста. Я не могу этого понять.

— Не судите их слишком строго, — заметил Франк Леви. — Ведь в действительности многие парижане отнеслись к происшедшему весьма равнодушно. Не забывайте, что Париж был оккупирован. Люди боялись за свою жизнь. То были совсем другие времена.

Выйдя из офиса Франка Леви, я вдруг ощутила себя настолько слабой и уязвимой, что едва не расплакалась. День выдался на редкость тягостный и утомительный. Я очутилась в замкнутом пространстве своего мирка, и со всех сторон меня поджидали сплошные неприятности. Бертран. Ребенок. Невозможное решение, которое я должна буду принять. Разговор, который должен состояться у меня с мужем нынче вечером.

И наконец тайна, связанная с квартирой на рю Сантонь. В нее вселилось семейство Тезаков, причем очень быстро после ареста Старжински. А теперь *Maté* и Эдуард не желают разговаривать на эту тему. Почему? Что произошло? Что там стряслось такое, о чем, по их мнению, я не должна знать?

Шагая в сторону рю Марбеф, я чувствовала себя так, словно меня грозит вот-вот захлестнуть вал неожиданных событий, справиться с которыми я буду не в состоянии.

Тем же вечером, попозже, я встретила с Гийомом в ресторанчике «Селект». Мы устроились возле бара, подальше от

шумной *terrasse*.^[44] Он принес с собой пару книжек. Я пришла в полный восторг. Это были те самые книги, отыскать которые мне не удалось. Особенно одна из них, в которой речь шла о лагерях на Луаре. Я тепло поблагодарила его.

Я не собиралась рассказывать ему о том, что случилось со мной днем, но это получилось непроизвольно, как-то само собой. Гийом внимательно слушал каждое мое слово. Когда я умолкла, он заявил, что бабушка рассказывала ему о том, как сразу после облавы квартиры, ранее принадлежавшие евреям, захватывались или подвергались варварскому разграблению. Другие квартиры были опечатаны полицией, но спустя несколько месяцев или лет, когда становилось ясно, что никто из прежних жильцов уже не вернется, печати были сломаны, а квартиры — присвоены. По словам бабушки Гийома, полиция частенько работала в тесном контакте с *concierges*, которые быстро и без лишних формальностей находили новых жильцов на освободившуюся площадь. Именно так, очевидно, и произошло в случае с моими родственниками со стороны мужа.

— Почему это так важно для вас, Джулия? — спросил наконец Гийом.

— Я хочу знать, что случилось с той маленькой девочкой.


Он внимательно посмотрел на меня темными, выразительными глазами.

— Понимаю. Но будьте осторожны, расспрашивая семью вашего супруга.

— Я знаю, что они что-то от меня скрывают. И я хочу знать, что именно.

— Будьте осторожны, Джулия, — повторил он. Он улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. — Вы играете с ящиком Пандоры. Иногда его лучше не открывать. Равно как и не знать, что там внутри.

То же самое сегодня утром мне говорил и Франк Леви.



В течение следующих десяти минут Жюль и Женестьева металась по дому, похожие на загнанных, обезумевших животных, потеряв дар речи и лишь заламывая руки. Такое впечатление, что у них началась агония. Они попытались заставить Рахиль встать с кровати, чтобы перенести ее вниз, но она была слишком слаба. В конце концов они решили оставить ее в постели. Жюль приложил все силы, чтобы успокоить Женестьеву, без особого, впрочем, успеха; она по-прежнему норовила упасть на ближайшую софу или кресло, закрывала лицо руками и начинала плакать.

Девочка ходила за ними по пятам, как обеспокоенный щенок. Они не отвечали на ее вопросы. Она заметила, как Жюль часто поглядывает на входную дверь, а иногда подходит к окну, чтобы бросить взгляд на ворота. Девочка почувствовала, как в сердце у нее зарождается страх.

Когда на деревню опустилась ночь, Жюль и Женестьева сели напротив друг друга у камина. Кажется, они немного пришли в себя. Во всяком случае оба выглядели спокойными и собранными. Но девочка заметила, что у Женестьевы дрожат руки. Супруги были очень бледны и без конца поглядывали на часы.

В конце концов Жюль обратился к девочке. Он заговорил негромким и уверенным голосом. Он попросил ее спуститься в подвал. Там лежали большие мешки с картошкой. Она должна забраться в один из них и постараться как можно лучше спрятаться. Она понимает? Это очень важно. Если кто-нибудь спустится в подвал, ее ни в коем случае не должны заметить.

Девочка замерла. Она воскликнула:

— Сюда идут немцы!

Жюль с Женестьевой не успели вымолвить и слова, как залаяла собака, и все вздрогнули от неожиданности. Жюль сделал знак девочке, показывая на люк в полу. Она повиновалась мгновенно и беспрекословно, скользнув вниз, в темный и пахнущий плесенью подвал. Она ничего не видела, но все-таки сумела на ощупь отыскать мешки с картошкой, стоявшие у дальней стены. Перебирая грубую мешковину руками, она обнаружила, что они сложены штабелем, один поверх

другого. Она быстро раздвинула их в стороны и проскользнула между ними. Но тут один из мешков развязался, и на нее водопадом, с шумом и стуком обрушились картофелины. Девочка бросилась подбирать их, а потом стала быстро складывать вокруг себя.

Потом она услышала шаги. Громкие и уверенные. Она уже слышала такие шаги в Париже, поздно ночью, после наступления комендантского часа. Девочка знала, что они означают. Тогда она выглядывала из окна, наблюдая за солдатами, маршировавшими по брусчатке тускло освещенной улицы, и в свете фонарей видела их круглые каски и отточенные движения.

Это идут строем солдаты. Идут к этому самому дому. Шаги примерно дюжины человек. До ее ушей донесся мужской голос, приглушенный, но ясно различимый. Он говорил по-немецки.

Итак, сюда пришли немцы. Немцы пришли за ней и Рахилью. Девочка почувствовала, как у нее опорожнился мочевой пузырь.

Шаги прозвучали над самой головой. Приглушенный разговор, слов которого она разобрать не смогла. Затем раздался голос Жюля:

— Да, лейтенант, у нас есть больной ребенок.

— Больной ребенок ариец? — слышался чужой, гортанный говор.

— Это просто больной ребенок, лейтенант.

— Где этот ребенок?

— Наверху. — Теперь голос Жюля прозвучал устало и отрешенно.

И вновь тяжелая поступь, от которой содрогнулся потолок. Затем девочка услышала пронзительный, тонкий крик Рахили, долетевший сверху. Немцы заставили ее встать с постели. Рахиль стонала, она была слишком слаба, чтобы сопротивляться.

Девочка зажала уши ладошками. Она ничего не хотела слышать. Она и не могла слышать. Она вдруг почувствовала, что искусственная глухота защищает ее.

Засыпанная картошкой, она увидела, как темноту подвала прорезал тонкий лучик света. Кто-то открыл люк в полу. Кто-то спускался по ступенькам. Она отняла ладошки от ушей.

— Там никого нет, — услышала она голос Жюля. — Девочка была одна. Мы нашли ее в собачьей будке во дворе.

Девочка услышала, как Женестьева всхлинула и высморкалась. Потом раздался ее умоляющий голос, в нем явно слышались

слезы.

— *Пожалуйста, не забирайте девочку! Она очень больна.*

В гортанном ответе сквозила ирония.

— *Мадам, эта девочка еврейка. Скорее всего, она сбежала из одного из лагерей, расположенных поблизости. Ей совсем не к чему находиться в вашем доме.*

Девочка смотрела, как оранжевый луч фонаря ползет по каменным стенам подвала, подбираясь все ближе. А потом с ужасом она вдруг увидела черную тень солдата, карикатурно большую, словно вырезанную из комикса. Он пришел за ней. Сейчас он ее схватит. Она попыталась сжаться в комочек, стать как можно незаметнее и даже перестала дышать. Ей показалось, что сердце у нее в груди замерло.

Нет, он не найдет ее! Это было бы верхом несправедливости. Это был бы суший кошмар, если бы он нашел ее. Ведь они уже заполучили Рахиль. Разве этого недостаточно? Куда они повезут Рахиль? Или ее уже нет в доме? Где же она тогда — в грузовике, с солдатами? Может быть, она потеряла сознание? Куда они повезут ее, подумала девочка, возможно, в больницу? Или обратно в лагерь? Проклятые кровожадные изверги! Изверги! Она возненавидела их. Она хотела, чтобы все они умерли. Негодяи! Она шептала про себя все ругательства, какие только знала, все нехорошие слова, которые запретила ей произносить мать. Проклятые вонючие ублюдки! Она выкрикнула эти слова про себя так громко, как только могла, зажмурив глаза, чтобы не видеть приближающийся оранжевый луч, обшаривающий мешки с картошкой, под которыми она пряталась. Он не найдет ее. Никогда. Ублюдки, грязные ублюдки!

Снова послышался голос Жюля.

— *Там, внизу, никого нет, лейтенант. Эта девочка была одна. Она едва могла стоять. Мы не могли оставить ее в таком состоянии.*

На девочку обрушился голос лейтенанта:

— *Мы всего лишь проверим, правду ли вы говорите. Сначала мы осмотрим ваш подвал, а потом вы поедете с нами в Kommandantur.*

Девочка лежала, не шевелясь, не дыша, а луч фонаря скользил у нее над головой.

— *Ехать с вами? — Похоже, Жюль потрясен и испуган. — Почему?*

Короткий смешок.

— В вашем доме обнаружена еврейка, а вы еще спрашиваете, почему!

Тут раздался голос Женеьевы, на удивление спокойный. Похоже, она сумела взять себя в руки и перестала плакать.

— Вы видели, что мы не прятали ее, лейтенант. Мы помогли ей, как могли. Вот и все. Мы даже не знаем, как ее зовут. Она не могла говорить.

— Да, — подхватил Жюль, — мы даже вызвали врача. Мы вовсе не собирались ее прятать.

Возникла пауза. Девочка слышала, как лейтенант откашлялся.

— Действительно, это соответствует тому, что рассказал нам Жиллемен. Вы не прятали девчонку. Он подтверждает это, наш добрый герр доктор.

Девочка почувствовала, как у нее над головой чья-то рука перебирает картофелины. Она замерла, превратившись в статую и не дыша. В носу у нее защекотало, и ей страшно захотелось чихнуть.

Она вновь услышала голос Женеьевы, спокойный, твердый, уверенный. Таким тоном Женеьева при ней еще не разговаривала.

— Не хотите ли вина?

Картофелины у нее над головой перестали шевелиться.

Наверху лейтенант довольно заржал:

— Вина? С удовольствием!

— И наверное, чуточку rate?^[45] — продолжала Женеьева тем же любезным тоном.

По лестнице, ведущей из подвала наверх, протопали чьи-то шаги. И крышка люка захлопнулась. От облегчения девочка едва не лишилась чувств. Она обхватила себя руками, по щекам у нее текли слезы. Сколько еще они пробудут здесь, сколько еще ей придется вслушиваться в звон стаканов, шум шагов, раскатистый смех? Казалось, этому не будет конца. Смех лейтенанта все больше и больше походил на гогот. Она даже уловила звуки грубой отпрыжки. Жюля и Женеьевы вообще не было слышно. Они до сих пор там, наверху? Что там происходит? Девочке отчаянно хотелось это знать. Но она понимала, что должна оставаться на месте до тех пор, пока за нею не придут Жюль или Женеьева. У нее уже занемели руки и ноги, но она по-прежнему не осмеливалась пошевелиться.

Наконец в доме все стихло. Собака залаяла один раз, но больше не подавала голоса. Девочка слушала и ждала. Неужели немецкие солдаты увели с собой Жюля и Женевьеву? Неужели она осталась в доме совсем одна? Но тут она расслышала приглушенные рыдания. Со скрипом распахнулся люк в полу, и до нее долетел голос Жюля:

— Сирка! Сирка!

Когда она поднялась наверх, у нее ныло тело, болели ноги, глаза покраснели от пыли, а щеки были мокрыми и грязными. Женевьева сидела за столом, уткнув лицо в сложенные руки, и плечи ее содрогались от рыданий. Жюль пытался успокоить ее. Девочка стояла и беспомощно смотрела на них. Пожилая женщина подняла голову. Ее лицо постарело и осунулось, и выражение, написанное на нем, испугало девочку.

— Эту девочку, — прошептала она, — увезли на смерть. Не знаю, где и как, но она умрет. Они не пожелали нас слушать. Мы пытались подпоить их, но они сохранили ясные головы. Они оставили нас в покое, но забрали Рахиль.

По морщинистым щекам Женевьевы ручьем текли слезы. Она в отчаянии покачала головой, схватила Жюля за руку и прижала ее к груди.

— Мой Бог, куда катится наша страна!

Женевьева жестом подозвала девочку к себе и накрыла ее маленькую ручку своей дряблой и мягкой старческой ладонью. Они спасли меня, думала девочка. Они спасли меня. Они спасли мне жизнь. Может быть, кто-нибудь, похожий на них, спас Мишеля, спас маму и папу. Может быть, не все еще потеряно.

— Маленькая Сирка! — вздохнула Женевьева, сжимая пальцы девочки. — Ты так храбро вела себя внизу.


Девочка улыбнулась. Это была светлая, мужественная улыбка, и она тронула души пожилой супружеской четы.

— Пожалуйста, — попросила она, — больше не надо называть меня Сиркой. Это мое детское имя.

— И как же мы тогда должны называть тебя? — спросил Жюль.

Девочка расправила плечи и гордо задрала подбородок.

— Меня зовут Сара Старжински.



Возвращаясь из квартиры, куда я решила наведаться, чтобы посмотреть, как идет ремонт и поговорить с Антуаном, я остановилась на углу рю де Бретань. Мастерская по-прежнему находилась здесь. И *plaque*^[46] тоже, напоминая прохожим, что сюда согнали евреев, живущих в третьем *arrondissement*, шестнадцатого июля сорок второго года. Отсюда их перевезли на «Вель д'Ив», а потом отправили в лагерь смерти. Здесь началась одиссея Сары, подумала я. Вот только где она закончилась?

Стоя на углу и не обращая внимания на уличное движение, я как наяву видела Сару, идущую по рю Сантонь тем жарким июльским утром с матерью и отцом, в сопровождении полицейских. Да, я буквально видела все происходящее, видела, как их загоняют в мастерскую, прямо здесь, рядом с тем местом, на котором я стояла сейчас. Я видела милое продолговатое личико, ощущала ее страх и непонимание. Прямые волосы, собранные на затылке в конский хвост, слегка раскосые глаза цвета бирюзы. Сара Старжински. Может быть, она еще жива? Сейчас ей, наверное, уже за семьдесят, подумала я. Нет, скорее всего, ее уже нет в живых. Она исчезла с лица земли вместе с остальными детьми «Вель д'Ив». Она так и не вернулась домой из Аушвица. Она превратилась в горсть праха.

Я развернулась и пошла к машине. В лучшем стиле американских водителей я не умела управляться с ручной коробкой передач. Поэтому я остановила свой выбор на небольшой японской модели с автоматической трансмиссией, которая вызывала у Бертрана презрительную улыбку. Я практически никогда не ездила на ней по Парижу. Добраться куда-либо на автобусе или метро, которые работали безукоризненно, было намного легче. Я считала, что в городе мне машина не нужна. Бертран насмешливо относился и к этому моему чудачеству.

Сегодня после обеда мы с Бамбером собирались наведаться в Бюн-ла-Роланд. Некогда деревушка, а теперь городок, располагалась в часе езды от Парижа. Сегодня утром вместе с Гийомом я была в Дранси. Бывший концентрационный лагерь находился совсем рядом с

Парижем, зажатым между серыми и унылыми пригородами Бобиньи и Пантен. Во время войны из Дранси, являющего собой центральный узел французских железных дорог, в Польшу отправилось более шестидесяти поездов. Только когда мы прошли мимо большой современной скульптуры, установленной в память о жертвах, я осознала, что в лагере и сейчас кипит жизнь. Мы встретили женщин с детскими колясками и собаками, повсюду играли и перекликались дети, ветер шевелил занавески на окнах, а на подоконниках в горшках росли цветы. Я была потрясена до глубины души. Как можно жить в этих стенах? Я поинтересовалась у Гийома, знал ли он об этом. Тот утвердительно кивнул головой в ответ. По выражению его лица я заключила, что он очень волнуется. Вся его семья была депортирована отсюда. Ему нелегко было вновь прийти на это место. Но он захотел составить мне компанию и таки настоял на своем.

Смотрителем мемориального музея Дранси оказался усталый мужчина средних лет по фамилии Менецкий. Он ждал нас перед входом в музей, который открывался, только если кто-нибудь звонил смотрителю и договаривался о встрече. Мы медленно прошли по небольшой, просто обставленной комнате, разглядывая фотографии, заметки, карты. На витрине под стеклом лежало несколько желтых звезд. Я впервые увидела, как они выглядят в натуре. От их вида мне стало не по себе, и у меня закружилась голова.

За прошедшие шестьдесят лет лагерь почти не изменился. В большом П-образном бетонном сооружении, построенном в конце тридцатых годов при реализации инновационного жилищного проекта и реквизируемом вишистским правительством в сорок первом году для депортируемых евреев, сейчас размещались около четырех сотен семей. Они ютились в крохотных квартирках, которые были выстроены еще в сорок седьмом году. В Дранси была самая низкая квартплата по сравнению с соседними районами.

Я поинтересовалась у мистера Менецкого, знают ли обитатели *Cite de la Muette* — по какому-то странному совпадению этот район именовался «Город немых» — о том, где именно им выпало жить. В ответ он отрицательно покачал головой. Большинство из тех, кто живет здесь, очень молоды. По его словам, они ничего не знали о прошлом своего обиталища, и оно их ни в малейшей степени не заботило. Тогда я спросила у него, много ли посетителей бывает на

мемориале. Смотритель ответил, что школы присылают сюда целые классы да изредка забредают туристы. Мы полистали книгу отзывов посетителей. *«Памяти моей матери Полетт. Я люблю тебя и никогда не забуду. Я буду приходить сюда каждый год и думать о тебе. Отсюда тебя увезли в Аушвиц в 1944 году, и ты не вернулась ко мне. Твоя дочь Даниэлла»*. Я почувствовала, как на глаза у меня навернулись слезы.

Затем смотритель повел нас к единственному сохранившемуся вагону для перевозки скота, который стоял посреди лужайки перед самым входом в музей. Он был заперт, но у смотрителя нашелся ключ. Гийом помог мне забраться внутрь, и мы очутились в тесном, замкнутом и голом пространстве. Я попыталась представить этот же вагон, только битком набитый людьми, утрамбованными, как селедки в бочке: взрослые, маленькие дети, дедушки и бабушки, родители средних лет, отправляющиеся в свой последний путь, к смерти. Лицо Гийома покрылось смертельной бледностью. Потом он признался мне, что и представить не мог, каково это — побывать в таком вагоне. Он боялся лезть в него. Я спросила, как он себя чувствует. Он ответил, что нормально, но я-то видела, что ему не по себе.

Мы уходили из музея, под мышкой я держала стопку буклетов и книг, которые вручил мне смотритель, но мыслями все время возвращалась к тому, что мне было известно о Дранси. Об этом символе бесчеловечного обращения с людьми в те страшные года массового террора. О бесчисленных поездах, которые увозили евреев в Польшу.

Я не могла не вспоминать душераздирающие строки, которые описывали, как в конце лета тысяча девятьсот сорок второго года сюда прибыли четыре тысячи детей, прошедших через ужасы «Вель д'Ив», больных, голодных, грязных, оторванных от родителей. Неужели и Сара в конце концов оказалась в их числе? Неужели и ее, одинокую и насмерть перепуганную, отправили из Дранси в Аушвиц в вагоне для перевозки скота, забитом незнакомыми людьми?

Перед нашей конторой меня поджидал Бамбер. Только сложившись пополам, ему удалось втиснуться на переднее сиденье моей машины, правда, после того как он зашвырнул назад свое фотографическое оборудование. Потом он посмотрел на меня. Не надо

было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что он обеспокоен и нервничает. Бамбер осторожно накрыл мою ладонь своей.

— М-м, Джулия, с тобой все в порядке?

Солнцезащитные очки мне не помогли, поняла я. Бессонная ночь, очевидно, была написана у меня на лице. Мы проговорили с Бертраном почти до рассвета. Чем больше он говорил, тем больше убеждался в своей правоте. Нет, он не хотел этого ребенка, да и в данный момент ребенок даже не был для него ребенком, если на то пошло. Ребенок не был для него человеческим существом. Это было всего лишь семя, сгусток протоплазмы. То есть ничто. Он не хотел его. Он не желал иметь с ним дело. Для него это было слишком. К моему крайнему изумлению, при этих словах голос у него сорвался. Он выглядел изнуренным, опустошенным и постаревшим. Куда подевался мой беззаботный, веселый, язвительный и непочтительный супруг? Я смотрела на него и не верила своим глазам. А если я все-таки решу оставить этого ребенка против его воли, хриплым голосом заявил он, это будет конец. Конец чему? Я с ужасом смотрела на него. Конец нам, заявил он ужасным, прерывистым голосом, которого я от него никогда не слышала. Конец нашему браку. Мы долго молчали, глядя друг на друга с противоположных сторон кухонного стола. Я спросила у него, почему рождение ребенка приводит его в такой ужас. Он отвернулся, вздохнул, потер глаза. Я старею, заявил он. Скоро мне будет пятьдесят. Одно это уже само по себе было несчастьем. Подступающая старость. На работе ему все труднее становилось отбиваться от молодых, подрастающих шакалов. Соперничать с ними изо дня в день. И еще с тем, что его былая привлекательность ушла. Он с трудом смог примириться с лицом, которое видит сейчас в зеркале. Мы с Бертраном никогда прежде не разговаривали на эту тему, и еще никогда наш разговор не был таким тягостным. Я и представить себе не могла, что он будет настолько переживать из-за приближающейся старости. «Я не хочу праздновать свое семидесятилетие, когда этому ребенку исполнится двадцать, — снова и снова повторял он. — Я не могу. И не хочу. Джулия, прошу тебя, пойми. Если ты оставишь этого ребенка, это меня убьет. Ты слышишь меня? Это меня убьет».

Я глубоко вздохнула. Что я могла сказать Бамберу? С чего начать? Что он может понять, ведь он так молод, и он — совсем другой? Тем не менее я была ему благодарна за проявленную заботу и сочувствие.

Я расправила плечи и постаралась придать лицу спокойное и уверенное выражение.

— Ну, в общем, чего скрывать, Бамбер, — сказала я, не глядя на него и стиснув руль с такой силой, что побелели костяшки пальцев. — У меня была чертовски трудная ночь.

— Твой муж? — неуверенно проговорил он.

— Да, мой муж, — согласилась я.

Он задумчиво кивнул. Потом развернулся ко мне.

— Если захочешь поговорить об этом, Джулия, я к твоим услугам, — заявил он тем же самым храбрым и убедительным тоном, каким Черчилль когда-то сказал: «Мы *никогда* не сдадимся».

Я не могла не улыбнуться.

— Спасибо, Бамбер. Ты славный парень.

Он ухмыльнулся.

— Ладно, как тебе Дранси?

Я испустила неподдельный стон.

— О Господи, это просто ужас! Самое кошмарное место, какое только можно вообразить. В этом здании живут люди, представляешь? Я приехала туда с другом, семью которого депортировали отсюда во время войны. Ты не получишь ни малейшего удовольствия, фотографируя Дранси, можешь не сомневаться. Это в десять раз хуже, чем рю Нелатон.

Выехав из Парижа, я свернула на автостраду 46. Слава богу, что в это время дня движение по ней было не очень сильным. Мы ехали в молчании. Я понимала, что рано или поздно придется поговорить с кем-нибудь о том, что со мной происходит. И о ребенке тоже. Я больше не смогу носить все это в себе. Чарла. Нет, ей звонить слишком рано. В Нью-Йорке сейчас только шесть часов утра, хотя ее рабочий день успешного и занятого адвоката должен был скоро начаться. У нее были двое маленьких детей, уменьшенные копии бывшего мужа, Бена. Впрочем, теперь она обзавелась новым супругом, Барри, очаровательным мужчиной, который, вдобавок, занимался компьютерами, но с ним я еще не имела счастья познакомиться.

Мне страшно хотелось услышать голос Чарлы, мягкий и теплый голос, которым она произносит в телефонную трубку «Привет!», когда знает, что звоню я. Чарла всегда недолюбливала Бертрана. Они, скажем так, мирились с существованием друг друга. Такие отношения

сложились у них с самого начала. Я знала, что он о ней думает: *красивая, умная, самоуверенная американская феминистка*. Равно как и то, что думала о нем она: *шовинист, любитель внешних эффектов, тщеславный лягушатник*. Мне очень не хватало Чарлы. Ее силы духа, ее смеха, ее честности и искренности. Когда я много лет назад уезжала из Бостона в Париж, она была еще подростком. Поначалу я не очень-то скучала по ней. Она была просто моей младшей сестрой. И только теперь я поняла, как ошибалась. Мне чертовски ее не доставало.

— М-м, — раздался негромкий голос Бамбера, — по-моему, это был наш поворот.

В самом деле.

— Проклятье! — вырвалось у меня.

— Не расстраивайся, — утешил меня Бамбер, шурша картой. — Нам подходит и следующий.

— Прошу прощения, — промямлила я. — Я просто немного устала.

Он сочувственно улыбнулся. И ничего не сказал. Эта черта его характера мне тоже нравилась.

Мы приближались к Бюн-ла-Роланду, жалкому маленькому городку, затерявшемуся среди полей пшеницы. Мы припарковались в центре, неподалеку от церкви и ратуши. Прошлись по площади, Бамбер сделал несколько снимков. Я обратила внимание, что прохожие встречались очень редко. Печальное, опустевшее место.

Я читала, что лагерь находился в северо-восточной части городка и что на его месте в шестидесятых годах был построен политехнический колледж. Лагерь располагался в паре миль от железнодорожного вокзала, в противоположном конце городка, а это означало, что депортируемые семьи вынуждены были пройти прямо через его центр. Я заметила Бамберу, что где-то должны остаться люди, которые помнят это. Люди, которые видели из окон своих домов, как нескончаемым потоком через их город идут узники.

Железнодорожный вокзал приказал долго жить. Его здание перестроили и обновили, превратив в Центр дневного ухода за детьми. В этом заключалась какая-то мрачная ирония, подумала я, глядя через окна на цветные рисунки и плюшевые игрушки. Справа от здания группа маленьких детишек играла на огороженном участке.

Женщина лет тридцати с малышом на руках подошла ко мне, чтобы спросить, не нужна ли мне помощь. Я ответила ей, что я журналистка и что мне нужна информация о старом концентрационном лагере, который располагался здесь в сороковые годы. Она никогда не слышала о том, что здесь когда-то был лагерь. Я указала ей на табличку, прикрепленную над самым входом в Центр дневного ухода за детьми.


«В память о тысячах еврейских детей, мужчин и женщин, которые в период с мая 1941 года по август 1943 года прошли через этот вокзал и концентрационный лагерь в Бюн-ла-Роланд. Отсюда их отправили в Аушвиц, лагерь смерти, где все они погибли. Помните о том, что было».

Женщина пожала плечами и виновато улыбнулась. Она ничего не знала. В любом случае, она была слишком молода. Все это случилось задолго до ее рождения. Я спросила у нее, часто ли сюда, к этой мемориальной табличке, приходят люди. Она ответила, что с тех пор как начала работать в Центре год назад, сюда не приходил никто.

Бамбер снова взялся за фотоаппарат, а я решила обойти приземистое белое здание вокруг. Название городка было выведено большими черными буквами на каждой стороне бывшего железнодорожного вокзала. Я заглянула через забор.

Старые рельсы заросли травой и сорняками, но никуда не делись, дряхлое ржавое железо по-прежнему покоилось на древних, сгнивших деревянных шпалах. По этим ископаемым рельсам несколько поездов проследовали отсюда прямо в Аушвиц. Глядя на шпалы, я почувствовала, как у меня сжалось сердце.

Конвой номер пятнадцать пятого августа тысяча девятьсот сорок второго года увез родителей Сары Старжински прямо в объятия смерти.



В эту ночь Сара спала плохо. В ушах у нее не смолкал крик Рахили. Где она теперь? Все ли с ней в порядке? Ухаживает ли кто-нибудь за ней, помогает ли выздороветь? И куда увезли все еврейские семьи? И с ними ее мать и отца? И тех детей, что оставались в лагере у Бюн?

Сара лежала в кровати на спине и слушала тишину старого дома. Так много вопросов, на которые нет ответа. Почему небо голубое, из чего сделаны облака и откуда берутся дети? Почему у моря есть приливы и отливы, как растут цветы и почему люди влюбляются? У ее отца всегда находилось время, чтобы ответить ей, терпеливо, спокойно, простыми и понятными словами. Он никогда не отделялся от нее, говоря, что занят. Ему нравились ее бесконечные расспросы. Он всегда говорил, что она умная маленькая девочка.

Но в последнее время, вспомнила девочка, отец перестал отвечать на ее вопросы так, как делал это раньше. На ее вопросы о желтой звезде, о том, что им больше нельзя ходить в кино или в общественный бассейн. На ее вопросы о комендантском часе. На ее вопросы об этом человеке в Германии, который ненавидел евреев и от одного только имени которого она вздрагивала от страха. Нет, он перестал прямо отвечать на ее вопросы. Его ответы стали уклончивыми и невнятными. А когда она снова спросила у него, во второй или третий раз, как раз перед тем, когда за ними в тот черный четверг пришли полицейские, что такого есть в евреях, отчего все остальные люди их ненавидят, — ведь не могли же они бояться евреев только потому, что те «другие»? — он отвел глаза в сторону и сделал вид, что не расслышал ее вопроса. Но она-то знала, что он все прекрасно слышал.

Девочка не хотела думать об отце. Это было слишком больно. Она даже не могла вспомнить, когда в последний раз видела его. В лагере... Но когда именно? Она не помнила. С матерью все было по-другому. В последний раз она видела лицо матери, когда та обернулась, чтобы взглянуть на нее, когда уходила вместе с другими плачущими женщинами по той длинной пыльной дороге на вокзал. Этот образ запечатлелся у нее в памяти, как фотография. Бледное лицо матери, ее блестящие голубые глаза. Жалкий намек на улыбку.

Но вот последнего раза с отцом она не помнила. Не было того последнего образа, который она могла бы хранить и беречь. Поэтому она и пыталась вспомнить его, вернуть из небытия его тонкое, темное лицо, печальные и потерянные глаза. Белые зубы на темном лице. Девочка часто слышала, что она очень похожа на свою мать, как и ее младший братик Мишель. У них была типично славянская светлая кожа, внешность, высокие скулы, раскосые глаза. Ее отец всегда жаловался, что ни один из его детей не похож на него. Она мысленно попыталась спрятать подальше улыбку своего отца. Это было слишком больно. Слишком личной была эта улыбка.

Завтра она должна будет вернуться в Париж. Она должна вернуться домой. Она должна выяснить, что случилось с Мишелем. Может быть, он тоже оказался в безопасности, как и она сейчас. Может быть, какие-нибудь добрые, милые люди сумели открыть дверь его убежища и освободить его. Но кто мог это сделать? Кто мог помочь ему? Она никогда не доверяла мадам Руайер, concierge. Ее злым глазам, скользкой улыбке. Нет, конечно, только не она. Может быть, тот славный учитель музыки, тот самый, который кричал им утром черного четверга: «Куда вы их ведете, они хорошие люди, вы не можете так поступить!»? Да, вот он вполне мог спасти Мишеля, и, может быть, сейчас Мишель в безопасности в доме учителя, и тот наигрывает ему польские мелодии на своей скрипке. Мишель смеется, щечки у него покраснелись, он хлопает в ладоши и пускается в пляс. Может быть, Мишель с нетерпением ждет ее, может быть, каждое утро он спрашивает у учителя музыки: «А Сирка придет сегодня? А когда придет Сирка? Она обещала, что придет за мной, она обещала прийти!»

Когда рано утром девочку разбудил петушиный крик, она заметила, что подушка у нее влажная, намокшая от слез. Девочка быстро оделась, натянув одежду, которую разложила для нее на стуле Женестьева. Чистая, старомодная, крепкая одежда для мальчика. Она опять мимоходом задумалась о том, кому она могла принадлежать. Никола Дюфэру, который с такой тщательностью вывел свое имя на титульных листах всех книг? В карман она опустила ключ и деньги, которые дал ей полицейский.

Внизу, в большой и прохладной кухне, никого не было. Было еще очень рано. Спала даже кошка, свернувшись клубочком в кресле.

Девочка отщипнула несколько кусочков от мягкой буханки хлеба, выпила немного молока. Она постоянно трогала в кармане ключ и деньги, чтобы убедиться, что не потеряла их.

Утро было душное и мрачное. Вечером наверняка будет гроза, подумала она. Одна из тех сильных гроз, которых так боялся Мишель. Теперь самое время поразмыслить над тем, как она доберется до вокзала. Интересно, далеко ли отсюда до Нового Орлеана? Она не имела об этом ни малейшего понятия. И вообще, сумеет ли она преодолеть все трудности? Справится ли? Как найдет дорогу домой? Если я забралась так далеко, повторяла она про себя, то сейчас уже поздно отступать, и я справлюсь, я найду дорогу домой. Но она не могла уйти, не попрощавшись с Жюлем и Женеьевой. Поэтому, сидя на крыльце и бросая крошки курам и цыплятам, ждала, пока они проснутся.

Через полчаса вниз сошла Женеьева. На ее лице все еще виднелись следы вчерашнего ночного кошмара. Спустя несколько минут появился и Жюль, ласково поцеловал Сару в стриженный затылок. Девочка смотрела, как они готовят завтрак, обмениваясь скупыми жестами. Она полюбила их, вдруг поняла девочка. И полюбила очень сильно. Как же она скажет им, что собирается уйти сегодня? Они очень расстроятся, она не сомневалась в этом. Но у нее не было иного выхода. Она непременно должна вернуться в Париж.

Когда она набралась смелости сообщить им о своем решении, они уже закончили завтрак и убрали со стола.

— Нет, ты не можешь так поступить, — заохала пожилая женщина, едва не уронив на пол чашку, которую держала в руках. — Дороги патрулируют немцы и полиция, поезда обыскивают. А у тебя нет даже удостоверения личности. Тебя остановят и сразу же отправят обратно в лагерь.

— У меня есть деньги, — сказала Сара.

— Но это не помешает немцам...

Жюль, подняв руку, заставил жену умолкнуть. Он попытался убедить Сару пожить у них еще немного. Он разговаривал с нею спокойно и твердо, как когда-то отец, подумала она. Девочка внимательно слушала, рассеянно кивая головой. Но она должна заставить их понять. Как же объяснить им, что она во чтобы то ни

стало должна вернуться домой? При этом ей обязательно нужно оставаться такой же спокойной и решительной, как Жюль.

Запинаясь и злясь на себя, она скороговоркой выпалила, что все понимает, но остаться не может. Ей уже надоело разыгрывать из себя взрослую девушку. В раздражении она топнула ногой.

— Если вы попробуете удержать меня... — мрачно добавила она, — я все равно убегу.

Девочка встала и направилась к двери. Пожилые супруги не сдвинулись с места, они в страхе смотрели на нее, ошеломленные ее словами.

— Подожди! — воскликнул наконец Жюль. — Подожди минуточку.

— Нет. Я не могу ждать. Я иду на вокзал, — заявила Сара, взявшись за ручку двери.

— Ты даже не знаешь, где находится вокзал, — возразил Жюль.

— Я найду. Я сумею найти дорогу.

Девочка открыла дверь.


— До свидания, — попрощалась она с этими милыми пожилыми людьми. — До свидания, и спасибо вам за все.

Она повернулась и зашагала к воротам. Все оказалось очень просто. И легко. Но, миновав ворота и наклонившись, чтобы на прощание потрепать пса по загривку, она внезапно сообразила, что наделала. Она осталась одна. Совершенно одна. Девочка вспомнила пронзительный крик Рахили. Гулкую, ритмичную поступь. Смех лейтенанта, от которого кровь стыла в жилах. И все ее мужество куда-то улетучилось. Против своей воли она обернулась и бросила последний взгляд на дом.

Жюль и Женестьева по-прежнему смотрели на нее через оконное стекло. Потом они пошевелились, и это получилось у них одновременно. Жюль схватил кепку, а Женестьева — сумочку. Они поспешили наружу, заперли за собой входную дверь. Когда они догнали девочку, Жюль положил руку ей на плечо.

— Пожалуйста, не пытайтесь остановить меня, — покраснев, пробормотала Сара. Она была одновременно и рада, и раздосадована тем, что они последовали за ней.

— Остановить тебя? — улыбнулся Жюль. — Мы не собираемся останавливать тебя, глупая, упрямая девчонка. Мы идем с тобой.



Мы направлялись к кладбищу, а сверху нас обжигало лучами слепящее, безжалостное солнце. Внезапно — на ровном, что называется, месте — у меня закружилась голова. Пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Бамбер встревожился. Я ответила ему, что беспокоиться не о чем, это все от недосыпания. В который уже раз на лице его отразилось недоверие, но он снова ничего не сказал.

Кладбище было небольшим, но мы потратили много времени, пытаясь разыскать хоть что-нибудь. Мы уже готовы были сдаться, когда Бамбер вдруг заметил гальку на одной из могил. Еврейский обычай. Мы подошли поближе. На плоском белом камне была выбита надпись:

«Мы, евреи, бывшие узники концлагерей, поставили этот монумент через десять лет после интернирования в память тех, кто стал жертвой варварского гитлеровского режима. Май 1941 — май 1951 г.»

— «Варварский гитлеровский режим»! — сухо заметил Бамбер. — Получается так, что французы вообще непричастны к этому кошмару.

Сбоку на могильной плите были высечены имена и даты. Я наклонилась, чтобы рассмотреть их получше. Дети. Им едва исполнилось два-три годика. Дети, умершие в лагере в июле и августе сорок второго года. Дети «Вель д'Ив».

Подсознательно я понимала, что все, что я читала об облаве, было правдой. Но только сейчас, жарким весенним днем, пока я стояла у могилы, на меня вдруг обрушилось осознание кошмара происшедшего. Вся жуткая реальность давних событий.

И еще я поняла, что не успокоюсь до тех пор, пока совершенно точно не узнаю, что стало с Сарой Старжински. Пока не узнаю того, что было известно Тезакам и что они столь упорно скрывали от меня.

Возвращаясь в центр городка, мы догнали какого-то старика, едва переставлявшего ноги. На плече он волок корзину с овощами. Должно быть, ему уже стукнуло восемьдесят, у него было круглое розовое лицо и снежно-белые волосы. Я спросила у него, не знает ли он, где

находился бывший еврейский лагерь. Он с подозрением уставился на меня.

— Лагерь? — переспросил он. — Вы хотите знать, где находился лагерь?

Мы кивнули.

— Никто не спрашивает о лагере, — проворчал он, отщипнув листочек зеленого лука-порея и не глядя на нас.

— Вы знаете, где он находился? — настаивала я.

Он закашлялся.

— Конечно, знаю. Я прожил здесь всю жизнь. Когда я был маленьким, то не понимал, что это за лагерь, вообще не знал, что это такое. Никто никогда не говорил о нем. Мы вели себя так, словно его здесь не было. Мы знали, что он каким-то образом связан с евреями, но ни о чем не спрашивали. Мы были слишком напуганы. И не совали нос не в свое дело.

— Вы можете рассказать нам что-нибудь об этом лагере? — спросила я.

— В ту пору мне было лет пятнадцать, — начал он. — Я помню лето сорок второго года, тогда по этой улице с вокзала каждый день проходили толпы евреев. Прямо здесь. — Кривым пальцем он ткнул в сторону улицы, на которой мы стояли. — Авеню де ла Гяр. Евреев было много, очень много. А однажды я услышал шум. Ужасный шум. Хотя мои родители жили довольно далеко от лагеря. Но мы все равно слышали его. Рев, который потряс весь наш городок. Он продолжался целый день. Я слышал, как мои родители беседовали с соседями. Они говорили, что там, в лагере, матерей разлучили с детьми. Зачем? Для чего? Мы не знали. Я видел, как мимо на вокзал прошла группа еврейских женщин. Нет, они не шли. Они ковыляли, спотыкаясь, по дороге, плача и причитая, и полицейские подгоняли их дубинками.

Он смотрел куда-то вдаль, вспоминая, и в глазах у него появилось отсутствующее выражение. Потом он с кряхтением снова взвалил на плечо корзину.

— А потом настал день, — продолжал он, — когда лагерь опустел. Я подумал: «Евреи ушли». Я не знал, куда. И перестал ломать себе голову над этим. Как и все мы. Мы не разговаривали об этом. И сейчас не хотим вспоминать. А кое-кто здесь даже не знает о том, что случилось.

Он развернулся и медленно двинулся прочь. Я принялась быстро записывать его слова в блокнот, чувствуя, что мой желудок опять готов взбунтоваться. Но на этот раз я не была уверена, что стало тому причиной — моя беременность или выражение, которое я прочла в глазах мужчины, его равнодушие и презрение.

Мы поднялись вверх по рю Роланд от площади дю Марше и припарковались перед зданием школы. Бамбер заметил, что улица называется рю ди Депорти, или Дорога ссыльных. К счастью, название оказалось подходящим. Не думаю, что я сумела бы сохранить спокойствие, называясь она, скажем, авеню Республики.

Технический колледж являл собой мрачное здание современной постройки, над которым возвышалась старая водонапорная башня. Глядя на него, трудно было представить себе, что здесь, под толстым слоем бетона на парковочных площадках, когда-то располагался концентрационный лагерь. У входа кучками стояли студенты и курили. Очевидно, наступило время обеденного перерыва. Перед колледжем, на неухоженной лужайке, заросшей травой, возвышались странного вида скульптуры, украшенные цифрами. На одной из них мы прочли: *«Они должны действовать сообща и стоять друг за друга, в духе подлинного братства»*. И больше ничего. Мы с Бамбером переглянулись, ничего не понимая.

Я поинтересовалась у одного из студентов, имеют ли скульптуры какое-либо отношение к лагерю. Он спросил:

— К какому лагерю?

Его приятель захихикал. Я объяснила, что здесь был за лагерь. Это немного отрезвило обоих. Потом еще одна студентка вспомнила, что немного выше по улице, ведущей в деревню, установлена *plaque*.^[47] Мы не заметили ее, когда проезжали мимо. Я спросила у девушки, что там находится. Мемориал? Она ответила, что, очевидно, так оно и есть.

Монумент был сооружен из черного мрамора, и золотые буквы на нем уже выцвели. Он был воздвигнут в шестьдесят пятом году по распоряжению мэра Бюн-ла-Роланда. На вершине его золотом горела звезда Давида. И еще на нем были выбиты имена. Очень много имен. В казавшемся бесконечном списке я сразу же выделила два, которые уже стали мне болезненно знакомыми: *«Старжински Владислав. Старжински Ривка»*.

У подножия мраморного постамента я заметила небольшую квадратную урну. *«Здесь покоится прах наших соотечественников, замученных в Аушвице-Биркенау»*. Немного выше, под самым списком фамилий, я прочла: *«В память о 3500 еврейских детях, разлученных со своими родителями, интернированных в Бюн-ла-Роланд и Питивьер. Оттуда их отправили в Аушвиц, где все они погибли»*. И тут стоящий рядом Бамбер прочел вслух, со своим рафинированным британским акцентом: *«Жертвы нацизма, погребенные на кладбище Бюн-ла-Роланда»*. Ниже мы обнаружили те же имена, что видели раньше на могильной плите. Имена детей «Вель д'Ив», которые умерли в концентрационном лагере.

— Снова «жертвы нацизма», — пробормотал Бамбер. — На мой взгляд, это достаточная причина для возмездия.

Мы стояли молча, глядя на обелиск. Сегодня Бамбер отщелкал несколько снимков, но сейчас его фотоаппарат покоился в чехле. На черном мраморе не было ни единого слова о том, что французская полиция самостоятельно управлялась с лагерем, как и о том, что происходило за колючей проволокой.

Я оглянулась назад, на деревню, на темный и мрачный шпиль церкви слева.

По этой дороге с трудом шагала Сара Старжински. Она прошла мимо того места, на котором я стояла сейчас, и свернула налево, в концентрационный лагерь. Несколько дней спустя этой же дорогой на железнодорожный вокзал прошли ее родители, откуда они и отправились на смерть. В течение многих недель дети оставались одни, после чего их перевезли в Дранси, и каждого поджидала смерть на пути в Польшу.

Что же все-таки случилось с Сарой? Неужели она умерла здесь? Ее имени не было ни на плите на кладбище, ни на мемориале. Может быть, ей удалось бежать? На глаза мне попала водонапорная башня, стоявшая на краю деревни, у дороги, ведущей куда-то на север. Может быть, она еще жива?


Зазвонил сотовый, и мы вздрогнули от неожиданности. Это оказалась Чарла.

— С тобой все в порядке? — сходу поинтересовалась она, и голос ее донесся до меня неожиданно чисто и без помех. Такое впечатление, что она стояла рядом со мной, а не находилась в тысячах миль отсюда,

по ту сторону Атлантики. — Сегодня утром ты оставила сообщение, которое показалось мне грустным.

Мои мысли покинули Сару Старжински и вернулись к ребенку, которого я носила под сердцем. К тому, что вчера ночью сказал Бертран: «Это станет концом для нас».

И снова мир невыносимой тяжестью лег мне на плечи.



Железнодорожный вокзал в Орлеане бурлил и кипел, он походил на разворошенный муравейник, кишащий людьми в серой форме. Сара старалась ни на шаг не отставать от пожилой четы. Она не хотела, чтобы они увидели ее страх. Уж если она сумела добраться сюда, значит, не все еще потеряно и для нее оставалась надежда. Надежда на возвращение в Париж. Она должна быть храброй и сильной.

— Если кто-нибудь остановит тебя, — прошептал Жюль, пока они стояли в очереди за билетами в Париж, — ты наша внучка. Тебя зовут Стефани Дюфэр. А волосы тебе обстригли потому, что в школе ты нахваталась вшей.

Женевьева поправила воротник блузки Сары.

— Вот так, — улыбаясь, сказал она. — Ты выглядишь замечательно, чистой и здоровой. И еще красивой. Совсем как наша внучка!

— А у вас и вправду есть внучка? — спросила Сара. — Это ее одежда?

Женевьева рассмеялась.

— У нас только непослушные внуки, Гаспар и Николя. И еще у нас есть сын, Ален. Ему уже сорок. Он живет в Орлеане, с Генриеттой, своей женой. А одежда эта принадлежит Николя, он немного старше тебя. С ним столько хлопот, скажу я тебе!

Сара не могла не восхищаться тем, как пожилые супруги старательно делали вид, что все в порядке, что сегодняшнее утро ничем не отличается от прочих и что им предстоит самая обычная поездка в Париж. Но она заметила, как время от времени они незаметно оглядывались по сторонам, постоянно пребывая настороже и ожидая неприятностей. Ее беспокойство еще больше усилилось, когда она увидела, что солдаты проверяют всех пассажиров, садящихся в поезда. Она вытянула шею, чтобы получше рассмотреть, что они делают. Немцы? Нет, французы. Французские солдаты. А ведь у нее с собой не было удостоверения личности. У нее вообще ничего не было. Ничего, не считая ключа и денег. Осторожно и незаметно она передала толстую пачку банкнот Жюлю. Он с

удивлением взглянул на нее. Она подбородком указала на солдат, преграждающих путь к поездам.

— Что ты хочешь, чтобы я с ними сделал, Сара? — озадаченно прошептал он.

— Они ведь попросят предъявить мое удостоверение личности. А у меня его нет. Я думаю, это может помочь.

Жюль принялся внимательно разглядывать шеренгу солдат, выстроившихся вдоль перрона. Он явно занервничал. Женестьева толкнула его локтем.

— Жюль! — прошептала она. — Дело может выгореть. Мы должны попытаться. У нас просто нет другого выхода.

Пожилый мужчина взял себя в руки. Он кивнул супруге. Кажется, он справился с волнением. Купив билеты, они направились к поезду.

Перрон был набит битком. Они оказались со всех сторон зажаты пассажирами. Здесь были женщины с вопящими младенцами на руках, нетерпеливые бизнесмены в строгих костюмах. Сара поняла, что ей надо делать. Она вспомнила мальчика, который проскользнул во внутренние двери на стадионе, того самого, который сумел воспользоваться суматохой и замешательством. Именно так должна поступить сейчас и она. Сполна воспользоваться преимуществом, которое давали ей толкотня и давка, приказы, которые выкрикивали одни солдаты другим, и бурлящая толпа.

Она выпустила руку Жюля и пригнулась. Это похоже на то, как будто ныряешь под воду, подумала она. Плотная, душная масса юбок и брюк, туфлей и лодыжек. Присев на корточки, она двинулась вперед, раздвигая руками мешающие ей ноги и чемоданы, и внезапно перед нею оказался поезд.

Когда она поднималась по ступенькам в вагон, чья-то рука схватила ее за плечо. Она мгновенно постаралась придать своему лицу самое невинное выражение, изобразив на губах легкую улыбку. Улыбку нормальной маленькой девочки. Обычной маленькой девочки, которая садится в поезд, идущий до Парижа. Обычной маленькой девочки, совсем как та, в лиловом платье, которую она видела на платформе, когда их отправляли в лагерь. Кажется, это было так давно.

— Я еду с бабушкой, — сообщила она с невинной улыбкой, показывая куда-то внутрь пассажирского вагона. Кивнув головой,

солдат отпустил ее. Затаив дыхание, она проскользнула в вагон и выглянула из окна. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Но вот из толпы вынырнули Жюль и Женестьева, с изумлением глядя на нее. Она торжествующе помахала им рукой. Она очень гордилась собой. Она сама пробралась в поезд, и солдаты даже не остановили ее.

Улыбка ее растаяла, когда она увидела, что в вагон садится группа немецких офицеров. Их громкие наглые голоса звучали в коридоре, когда они пробирались сквозь толпу к своим местам. Люди отводили глаза, отворачивались, смотрели себе под ноги, стараясь стать как можно незаметнее.

Сара стояла в углу вагона, спрятавшись за Жюля и Женестьеву. Виднелось только ее лицо — она просунула голову между своими провожатыми. Как зачарованная девочка смотрела на немцев, которые подходили все ближе. Она не могла отвести от них взгляд. Жюль шепнул, чтобы она отвернулась. Но она не могла.

Среди немцев был человек, который вызывал у нее особенное отвращение. Высокий и худой, с бледным квадратным лицом. Его голубые глаза были настолько светлыми, что казались почти прозрачными под толстыми розовыми веками. Когда группа офицеров проходила мимо, этот мужчина протянул длинную, казавшуюся бесконечной руку, облаченную в серую форму мышиноного цвета, и потрепал Сару за ухо. Она вздрогнула от неожиданности и ужаса.

— Эй, мальчик, — захрюкал офицер, — не нужно меня бояться. В один прекрасный день и ты станешь солдатом, правильно?

У Жюля и Женестьевы на лицах появились неестественные, словно приклеенные улыбки. Они ничем не выразили своего испуга, но Сара ощутила, как дрожат их руки, лежащие у нее на плечах.

— У вас такой симпатичный внук, — снова ухмыльнулся немец, глядя Сару по стриженной голове широченной ладонью. — Голубые глаза, светлые волосы, совсем как настоящий немецкий ребенок, а?

Бросив на нее последний взгляд бледных, прикрытых тяжелыми веками глаз, он повернулся и поспешил вслед за товарищами. Он решил, что я мальчик, подумала Сара. И еще он не заметил, что я еврейка. Неужели черты еврейской внешности заметны всем и каждому, с первого взгляда? Она не была в этом уверена. Однажды девочка даже спросила об этом у Арнеллы. И подруга ответила, что она не похожа на еврейку только потому, что у нее светлые волосы и

зеленые глаза. Получается, глаза и волосы спасли меня сегодня, подумала девочка. Большую часть пути она провела, прижавшись к теплому боку пожилой женщины. Никто не заговаривал с ними, никто не приставал с расспросами. Глядя в окно, девочка думала о том, что с каждой минутой Париж становится ближе, а вместе с ним и ее младший братик Мишель. Она смотрела, как небо затянули тяжелые, низкие серые облака, смотрела, как по стеклу ударили первые крупные капли дождя и потекли вниз, бесформенные и размазанные встречным ветром.

Поезд остановился на вокзале Аустерлиц. На том самом вокзале, с которого она уезжала вместе с родителями в тот жаркий, пыльный день. Вслед за пожилыми супругами девочка вышла из поезда, направляясь по платформе к станции метро.

Жюль замедлил шаг и споткнулся. Они подняли головы. Впереди себя они увидели шеренгу полицейских в синей форме, которые останавливали пассажиров, требуя предъявить удостоверения личности. Женестьева ничего не сказала, лишь осторожно подтолкнула их. Она решительно и уверенно двинулась вперед, гордо задрав круглый подбородок. Жюль последовал за нею, крепко держа Сару за руку.

Стоя в очереди, Сара внимательно рассматривала лицо полицейского. Это был мужчина лет сорока, на пальце у него виднелось толстое обручальное кольцо. Он выглядел вялым и равнодушным. Но девочка заметила, как он переводил взгляд с документов в руке на лицо стоящего перед ним человека. Он тщательно выполнял свою работу.

Сара постаралась ни о чем не думать. Она страшилась того, что могло произойти. Она не находила в себе сил, чтобы представить это. Она позволила своим мыслям просто блуждать. Она вспомнила кошку, которая у них была и при виде которой она начинала чихать. Как же ее звали? Она не могла припомнить. У кошки была какая-то глупая кличка, что-то вроде Бонбон или Реглисс. Они отдали кошку, потому что от нее у девочки щекотало в носу, а глаза краснели и опухали. Ей было очень жаль киску, а Мишель проплакал весь день. Он сказал, что это все из-за нее.

Мужчина ленивым жестом протянул руку. Жюль вручил ему конверт, в котором лежали их удостоверения личности. Мужчина

опустил глаза, перебрал документы, внимательно взглянув сначала на Жюля, потом на Женевьеву. Затем поинтересовался:

— Ребенок?

Жюль кивком указал на удостоверения личности.

— Удостоверение ребенка там, месье. Вместе с нашими.

Полицейский приподнял клапан конверта большим пальцем. Внутри лежала крупная купюра, сложенная втрое. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул.

Он снова посмотрел на деньги, потом взглянул Саре в лицо. Она не отвела взгляд. Девочка не съежилась и не глядела на полицейского умоляюще. Она просто стояла и смотрела на него.

Казалось, время остановилось. Минуты растянулись до бесконечности, как в тот невыносимо напряженный момент, когда полицейский в лагере наконец позволил девочке бежать.

Мужчина коротко кивнул. Он вернул удостоверения личности Жюлю, а конверт быстрым, неуловимым движением опустил в карман. Потом он сделал шаг в сторону, чтобы дать им пройти.

— Благодарю вас, месье, — сказал он. — Следующий, пожалуйста.



Голос Чарлы эхом отдавался в трубке и у меня в голове.

— Джулия, ты серьезно? Он не мог так сказать. Он не может поставить тебя в такое положение. Он не имеет права так поступать.

Сейчас со мной разговаривала Чарла-адвокат, жесткий, пробивной, удачливый манхэттенский адвокат, который не боялся никого и ничего.

— Но он действительно так сказал, — вяло и безразлично оправдывалась я. — Он сказал, что это будет *наш конец*. Он сказал, что бросит меня, если я оставлю этого ребенка. Он говорит, что уже стар, что он не справится еще с одним ребенком и что он не хочет быть престарелым отцом.

В разговоре возникла пауза.

— Это имеет какое-то отношение к женщине, с которой у него был роман? — спросила Чарла. — Не помню, как ее звали.

— Нет. Бертран ни разу не упоминал ее имени.

— Не позволяй ему давить на себя, Джулия. Не поддавайся. Это и твой ребенок тоже. Не забывай об этом, родная.

Весь день слова сестры эхом звучали у меня в голове. «Это и твой ребенок тоже». Я встретила со своим врачом. Ее не удивило решение Бертрана. Она даже предположила, что, быть может, сейчас он переживает кризис среднего возраста. И что ответственность за второго ребенка оказалась для него непосильной. Что он утратил веру в себя, стал слабым и боязливым. Так часто случается с мужчинами, приближающимися к пятидесяти.

Неужели Бертран в самом деле переживает кризис? Если это действительно так, то я даже не подозревала о его приближении. Как такое могло случиться? Я просто решила, что он стал законченным эгоистом, что он, по обыкновению, думает только о себе. Во время разговора я так и заявила ему. Я высказала ему все, что было у меня на душе. Как он может настаивать на аборте после многочисленных выкидышей, через которые мне пришлось пройти, после той боли, несбывшихся надежд, отчаяния, которые мне довелось пережить? Придя в совершенное расстройство, я воскликнула: да любит ли он меня вообще? Он взглянул на меня и покачал головой. Как я могу быть

такой глупой, ответил он. Он по-настоящему любит меня. И я сразу же живо вспомнила его надломленный, прерывающийся голос, его высокопарное и неестественное поведение, когда он признался мне в том, что боится подступающей старости. Кризис среднего возраста. Может быть, мой доктор была права. А я просто не замечала этого, потому что в последние несколько месяцев голова моя была занята совершенно другим. Я растерялась. Я не знала, что мне делать с Бертраном и его страхами.

Доктор сказала мне, что для принятия решения у меня осталось не так уж много времени. Срок беременности составил уже шесть недель. Если я решусь на аборт, то сделать его необходимо не позднее следующих двух недель. Следует сдать кое-какие анализы, подыскать подходящую клинику. Она предложила, чтобы мы с Бертраном обсудили эту проблему с консультантом по брачно-семейным отношениям. Нам обязательно нужно поговорить об этом, и поговорить открыто.

— Если вы сделаете аборт против своей воли, — предостерегла меня мой доктор, — то никогда не простите его. А если вы его не сделаете, то помните: он признал, что подобная ситуация для него неприемлема. Вам нужно как можно быстрее разобраться в происходящем и решить, что вы намерены делать.

Она была права. Но я не могла заставить себя поспешить с решением. Каждая минута, которую я выгадывала, означала лишние шестьдесят секунд жизни для моего ребенка. Для ребенка, которого я уже любила. Он был едва ли больше горошины, а я уже любила его так же сильно, как и Зою.

Я поехала в гости к Изабелле. Она жила в небольшой, но очень уютной двухэтажной квартире на рю де Тобиак. Я чувствовала, что просто не в состоянии вернуться домой после конторы и ожидать возвращения Бертрана. У меня не хватало духу на это. Я позвонила Эльзе, приходящей няне, и попросила ее подменить меня. Изабелла приготовила для меня *crottin de chavignol*^[48] и на скорую руку соорудила какой-то фруктовый салат. Ее супруга не было, он уехал в командировку по делам.

— Ну, что же, *cocotte*,^[49] — сказала она, усаживаясь напротив и выдыхая дым в противоположную от меня сторону, — попробуй представить себе жизнь без Бертрана. Просто возьми и представь.

Развод. Адвокатов. Последствия. Какое впечатление это произведет на Зою? На что станет похожа ваша жизнь? Отдельные квартиры. Раздельное существование. Зоя, уходящая от тебя к нему. Возвращающаяся от него к тебе. Настоящей семьи больше нет. Никаких совместных завтраков, рождественских обедов, отпусков и каникул. Ты готова пойти на это? Ты можешь себе все это представить?

Я молча смотрела на нее. Все это представлялось мне невыносимым. Невозможным. Тем не менее, такое случалось очень часто. Зоя оставалась, наверное, единственным ребенком в своем классе, чьи родители прожили вместе вот уже пятнадцать лет. Я сказала Изабелле, что больше не могу говорить на эту тему. Она угостила меня шоколадным муссом, а потом мы вместе посмотрели на DVD-плеере мюзикл «Девушки из Рошфора». Когда я вернулась домой, Бертран принимал душ, а Зоя уже пребывала в объятиях Морфея. Я тихонько улеглась в постель. Мой супруг после душа отправился в гостиную смотреть телевизор. К тому времени, когда он добрался до кровати, я уже крепко спала.

Сегодня был день посещения *Mamé*. Впервые я едва не позвонила в дом престарелых, чтобы отменить визит. Я чувствовала себя измученной и опустошенной. Мне хотелось остаться в постели. Но я знала, что она будет меня ждать. Я знала, что она специально наденет свое лучшее платье бледно-лилового цвета, накрасит губы ярко-красной помадой и обязательно воспользуется своими любимыми духами «Шалимар». Я не могла подвести ее. Когда ровно в полдень я появилась в доме престарелых, то на парковочной стоянке обнаружила «мерседес» своего свекра. Его вид сразу же выбил меня из колеи.

Он приехал, потому что хотел видеть меня. Свекор никогда не навещал свою мать в одно время со мной. У каждого из нас был свой график посещений. Лаура и Сесиль приходили по выходным, Колетта — по понедельникам после обеда, Эдуард — по вторникам и пятницам, я с Зоей — по средам, а одна — по четвергам, в полдень. И все мы строго придерживались этого графика.

Ну и, конечно, он сидел в комнате со своей матерью, строгий и подтянутый, выпрямив спину и слушая ее. Она только что покончила с ленчем, который здесь подавали до смешного рано. Внезапно я занервничала, как провинившаяся школьница. Что свекру

понадобилось от меня? Неужели он не мог поднять трубку и позвонить, если ему вдруг захотелось поговорить со мной? К чему ждать, пока я приеду сюда?

Постаравшись скрыть под теплой улыбкой свое недовольство и страх, я расцеловала его в обе щеки и присела рядом с *Mamé*, взяв ее за руку, как делала всегда. Собственно, подсознательно я ожидала, что свекор уйдет, но он остался, весело и с удовольствием, как ни в чем не бывало глядя на нас. Неприятное положение, доложу я вам. У меня было такое чувство, будто он вторгся в мою личную жизнь и что каждое слово, которое я говорю *Mamé*, оценивается и взвешивается на невидимых весах.

Спустя полчаса он поднялся, взглянув на часы. После чего подарил мне странную улыбку.

— Мне нужно поговорить с вами, Джулия, если не возражаете, — пробормотал он, понизив голос почти до шепота, чтобы не услышала *Mamé*. Я обратила внимание, что он вдруг занервничал, переступая с ноги на ногу и с нетерпением глядя на меня. Поэтому я поцеловала *Mamé* на прощание и последовала за свекром к его машине. Он жестом пригласил меня садиться, сам опустился на сиденье рядом со мной, повертел в руках ключи, но включать зажигание не стал. Я молча ждала, нервные движения его пальцев изрядно удивили меня. В салоне машины висело молчание, тяжелое и давящее. Я огляделась по сторонам, окинула взглядом мощный дворик, сестер милосердия и сиделок, которые вкатывали и выкатывали своих немощных постояльцев на креслах-каталках.

Наконец он заговорил.

— Как поживаете? — поинтересовался он с вымученной улыбкой.

— Нормально, — откликнулась я. — А вы?

— У меня все в порядке. У Колетты тоже.

Снова воцарилось молчание.

— Вчера вечером, когда вас не было, я разговаривал с Зоей, — признался он, избегая смотреть мне в глаза.

Я молча рассматривала его чеканный профиль, римский нос, твердую линию подбородка.

— И что? — устало выговорила я.

— Она сказала мне, что вы занимаетесь расследованием...

Он умолк на полуслове, вертя на пальце брелок с ключами.

— Расследованием этой истории с квартирой, — закончил он и взглянул мне прямо в лицо.

Я кивнула.

— Да, мне удалось установить, кто жил в этой квартире до вас. Зоя наверняка рассказала вам об этом.

Он тяжело вздохнул и замер, опустив голову на грудь, отчего складки у него на шее закрыли воротник рубашки.

— Джулия, я ведь предупреждал вас, помните?

Сердце сильнее забилося у меня в груди, разгоняя кровь по телу.

— Вы просили меня больше не задавать вопросов на эту тему *Mamé*, — невыразительным голосом сказала я. — И я выполнила вашу просьбу.

— Тогда почему вы продолжаете ворошить прошлое? — спросил он. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Он дышал тяжело, с трудом, как будто этот процесс причинял ему физическую боль.

Итак, все встало на свои места. Теперь я знала, для чего ему понадобилось поговорить со мной.

— Я лишь выяснила, кто жил здесь раньше, — с жаром продолжала я, — и больше ничего. Я должна была узнать, кто они такие. Больше мне ничего неизвестно. Я не знаю, какое отношение ваша семья имеет к этому делу...

— Никакого! — выкрикнул он, не дав мне закончить. — Мы не имеем никакого отношения к аресту той семьи.

Я хранила молчание, во все глаза глядя на него. Его буквально трясло, вот только я не могла сказать, отчего — от гнева или от чего-то еще.

— Мы не имеем никакого отношения к аресту той семьи, — снова повторил он, пытаясь взять себя в руки. — Их забрали во время облавы на «Вель д'Ив». Мы не выдавали их полиции, никогда не делали ничего такого, вы это понимаете?

Потрясенная, я не сводила с него глаз.

— Эдуард, я и подумать не могла ни о чем подобном. Никогда!

Отчаянным усилием он попытался успокоиться и несколько раз провел по лбу дрожащей рукой.

— Вы задаете слишком много вопросов, Джулия. И проявляете излишнее любопытство. Позвольте рассказать вам, как все произошло. Послушайте меня. Все дело в этой *concierge*, мадам Руайер. Она

поддерживала приятельские отношения с нашей *concierge*, еще когда мы жили на рю де Тюренн, неподалеку от рю де Сантонь. Мадам Руайер очень уважала мою мать. Та, в свою очередь, была очень добра с ней. Именно она первой сообщила моим родителям о том, что эта квартира освободилась. Квартплата была вполне приемлемой и невысокой. Эта квартира была больше той, в которой мы жили на рю де Тюренн. Вот так все и было. Так мы и переехали в нее. И это все!

Я молча смотрела на него, а его сотрясала дрожь. Мне еще не доводилось видеть его в таком отчаянии. Он выглядел усталым и разбитым. Я нерешительно коснулась его руки.

— С вами все в порядке, Эдуард? — спросила я. Его дрожь передалась мне. Я даже успела подумать, уж не заболел ли он.

— Да, вполне, — ответил он чужим и хриплым голосом. А я все никак не могла взять в толк, отчего он так разволновался.

— *Maté* ничего не знает, — продолжал он, понизив голос. — Никто не знает. Вы понимаете? Она и не должна знать. Она не должна ничего знать.

Я пребывала в полнейшей растерянности и недоумении.

— Чего она не должна знать? — спросила я. — О чем вы говорите, Эдуард?

— Джулия, — вновь заговорил он, не сводя с меня глаз, — вы понимаете, кем была эта семья, вы знаете их фамилию.

— Я не понимаю... — пробормотала я.

— Вы ведь знаете их фамилию, не так ли? — внезапно рявкнул он, и я испуганно вздрогнула. — Вам ясно, что случилось. Не так ли?

Должно быть, я выглядела окончательно сбитой с толку, потому что он тяжело вздохнул и закрыл лицо руками.

Я сидела рядом, потеряв дар речи. Ради всего святого, о чем он говорит? Что такого случилось, о чем никто не знал?

— Девочка... — наконец произнес он так тихо, что едва расслышала его. — Что вам удалось узнать о девочке?


— Что вы имеете в виду? — спросила я, по-прежнему ничего не понимая.

— Девочка... — повторил он приглушенным, чужим голосом. — Она вернулась. Через пару недель после того, как мы переехали в новую квартиру. Она вернулась на рю де Сантонь. Мне было тогда

двенадцать лет. Я никогда этого не забуду. Я никогда не забуду Сару Старжински.

К моему ужасу, лицо его сморщилось. Из глаз у него потекли слезы. Я не могла произнести ни слова. Я могла только ждать и слушать. Человек, сидевший рядом со мной, уже ничем не напоминал моего высокомерного и надменного свекра.

Это был кто-то другой. Тот, кто долгие годы носил в душе страшную тайну. Носил целых шестьдесят лет.



От вокзала на метро до их дома на рю де Сантонь было совсем недалеко, всего-то пара остановок и пересадка на станции «Бастилия». Когда они свернули на рю де Бретань, Сара почувствовала, как сердце заколотилось у нее в груди. Она шла домой. Через несколько минут она будет дома. Может быть, пока ее не было, матери или отцу удалось вернуться домой, и, может быть, сейчас они все ждали ее, вместе с Мишелем, в их квартире. Ждали ее возвращения. Интересно, может, она сошла с ума, если думает об этом? Может быть, она лишилась рассудка? Но разве не могла она надеяться, разве это запрещено? Ведь ей было всего десять лет, и она отчаянно хотела надеяться, хотела верить. И эта ее надежда и вера были сейчас сильнее всего на свете, сильнее самой жизни.

Она потянула Жюля за рукав, подгоняя его, и почувствовала, как с каждым шагом оживает и крепнет надежда, похожая на прирученного дикого зверя, теперь вырвавшегося на волю. Тихий и мрачный голос внутри прошептал: «Сара, не надейся, не верь, постарайся подготовиться к худшему, постарайся поверить в то, что тебя никто не ждет, что папы и мамы там нет, что в квартире пусто, пыльно и грязно и что Мишель... Мишель...»

Перед ними вырос дом под номером 26. Она обратила внимание, что на улице ничего не изменилось. Она оставалась все такой же тихой и узенькой, какой была всегда. Как могло случиться, подумала девочка, что изменились и оборвались жизни многих людей, а улицы и дома остались такими же, как раньше?

Жюль распахнул тяжелую дверь. И дворик тоже остался прежним, он шумел зеленой листвой, в нем пахло пылью и плесенью. Когда они шли по двору, мадам Руайер отворила дверь своей маленькой квартирке и высунула голову наружу. Сара отпустила руку Жюля и рванулась к лестнице. Быстрее, нужно бежать как можно быстрее, она наконец-то дома и нельзя терять времени.

Поднявшись на второй этаж и уже запыхавшись, она услышала, как concierge любопытствовала:

— Вы ищете кого-то?

Вслед за нею по ступенькам долетел голос Жюля:

— Мы ищем семью Старжински.

Сара уловила смех мадам Руайер, скрипучий, неестественный:

— Они переехали, месье! Исчезли! Вы их не найдете, помяните мое слово.

Сара замерла на площадке третьего этажа, взглядываясь во двор. Она увидела мадам Руайер, которая так и осталась стоять внизу, в грязном синем фартуке, с маленькой Сюзанной на руках. Переехали... Исчезли... Что имела в виду concierge? Куда исчезли? Когда?

Нельзя терять времени, сейчас не время думать об этом, решила девочка. Еще два пролета, и она будет дома. Но когда она быстро поднималась по ступенькам, до нее снова донесся пронзительный голос concierge:

— Их забрали полицейские, месье. Они забрали всех евреев в этом районе. Увезли их куда-то на большом автобусе. Здесь теперь полно пустых комнат, месье. Может, вы подыскиваете себе жилье? Старжински уехали, но я могла бы вам помочь... На втором этаже есть чудесная квартирка, если вас это интересует. Я могу показать ее вам!

Тяжело дыша, Сара поднялась на пятый этаж. Она запыхалась, ей пришлось прислониться к стене и прижать руку к боку, в котором сильно колото.

Она забарабанила в дверь квартиры своих родителей, изо всех сил ударяя ладошками по деревянной панели. Никакого ответа. Она снова принялась стучать, уже сильнее, кулаками.

И тут она услышала шаги. Дверь распахнулась.

На пороге стоял мальчик лет двенадцати-тринадцати.

— Да? — обратился он к ней.

Кто это такой? Что он делает в их квартире?

— Я пришла за братиком, — запинаясь, проговорила она. — Кто ты такой? Где Мишель?

— Твой брат? — медленно протянул мальчишка. — Здесь нет никакого Мишеля.

Девочка грубо оттолкнула его в сторону, почти не обращая внимания на новые картины на стене в коридоре, на незнакомую книжную полку, чужой красно-зеленый ковер. Ошеломленный мальчишка что-то кричал ей вслед, но она не остановилась. Девочка бежала по длинному знакомому коридору, потом повернула налево, в

свою спальню. Она не заметила ни новых обоев, ни другой кровати, ни вещей, которых раньше здесь не было.

Мальчишка позвал отца, и в соседней комнате послышались незнакомые шаркающие шаги.

Сара выхватила из кармана ключ и нажала на кнопку. Глазам ее предстал потайной замок.

Она услышала звон дверного колокольчика, неясное бормотание встревоженных, приближающихся голосов. Голос Жюля, Женестьева, незнакомого мужчины.

Быстрее, быстрее. Снова и снова она шептала:

— Мишель, Мишель, это я, Сирка...

Руки у нее дрожали так сильно, что она выронила ключ.

За ее спиной возник запыхавшийся мальчишка.

— Что ты делаешь? — выдохнул он. — Что ты делаешь в моей комнате?

Не обращая на него внимания, девочка подняла ключ, вставила его в замок. Она слишком нервничала, слишком спешила. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы открыть замок. Наконец он щелкнул, и она потянула на себя потайную дверь.

Запах гниения ударил ей в лицо, и она отшатнулась. Мальчишка, стоявший рядом с ней, отпрянул в сторону. Сара упала на колени.

В комнату вбежал мужчина с пепельно-седыми волосами, за которым следовали Жюль и Женестьева.

Сара не могла говорить, она лишь вздрагивала всем телом, закрывая нос и глаза ладошками, чтобы не чувствовать этого запаха.

Жюль подошел, положил руку ей на плечо, заглянул в шкаф. Девочка почувствовала, как он обнимает ее, берет на руки, собираясь унести отсюда.

Он прошептал ей на ухо:

— Пойдем, Сара, пойдем со мной...

Она сопротивлялась изо всех сил, царапалась, пиналась, кусалась, наконец вырвалась и подбежала к распахнутой двери шкафа.

В глубине его она увидела маленькое, свернувшееся калачиком неподвижное тельце, а потом разглядела и любимое личико братика, почерневшее, неузнаваемое.

Она снова упала на колени и закричала, закричала изо всех сил. Она звала мать, звала отца, звала Мишеля.

Эдуард Тезак вцепился в руль с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Я смотрела на него как завороженная.

— Я до сих пор слышу ее крик, — прошептал он. — Я не смогу его забыть. Никогда.

То, что я только что узнала, в буквальном смысле оглушило меня и потрясло до глубины души. Сара Старжински все-таки бежала из концентрационного лагеря в Бюн-ла-Роланде. Она вернулась на рю де Сантонь. И здесь ее ждало ужасное открытие.

Я не могла говорить. Я сидела и смотрела на свекра. А тот продолжал свой рассказ негромким, хриплым голосом:

— Потом в шкаф заглянул мой отец. Не знаю, что он там увидел. Я тоже попробовал просунуть туда голову. Отец оттолкнул меня. Я не мог понять, почему и что там случилось. А еще этот запах... Жуткая, едкая вонь. Потом отец медленно вытащил из шкафа тело мертвого мальчика. Это был совсем ребенок, никак не старше трех-четырех лет. Я еще никогда в своей жизни не видел мертвых детей. Это было ужасное, отвратительное зрелище. У мальчика были светлые вьющиеся волосы. Тело его окоченело, он лежал, свернувшись клубочком, закрыв лицо руками. Он весь позеленел...

Свекор умолк, слова застряли у него в горле. Мне показалось, что его вот-вот стошнит. Я коснулась его руки, чтобы выразить свое сочувствие, передать ему свое тепло. Ситуация сложилась совершенно фантастическая, я пыталась утешить своего гордого, неприступного свекра, который дал волю слезам, в одно мгновение превратившись в сломленного, дрожащего пожилого мужчину. Он вытер глаза рукой, после чего продолжил свой рассказ.

— Мы так и стояли там, не в силах пошевелиться, пораженные ужасом. Девочка лишилась чувств. Ноги у нее подкосились, и она упала на пол. Отец взял ее на руки и положил на мою кровать. Она пришла в себя, увидела его лицо и с криком отшатнулась. Я начал понимать кое-что, слушая разговор отца с супружеской парой, что пришла с девочкой. Мертвый мальчик был ее младшим братом. Раньше в квартире, в которую вселились мы, жила их семья. Мальчик спрятался в шкафу в день проведения облавы «Вель д'Ив»,

шестнадцатого июля. Девочка думала, что сможет вернуться и освободить его, но ее отправили в лагерь.

Новая пауза. Она показалась мне бесконечной.

— А потом? Что было потом? — с трудом произнесла я. Наконец-то ко мне вернулся голос.

— Пожилые супруги приехали из Орлеана. Девочка бежала из лагеря, расположенного неподалеку, и забрела к ним во двор. Они решили помочь ей, отвезти обратно в Париж, домой. Отец рассказал им, что наша семья переехала сюда в конце июля. Он ничего не знал о потайном шкафе, который находился в моей комнате. Да и никто из нас ничего не знал. Я, правда, почувствовал неприятный запах, но отец решил, что что-то случилось с канализационными трубами. На следующей неделе к нам должен был прийти водопроводчик.

— Что сделал ваш отец с... мальчиком?

— Я не знаю. Помню только, он сказал, что позаботится обо всем. Он был потрясен, по-настоящему потрясен. Думаю, тело мальчика забрали эти пожилые супруги. Но я не уверен в этом. Я просто не помню.

— А что было потом? — затаив дыхание, спросила я.

Он взглянул на меня с сардонической усмешкой.

— Чтобы было потом? Потом было такое... — Он горько рассмеялся. — Джулия, вы можете представить, как мы чувствовали себя после того, как девочка ушла? Как она смотрела на нас! Она нас ненавидела. Презирала. Она считала, что это мы виноваты в смерти ее брата. Для нее мы были преступниками. Преступниками самого худшего сорта. Мы самовольно заняли ее дом. Мы позволили ее младшему брату умереть. Ее глаза... В них была такая ненависть, боль, отчаяние. Это были глаза взрослой женщины на лице десятилетней девочки.

Я тоже увидела эти глаза. И вздрогнула.

Эдуард вздохнул, потер усталое, измученное лицо ладонями.

— После их ухода отец сел и обхватил голову руками. Он плакал. Долго. Я никогда еще не видел, чтобы он плакал. Отец был сильным, закаленным человеком. Мне всегда говорили, что мужчины из рода Тезаков не плачут. Никогда не выставляют напоказ свои чувства. Это был страшный и неприятный момент. Он сказал, что случилось нечто ужасное. Нечто такое, что и он, и я запомним на всю жизнь. А потом

он рассказал мне то, о чем не заговаривал никогда. Отец сказал, что я уже достаточно взрослый, чтобы знать такие вещи. Он сказал, что не интересовался у мадам Руайер, кто жил до нас в квартире, в которую мы потом вселились. Он знал только, что это была еврейская семья и что их арестовали во время облавы. Но он закрыл на это глаза. Он закрыл глаза, как многие парижане в том жутком сорок втором году. Он закрыл глаза в день облавы, когда увидел, как в битком набитых автобусах увозили арестованных, увозили бог знает куда. Он даже не поинтересовался, как получилось, что квартира оказалась пустой и что стало с вещами той семьи, которая жила здесь до нас. Он вел себя точно так же, как вела бы себя любая парижская семья, стремящаяся переехать на более просторную и удобную жилплощадь. Он просто закрыл на это глаза. А потом произошел этот ужасный случай. Девочка вернулась и нашла маленького мальчика мертвым. Скорее всего, он был уже мертв, когда мы переехали туда. Отец сказал, что мы никогда не сможем забыть об этом. Никогда. И он был прав, Джулия. Этот случай остался в нас. И я ношу его в душе последние шестьдесят лет.

Он умолк, и голова его бессильно опустилась. Я попыталась представить себе, каково было ему хранить эту жуткую тайну в течение стольких лет.

— А как же *Mamé*? — спросила я, подталкивая его к продолжению рассказа. Я намеревалась вытянуть из него всю историю.

Он медленно покачал головой.

— В тот день *Mamé* не было дома. Мой отец не хотел, чтобы она узнала о том, что случилось. Его захлестнуло чувство вины, он чувствовал, что виноват во всем, пусть даже это было не так. Ему была невыносима сама мысль о том, что жена может узнать о случившемся. И, кто знает, может быть, даже осудить его. Он сказал, что я уже достаточно взрослый, чтобы мне можно было доверять. Он сказал, что мать никогда не должна узнать об этом. Он был в отчаянии, у меня просто разрывалось сердце, глядя на него. Поэтому я согласился сохранить все случившееся в тайне.

— И она по-прежнему ничего не знает? — прошептала я.

Он снова тяжело вздохнул.

— Не знаю, Джулия, я больше не уверен в этом. Она знала об облаве. Собственно, мы все знали о ней, потому что ее проводили на

наших глазах. Когда она вернулась домой в тот вечер, мы с отцом вели себя очень странно, и она догадалась о том, что произошло что-то необычное. В ту ночь, и еще много ночей потом мне снился мертвый мальчик. Меня мучили кошмары. Они мучили меня очень долго, когда мне уже исполнилось двадцать, когда я уже стал совсем взрослым и приближался к тридцати. Поэтому я с облегчением воспринял переезд из той квартиры. Но иногда мне кажется, что она знала о случившемся. Иногда я думаю, что она знала о том, через что пришлось пройти моему отцу и что он при этом чувствовал. Может быть, в конце концов он рассказал ей все, потому что ему было невыносимо тяжело. Но со мной мать никогда не заговаривала об этом.

— А Бертран? А ваши дочери? А Колетта?

— Они ничего не знают.

— Почему? — спросила я.

Он положил мне руку на запястье. Она была ледяная на ощупь, и холод от его прикосновения пробрал меня до костей.

— Потому что я пообещал отцу, когда он уже был при смерти, что никогда не расскажу об этом ни жене, ни детям. Он носил это чувство вины до конца дней своих. Он не мог ни с кем разделить его. И ни с кем не мог заговорить об этом. И я уважал его за это. Вы меня понимаете?

Я кивнула.

— Конечно.

Я немного помолчала.

— Эдуард, что случилось с Сарой?

Он покачал головой.

— После сорок второго года и до самой смерти отец ни разу не произнес ее имени. Сара стала тайной. Тайной, о которой я думал непрерывно. По-моему, отец даже не догадывался о том, как часто я думаю о ней. Что из-за его молчания мои страдания только усиливались. Мне очень хотелось знать, где она, что с ней стало, как она поживает. Но всякий раз, стоило мне открыть рот, чтобы спросить об этом, он приказывал мне замолчать. Я не мог поверить, что она его больше не интересуется, что ему все равно, что он просто перевернул страницу и что она больше для него ничего не значит. У меня сложилось впечатление, что он попросту хотел похоронить прошлое.

— И вы обижались на него за это?

Он кивнул.

— Да, я обижался и негодовал. Мое восхищение им потускнело. Но я не мог сказать ему об этом. И так и не сказал.

Мы замолчали. Сиделки, наверное, уже недоумевают, с чего это месье Тезак и его невестка так долго сидят в машине.

— Эдуард, разве вам не хочется узнать, что случилось с Сарой Старжински?

Он впервые улыбнулся.

— Но я даже не знаю, с чего начать, — сказал он.

Теперь улыбнулась я.

— Это моя работа. Я могу вам помочь.

Его лицо постепенно обрело нормальный цвет. Во всяком случае, оно уже не было смертельно бледным, как в начале разговора. В его глазах появился блеск, они буквально горели.

— Есть еще одна, последняя вещь, которую вы должны знать, Джулия. Когда почти тридцать лет назад умер отец, его поверенный сообщил мне, что в его сейфе хранятся некоторые бумаги конфиденциального характера.

— Вы читали их? — спросила я, и сердце у меня замерло.

Он опустил глаза.

— Я только мельком просмотрел их после смерти отца.

— И? — затаив дыхание, поинтересовалась я.

— Это всего лишь бумаги на антикварный магазин, документы на картины, мебель, столовое серебро.

— И это все?

Разочарование, написанное у меня на лице, вызвало у него улыбку.

— По-видимому, да.

— Что вы имеете в виду? — окончательно сбитая с толку, я все-таки продолжала расспрашивать.

— Я больше не прикасался к ним. Я очень быстро просмотрел их. Помнится, я был в ярости оттого, что там даже не упоминалось имени Сары. И недовольство отцом только усилилось.

Я прикусила нижнюю губу.

— То есть вы хотите сказать, что не уверены в том, что в этих бумагах нет ничего интересного для нас.

— Да. Я ведь так и не собрался изучить их повнимательнее.

— Почему?

Он плотно стиснул губы.

— Потому что я не хотел быть твердо уверенным в том, что в них ничего нет.

— Чтобы еще сильнее не обидеться на отца?

— Да, — признал он.

— Итак, вам в точности не известно, что в них содержится. И эта неизвестность тянется уже тридцать лет.

— Вы правы, — сказал он.

Наши взгляды встретились. Пусть даже только на пару секунд.

Эдуард завел мотор. А потом он как сумасшедший гнал к тому месту, где, по моим предположениям, находился его банк. Я еще никогда не видела, чтобы Эдуард ездил так быстро. Водители яростно грозили нам кулаками. Пешеходы с криками рассыпались в разные стороны. За все время этой дикой гонки мы не обменялись и словом, но наше молчание было теплым и дружеским. Мы предвкушали то, что нам предстоит. Впервые за многие годы у нас появилось нечто общее. Мы обменивались взглядами и улыбались.

К тому моменту, когда мы нашли место для парковки на авеню Боскет и подбежали к банку, он закрылся на обед. Еще один типично французский обычай из тех, которые действовали мне на нервы, особенно сегодня. Я так расстроилась, что готова была заплакать.

Эдуард расцеловал меня в обе щеки, а потом осторожно отстранил от себя.


— Поезжайте, Джулия. Я вернусь сюда в два часа, когда закончится перерыв. Если будет что-нибудь интересное, я позвоню.

Я прошла по авеню до остановки автобуса 92 маршрута, который должен был довезти меня до офиса на том берегу Сены.

Когда автобус отъезжал, я обернулась и увидела Эдуарда, стоящего перед входом в банк. Он показался мне таким одиноким и напряженным.

Я задумалась о том, что он почувствует, если в документах не найдется ни малейшего упоминания о Саре, а лишь о картинах старых мастеров и фарфоре.

И мне стало его по-настоящему жаль.



— Вы твердо уверены в том, что действительно этого хотите, мисс Джермонд? — обратилась ко мне доктор. Она взглянула на меня поверх очков для чтения.

— Нет, — честно ответила я. — Но в данный момент мне просто необходимо принять кое-какие меры.

Она пробежала глазами мою медицинскую карточку.

— Я с радостью помогу вам в этом, но не уверена в том, что внутренне вы согласны со своим решением.

Мыслями я вернулась ко вчерашнему вечеру. Бертран вел себя исключительно нежно, мягко и внимательно. Весь вечер он держал меня в объятиях, снова и снова повторял, что любит меня, что я нужна ему, но при этом он не может согласиться на перспективу обзавестись еще одним ребенком в таком почтенном возрасте. Он считал, что с годами мы станем еще ближе друг к другу, что сможем чаще отправляться в путешествия по мере того, как Зоя будет постепенно становиться все более независимой. То время, когда нам обоим перевалит за пятьдесят, он представлял себе как наш второй медовый месяц.

Я слушала его, и по лицу моему текли невидимые в темноте слезы. Какая дьявольская ирония! Он говорил буквально те самые слова, которые я всегда мечтала услышать от него. Мои мечты сбылись, здесь было все — и нежность, и привязанность, и любовь, и щедрость. Но главное заключалось в том, что я носила под сердцем его ребенка, которого он не хотел. Это был мой последний шанс стать матерью. Я все время думала о том, что сказала мне Чарла: «Это и твой ребенок тоже».

Долгие годы я страстно мечтала о том, чтобы подарить Бертрану еще одного ребенка. Реализовать себя. Стать той превосходной, примерной и безупречной супругой, которой могли бы гордиться Тезаки. Но теперь я поняла, что этот ребенок нужен мне самой. Это мой ребенок. Мой последний ребенок. Я умирала от желания ощутить вес его тельца у себя на руках. Мне хотелось почувствовать молочный, сладкий запах его кожи. Мой ребенок. Да, Бертран был его отцом, но это мой ребенок. Моя плоть. Моя кровь. Я хотела ощутить начало

родов, почувствовать, как головка ребенка выходит из меня, испытать это болезненно-сладостное наслаждение — дать жизнь новому человечку, пусть даже через боль и слезы. Мне нужны были эти слезы, мне нужна была эта боль. Я страшилась боли пустоты, слез опустевшего, бесплодного лона.

Покинув кабинет врача, я направилась в Сен-Жермен, где должна была встретиться в кафе «Флора» с Эрве и Кристофом за чашечкой кофе. Я не собиралась ничего им рассказывать, но им хватило одного взгляда на мое лицо, чтобы почувствовать, что со мной что-то происходит. Ну и так получилось, что я не могла более сдерживаться. Как обычно, они придерживались противоположных мнений. Эрве считал, что я должна сделать аборт, потому что, дескать, замужество для меня превыше всего. Кристоф же настаивал на том, что жизнь ребенка должна представлять для меня наивысшую ценность. Ни в коем случае я не должна была обрекать этого ребенка на смерть. Я буду жалеть об этом до конца дней своих.

Мальчики так разошлись, что даже забыли о моем присутствии и начали ссориться. Я не могла этого вынести. Пришлось вмешаться. Я начала стучать по столу кулаком, отчего наши бокалы, сталкиваясь, зазвенели. Оба с удивлением уставились на меня. Подобное поведение было совсем не в моем духе. Я извинилась, сказав, что слишком устала для того, чтобы продолжать обсуждение этого вопроса, и ушла. Они вытаращили на меня глаза, раздосадованные и смущенные одновременно. Ничего страшного, помиримся в следующий раз, решила я. В конце концов, они оставались моими старыми друзьями. Они поймут.

Домой я направилась через Люксембургский сад. Со вчерашнего дня я не получала никаких известий от Эдуарда. Означало ли это, что он вновь просмотрел все бумаги в сейфе своего отца, но не нашел ничего, имеющего отношение к Саре? Я могла легко представить себе, как его снова охватывает обида, горечь и негодование. Не говоря уже о разочаровании. Я чувствовала себя неловко, словно провинилась перед ним в чем-то. Насыпала соли на старую рану.

Я медленно шагала по петляющим, окруженным цветочными клумбами дорожкам, избегая бегунов, бродяг, пожилых людей, садовников, туристов, влюбленных, адептов тайцзи-цюань,^[50] игроков в *petanque*,^[51] тинейджеров и тех, кто пришел в сад почитать или

позагорать на солнце. Обычное люксембургское столпотворение. И везде маленькие дети, много детей. Естественно, при виде каждого ребенка, который попадался мне на глаза, мысли мои сворачивали на крошечное существо, которое я носила в себе.

Сегодня, перед тем как показаться врачу, я разговаривала с Изабеллой. Как обычно, она выразила готовность помочь, чем только можно. Окончательное решение остается за мной, заявила она, вне зависимости от того, со сколькими психиатрами или друзьями я буду разговаривать на эту тему. К чьему бы совету или мнению я ни прислушивалась, на чью бы сторону ни вставала, выбор все равно делать мне самой, и никому другому. Выбор непростой и очень болезненный.


Одно я знала наверняка: во все эти неприятности ни в коем случае нельзя было впутывать Зою. Через пару дней у нее начинаются летние каникулы, и она собиралась поехать в гости к Чарле, чтобы отдохнуть с ее детьми, Купером и Алексом, на Лонг-Айленде, а потом должна была заглянуть к моим родителям в Нахант. В некотором роде я была даже рада этому. Ведь это означало, что аборт состоится тогда, когда она будет в отъезде. Если, конечно, я решусь его сделать, этот аборт.

Вернувшись домой, я обнаружила у себя на письменном столе большой толстый конверт. Зоя, не прекращая болтать с подружкой по телефону, крикнула из своей комнаты, что это *concierge* только что принесла его для меня.

Адреса на конверте не было, только мои инициалы, нацарапанные черными чернилами. Я вскрыла конверт и достала оттуда облезлую, линялую красную папку.

В глаза мне сразу бросилось имя Сара.

Мне не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что находится в этом конверте. Спасибо, Эдуард, горячо поблагодарила я его про себя, спасибо, спасибо, спасибо тебе.



Внутри папки лежало с десяток писем, датированных с сентября сорок второго по апрель пятьдесят второго года. Тонкая голубая бумага. Аккуратный округлый почерк. Я внимательно прочла их. Все они были написаны неким Жюлем Дюфэром, проживавшим неподалеку от Орлеана. Письма были краткими, но в каждой речь шла о Саре. О ее успехах. О ее учебе в школе. О ее здоровье. Вежливые, короткие предложения. *«У Сары все хорошо. В этом году она начала изучать латынь. Прошлой весной она переболела ветряной оспой». «Этим летом Сара ездила в Бретань вместе с моими внуками, и они побывали на горе Монт Сен-Мишель».*

Я решила, что Жюль Дюфэр — тот самый пожилой мужчина, который укрывал Сару после ее бегства из концентрационного лагеря в Бюне и который привез ее в Париж в тот день, когда они обнаружили в шкафу ужасную находку. Но почему Жюль Дюфэр писал о Саре Андрэ Тезаку? Да еще так подробно? Этого я понять не могла. Может быть, Андрэ сам попросил его об этом?

А потом я нашла этому объяснение. Банковское извещение. Андрэ распорядился, чтобы его банк ежемесячно переводил деньги на имя Дюфэра для Сары. Я обратила внимание, что сумма была изрядной. И такая практика продолжалась целых десять лет.

В течение десяти лет отец Эдуарда пытался по-своему помочь Саре. Я легко представила, какое невероятное облегчение, должно быть, испытал Эдуард, найдя в отцовском сейфе эти бумаги. Я представила, как он читает эти письма и обнаруживает, что отец ничего не забыл, тем самым обретя наконец долгожданное искупление и прощение в глазах сына.

Я также заметила, что письма от Жюля Дюфэра приходили не на домашний адрес Андрэ, на рю де Сантонь, а в его старый магазинчик на рю де Тюренн. Интересно почему? Наверное, из-за *Maté*, решила я. Андрэ не хотел, чтобы она знала о случившемся. И еще он не хотел, чтобы Сара знала о том, что он регулярно посылает ей деньги. Аккуратным почерком Жюля Дюфэра было написано: *«Как вы и просили, Саре ничего не известно о ваших пожертвованиях».*

Под письмами лежал широкий конверт манильской бумаги. Я вынула из него несколько фотографий. Знакомые раскосые глаза. Светлые волосы. Но девочка, несомненно, изменилась с тех пор, как ее фотографировали в школе в июне сорок второго года. В ней появилась печаль. Радость ушла из ее черт. Она больше не была ребенком. С фотографии на меня смотрела высокая, стройная молодая женщина лет восемнадцати или около того. Те же самые печальные глаза, несмотря на улыбку. Рядом с нею, на пляже, резвилась парочка молодых людей ее возраста. Я перевернула фотографию. Аккуратным почерком Жюля на обороте было написано: *«1950 год, Трувиль. Сара с Гаспаром и Никола Дюфэрами».*

Я подумала обо всем, что ей пришлось пережить. Облава. «Вель д'Ив». Бюн-ла-Роланд. Ее родители. Ее братик. Для ребенка это было слишком много.

Я настолько погрузилась в свои мысли о Саре Старжински, что очнулась только тогда, когда Зоя положила мне руку на плечо.

— Мама, кто эта девушка?

Я поспешно спрятала фотографии в конверт, бормоча что-то о том, что мне надо спешить со статьей, поскольку все сроки сдачи уже прошли.

— И все-таки, кто она такая? — не отставала от меня дочь.

— Ты ее не знаешь, милая, — ответила я, делая вид, что навожу порядок у себя на столе.

Она вздохнула, а потом заявила резким, взрослым голосом:

— В последнее время ты какая-то странная, мама. Ты думаешь, я ничего не замечаю и не понимаю? Но я вижу и понимаю все.

Она повернулась, чтобы уйти. Я почувствовала, как меня охватывает чувство вины. Поднявшись из-за стола, я догнала ее в дверях спальни.

— Ты права, Зоя, я действительно веду себя странно. Прости меня. Ты не заслуживаешь такого отношения.

Я опустилась на кровать, чувствуя себя не в силах взглянуть в ее умные, спокойные глаза.

— Мама, почему бы тебе просто не поговорить со мной? Расскажи мне, что случилось.

Я почувствовала, что у меня начинает болеть голова. Причем очень сильно.

— Ты боишься, что я ничего не пойму, потому что мне всего одиннадцать лет, да?

Я кивнула головой, соглашаясь.

Она пожала плечами.

— И ты мне не доверяешь, верно?

— Разумеется, я тебе доверяю. Но есть вещи, о которых я не могу рассказать тебе, потому что они слишком печальны. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за этого, страдала так же, как и я.

Она нежно коснулась моей щеки, и глаза у нее подозрительно заблестели.

— Я не хочу, чтобы мне было больно. Ты права, не надо мне рассказывать об этом. Я не засну, если буду знать. Но пообещай, что у тебя скоро все опять будет хорошо.

Я протянула к ней руку и крепко обняла. Моя красивая, храбрая девочка. Моя прекрасная дочь. Как же мне повезло, что она у меня есть. Мне очень повезло. Несмотря на приступ сильной головной боли, мысли мои вернулись к ребенку. Он мог бы стать Зое братом или сестрой. А она ничего не знала. Ничего не знала о том, что мне пришлось пережить. Закусив губу, я пыталась сдержать слезы. Спустя какое-то время она бережно отстранилась и заглянула мне в глаза.

— Скажи мне, кто эта девушка. Девушка на черно-белых фотографиях. На тех, которые ты поспешила спрятать от меня.

— Ну хорошо, — сдалась я. — Но это секрет, договорились? Никому о нем не рассказывай. Обещаешь?

Она торжественно кивнула.

— Обещаю. Не сойти мне с этого места и все такое.

— Помнишь, я говорила тебе, что узнала, кто жил в квартире на рю де Сантонь до того, как туда переехала бабушка?

Она снова кивнула.

— Ты говорила, что это была польская семья. И что у них была девочка, моя ровесница.

— Ее зовут Сара Старжински. Это были ее фотографии.

Зоя, прищурившись, смотрела на меня.

— Но почему из этого нужно делать тайну? Я не понимаю.

— Потому что это семейная тайна. Случилось нечто очень печальное. Твой дедушка не хочет говорить об этом. А твой отец вообще ничего не знает о ней.

— С Сарой произошло что-то плохое? — осторожно поинтересовалась она.

— Да, — тихо ответила я. — Кое-что очень плохое и печальное.

— И ты стараешься разыскать ее? — спросила она, становясь серьезной.

— Да.

— Зачем?

— Я хочу сказать ей, что наша семья совсем не такая, как она о ней думает. Я хочу объяснить ей, что произошло. Я думаю, она даже не знает о том, что сделал твой прадедущка для того, чтобы помочь ей. И делал целых десять лет.

— А как он помогал ей?

— Он каждый месяц посылал ей деньги. Но при этом поставил условие, чтобы она не знала об этом.

Зоя помолчала несколько мгновений.

— И как ты собираешься отыскать ее?

Я вздохнула.


— Не знаю, родная. Я просто надеюсь, что мне это удастся. В этой папке нет сведений о ней после пятьдесят второго года. Ни писем, ни фотографий. Ни адреса.

Зоя села ко мне на колени, прижавшись ко мне худенькой спиной. Я вдохнула запах ее густых, блестящих волос, до боли знакомый, сладкий запах моей Зои, который всегда напоминал мне о тех временах, когда она была совсем маленькой, и пригладила прядку непокорных волос.

Я подумала о Саре Старжински, которой было столько же лет, сколько сейчас Зое, когда в жизнь ее вторгся неопиcуемый кошмар.

Я закрыла глаза. Но по-прежнему, словно наяву, видела, как полицейские отрывают детей от матерей в концентрационном лагере в Бюн-ла-Роланде. Я не могла избавиться от этого видения.

Я так крепко прижала к себе Зою, что она испуганно ойкнула.



В жизни случаются очень странные совпадения. Иногда они полны горькой иронии. Вторник, шестнадцатое июля две тысячи второго года. Годовщина памяти жертв «Вель д'Ив». И именно на этот день был назначен аборт. Его должны были сделать в одной из клиник, в которых мне еще не приходилось бывать, она находилась где-то в семнадцатом *arrondissement*, неподалеку от дома престарелых *Mamé*. Я попросила перенести операцию на другой день, поскольку шестнадцатое июля и так значило для меня очень много, но врачи отказались изменить график.

Зоя, у которой только что начались каникулы, отправлялась на Лонг-Айленд проездом через Нью-Йорк вместе со своей крестной матерью, Алисой, одной из моих старых подруг из Бостона, которая часто путешествовала самолетом из Манхэттена в Париж и обратно. Я рассчитывала присоединиться к дочери и семье Чарлы двадцать седьмого июля. Что касается Бертрана, то он собирался уйти в отпуск только в августе. Обычно мы проводили пару недель в Бургундии, в старом доме Тезаков. В общем-то, мне не особенно нравилось отдыхать там. Завтраки, обеды и ужины подавались строго в назначенное время, разговаривать следовало только на общие темы, а детей должно было быть видно, но не слышно. Меня всегда удивляло, почему Бертран настаивает на том, чтобы мы проводили свой отпуск у его родителей, вместо того чтобы поехать куда-нибудь втроем. К счастью, Зоя хорошо ладила с мальчиками Лауры и Сесиль, а Бертран играл бесконечные партии в теннис вместе со своими двоюродными братьями. Одна я оставалась в стороне, как обычно. Из года в год Лаура и Сесиль выдерживали дистанцию в общении со мной. Они приглашали своих разведенных подружек и целыми часами нежились у бассейна, истово подставляя себя под лучи солнца. Им положительно необходимо было иметь коричневую, загорелую грудь. Даже по прошествии пятнадцати лет я так и не смогла к этому привыкнуть. Свою грудь я не обнажала никогда, хотя и знала, что они смеются за моей спиной, называя меня не иначе как *prude Americaine*.^[52] Поэтому я проводила целые дни, бродя по лесу в компании с Зоей, или

отправлялась в изнурительные прогулки на велосипеде, так что вскоре я изучила окрестности, как собственную ладонь. Или совершенствовала свой и так безупречный (на мой взгляд) стиль плавания баттерфляй, пока остальные леди лениво пускали дым и загорали у бассейна в мини-купальниках от известнейших модельеров, в которых и купаться-то было нельзя.

— Они всего лишь ревнивые и завистливые французские коровы. Ты чертовски хорошо выглядишь в бикини, — утешал меня Кристоф всякий раз, когда я жаловалась ему на очередной никчемный летний отпуск. — Вот если бы у тебя был целлюлит или варикозное расширение вен, они бы с радостью приняли тебя в свою компанию.

Я неизменно смеялась над его словами, но так и не смогла поверить в их правоту. Впрочем, мне нравилась красота этого местечка, старинный тихий дом, в котором было прохладно даже в летнюю жару, старый, запущенный и большой сад, в котором росли дубы и из которого открывался чудесный вид на извилистую речушку Йонну. А рядом был замечательный лес, в котором мы часами гуляли с Зоей. Когда она была маленькой, трели птиц, ветка дерева необычных очертаний или таинственный блеск стоячей воды в болотце приводили ее в неопишуемый восторг.

Квартира на рю де Сантонь, по уверениям Бертрана и Антуана, должна была быть готова к началу сентября. Бертран со своими специалистами проделал великолепную работу. Но я все еще не могла представить себя живущей там. Особенно теперь, когда я знала, что произошло в этой квартире много лет назад. Стену снесли, но я помнила, что когда-то здесь находился глубокий потайной шкаф. Шкаф, в котором маленький Мишель ожидал возвращения сестры. И ожидал напрасно.

Я никак не могла забыть эту историю. Пришлось признать, что меня отнюдь не вдохновляет мысль о том, что придется жить в этой квартире. Мне страшно было даже представить, что я провожу в ней ночи. Я боялась, что прошлое восстанет из могилы, и понятия не имела, как этого избежать.

Тяжелее всего было то, что я не могла поговорить об этом с Бертраном. Мне так не хватало его практичного и даже приземленного отношения, я умирала от желания услышать от него, что, несмотря на все ужасы, мы справимся с этим несчастьем и все будет хорошо. Но я

не могла рассказать ему обо всем. Я дала слово его отцу. Интересно, что сказал бы Бертран обо всей этой истории, думала я иногда. А его сестры? Я пыталась представить себе их реакцию. И реакцию *Mamé*. Но у меня ничего не получалось. Французы предпочитали жить в своем замкнутом мирке, как улитки. Ничего нельзя демонстрировать посторонним. Никто и ни о чем не должен догадываться. Всегда следовало помнить о приличиях. Так было всегда. Но в последнее время я обнаружила, что мне становится все труднее мириться с этим.


Когда Зоя уехала в Америку, дом внезапно опустел. Большую часть времени я проводила в офисе, готовя остроумную статейку для сентябрьского номера журнала о молодых французских писателях и парижской литературной богеме. Статья получалась интересной, но на ее написание у меня уходило много времени. Каждый вечер я обнаруживала, что мне совсем не хочется уходить из офиса, меня страшила перспектива очутиться одной в пустых комнатах, которые поджидали меня. Теперь я выбирала длинную, окольную дорогу, которую Зоя окрестила «мамин долгий короткий путь», наслаждаясь яростной красотой города в закатных лучах солнца. Примерно с середины июля Париж начинал приобретать очаровательно заброшенный вид, который так шел ему. Магазины закрывали окна и витрины железными шторами, на которых красовались объявления: «*Закрывается на каникулы, открываемся 1 сентября*». Мне приходилось долго блуждать по улицам, чтобы отыскать работающую *pharmacie*,^[53] бакалейную лавку, *boulangerie*^[54] или химчистку. Парижане отправлялись в летние странствия, оставляя город неутомимым туристам. И, шагая домой теплыми, благоуханными июльскими вечерами, переходя прямо от Елисейских полей на Монпарнас, я чувствовала наконец, что Париж без парижан принадлежит только мне, мне одной.

Да, я любила Париж, и всегда буду любить его, но, проходя по мосту Александра III, над которым, подобно роскошному бриллианту, сверкал золоченый купол Дома инвалидов, я отчаянно скучала по Штатам, и эта тоска буквально сводила меня с ума. Я скучала по дому — по тому, что я считала своим домом, пусть даже прожила во Франции четверть века. Я скучала по свободе и легкомыслию, обширным пространствам и легкости общения. Я скучала по языку, по его кажущейся простоте, когда можно было говорить на равных с

каждым, а не ломать голову, решая, к кому следует обратиться на «вы», а кого можно называть на «ты», в чем преуспели французы, а меня лишь раздражало. Я не могла больше обманывать себя. Я скучала по сестре, родителям, я скучала по Америке. Я скучала по ней так, как не скучала никогда раньше.

Подходя к нашему кварталу, над которым возносилась башня Тур Монпарнас, любимый предмет ненависти парижан (но я любила ее, этот ориентир позволял мне отыскать дорогу домой из любого *arrondissement*), я вдруг задумалась о том, каким был Париж в годы оккупации. Каким он был, Париж Сары Старжински? Серо-зеленая форма и круглые каски. Жестокая неумолимость комендантского часа и *ausweiss*.^[55] Указатели на немецком, выполненные готическим шрифтом. Огромная паучья свастика, намалеванная на стенах благородных каменных зданий.

И дети с желтой звездой на груди.



Клиника представляла собой ухоженное, в некотором роде даже веселое заведение с сияющими сестрами милосердия, исполнительными и угодливыми регистраторшами и тщательно подобранными цветочными букетами. Аборт был назначен на следующее утро, на семь часов. Меня попросили приехать в клинику накануне вечером, пятнадцатого июля. Бертран отправился в Брюссель, чтобы заключить выгодную сделку. Я не настаивала на том, чтобы он был рядом. В его отсутствие я даже чувствовала себя легче, что ли. В одиночку мне было проще и легче освоиться в изысканной палате со стенами, выкрашенными в абрикосовый цвет. Странно, но при других обстоятельствах я непременно задалась бы вопросом, почему присутствие Бертрана кажется мне ненужным и излишним. Это очень странно и удивительно, учитывая, что он был неотъемлемой частью моего каждодневного существования. Тем не менее сейчас, переживая острейший кризис в своей жизни, я осталась одна, и его отсутствие меня только радует.

Я двигалась, как робот, механически складывая одежду, выкладывая на полочку над раковиной зубную щетку, глядя в окно на мещанские фасады домов на тихой улочке. Какого черта ты творишь, зашептал мне на ухо внутренний голос, на который я старалась не обращать внимания целый день. Неужели ты сошла с ума, неужели ты действительно намерена пройти через все это? Я никому не говорила о своем окончательном решении. Ни единому человеку, за исключением Бертрана. Мне не хотелось вспоминать его радостную улыбку, когда я сообщила, что сделаю так, как он хочет, как он притянул меня к себе и пылко поцеловал в макушку.

Я опустила на узкую кровать и достала из сумочки папку с фотографиями Сары. Она была единственным человеком, о котором я могла сейчас думать. Ее поиски представлялись мне священной миссией, единственным способом держать голову гордо поднятой, рассеять тоску и печаль, которой в последнее время оказалась пронизана моя жизнь. Да, необходимо найти ее, но как? В телефонной книге не было никого под именем Сара Дюфэр или Сара Старжински. Это было бы слишком легко. Адреса, указанного на письмах Жюля

Дюфэра, более не существовало. Поэтому я решила разыскать его детей или внуков, тех молодых людей, запечатленных на фотографии в Трувиле: Гаспара и Николя Дюфэров, которым сейчас, по моим расчетам, перевалило за шестьдесят.

К несчастью, фамилия «Дюфэр» оказалась довольно-таки распространенной. В районе Орлеана число ее обладателей исчислялось несколькими сотнями. А это означало, что мне придется звонить каждому из них. Всю прошедшую неделю я упорно занималась этой проблемой, часами просиживая в Интернете, перелистывая телефонные справочники, набирая бесконечные номера и раз за разом оказываясь ни с чем.

Но как раз сегодня утром я разговаривала с Натали Дюфэр, чей номер телефона был зарегистрирован в Париже. Мне ответил молодой жизнерадостный голос. Я пустилась в рутинные объяснения, повторяя то, что уже неоднократно говорила незнакомцам на другом конце линии: «Меня зовут Джулия Джермонд, я журналист, я пытаюсь разыскать Сару Дюфэр, которая родилась в тысяча девятьсот тридцать втором году. Единственные известные мне родственники — Гаспар и Николя Дюфэры...» Она перебила меня: да, Гаспар Дюфэр был ее дедушкой. Он жил в Ашере-ле-Марше, неподалеку от Орлеана. У него имелся и номер телефона, правда, незарегистрированный. Затаив дыхание, я вцепилась в телефонную трубку. Я поинтересовалась у Натали, а не помнит ли она случайно Сару Дюфэр? Молодая женщина рассмеялась. У нее был приятный смех. Она объяснила, что родилась в восемьдесят втором году и о детстве своего деда знает очень немного. Нет, она ничего не слышала о Саре Дюфэр. По крайней мере, не помнит ничего конкретного. Если я хочу, она может позвонить деду. Вообще-то, он неприветливый и грубоватый тип, он ненавидит телефон, но она может поговорить с ним, а потом перезвонит мне. Она попросила мой номер телефона. А потом добавила:

— Вы американка? Мне нравится ваш акцент.

Я ждала ее звонка целый день. Ничего. Я беспрестанно хваталась за свой мобильный телефон, чтобы удостовериться, что батарея заряжена и что он включен, как и полагается. По-прежнему ничего. Быть может, Гаспару Дюфэру было неинтересно разговаривать с какой-то журналисткой о Саре. Быть может, я была недостаточно убедительна. Быть может, мне не стоило говорить о том, что я

журналистка. Быть может, мне следовало представиться, скажем, другом семьи. Но я не могла сказать так. Это было бы неправдой. Я не могла солгать. И не хотела.


Ашере-ле-Марше. Я нашла это название на карте. Маленькая деревушка на полпути между Орлеаном и Питивьером, братом-близнецом концентрационного лагеря в Бюн-ла-Роланде, и совсем рядом с ним, оказывается. Но это был не старый адрес Жюля и Женеьевы. Итак, десять лет своей жизни Сара провела совсем не там.

Меня охватило нетерпение. Может быть, мне следует самой перезвонить Натали Дюфэр? Пока я раздумывала над такой возможностью, зазвонил мой мобильный телефон. Я схватила его и выдохнула в трубку:

— Алло?

Но это оказался мой муж, который звонил из Брюсселя. Я испытала прилив острого разочарования.

Внезапно я поняла, что не хочу разговаривать с Бертраном. Да и что я могла ему сказать?



Ночью мне не удалось заснуть или хотя бы отдохнуть. На рассвете в палату ко мне вошла представительная медсестра, держа в руках сложенный голубой бумажный халат. Он понадобится мне для операции, улыбнулась она. В комплекте к нему прилагалась бумажная шапочка и бумажные же тапочки. Медсестра сообщила, что вернется через полчаса, после чего отвезет меня на каталке прямо в операционную. Все с той же сердечной улыбкой она напомнила, что ввиду предстоящего наркоза мне нельзя ничего пить и есть. И ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мне стало интересно, скольких еще женщин она намеревается разбудить в это утро с той же улыбкой и скольким еще женщинам предстоит пройти выскабливание. Как и мне.

Я послушно надела халат. От бумажной ткани у меня зачесалась кожа. Заняться мне было совершенно нечем и оставалось только ждать. Я включила телевизор и нашла канал круглосуточной службы новостей. Я смотрела на экран, но ничего не видела. Мой мозг, казалось, оцепенел и умер. В голове у меня царила полнейшая пустота. Через час или около того все будет кончено. Готова ли я к этому? Справлюсь ли с тем, что собираюсь сделать? Ответа на эти вопросы у меня не было. Я могла только лежать в своем бумажном халате и бумажной шапочке, и ждать. Ждать, пока меня отвезут на каталке в операционную. Ждать, пока меня усыпят. Ждать, пока врач сделает свое дело. Мне не хотелось думать о тех движениях, которые он будет производить внутри меня, между раздвинутых ног. Я постаралась как можно быстрее прогнать эту мысль, сосредоточившись на том, о чем вещала стройная и гибкая блондинка, совершавшая загадочные пассы наманикюренными пальчиками над картой Франции, усеянной улыбающимися круглыми солнечными рожицами. Я вспомнила последний сеанс у психотерапевта, который состоялся на прошлой неделе. Руку Бертрана у себя на колене. «Нет, мы не хотим этого ребенка. Мы оба согласны с этим». Я хранила молчание. Терапевт взглянул на меня. Кивнула ли я ему? Не помню. Я помню, что чувствовала какое-то странное спокойствие, словно находилась под гипнозом. И слова Бертрана, уже в машине: «Это было правильное

решение, любовь моя. Вот увидишь. Все пройдет». И то, как он поцеловал меня потом, горячо и страстно.

Блондинка исчезла. Ее сменил диктор, и прозвучали знакомые аккорды, предваряющие выпуск новостей. *«Сегодня, шестнадцатого июля две тысячи второго года, отмечается шестидесятая годовщина облавы „Велодром д'Ивер“, в ходе которой французская полиция арестовала тысячи евреев. Это черное пятно на прошлом Франции».*

Я быстро прибавила звук. Камера дала панораму улицы Нелатон, и я вспомнила о Саре, думая о том, где она может быть сейчас. Она-то наверняка помнит, какой сегодня день. И не нуждается в напоминаниях. Ни она, ни тысячи других семей, которые потеряли своих родных и близких, никогда не забудут день шестнадцатого июля, и сегодня утром глаза их наполнятся горькими слезами. Я хотела сказать ей и всем этим людям — но как, подумала я, остро ощущая свою беспомощность и бесполезность, — я хотела крикнуть ей и им всем, что я знаю и помню о них, и никогда не смогу забыть.

Перед мемориальной табличкой на «Вель д'Ив» выстроились те, кому посчастливилось выжить, с некоторыми из них я уже встречалась и брала у них интервью. Тут я сообразила, что еще не видела выпуск «Зарисовок Сены» на этой неделе со своей статьей. Я решила оставить сообщение на мобильном телефоне Бамбера с просьбой прислать один экземпляр в клинику. Я включила телефон, не сводя глаз с экрана телевизора. Появилось мрачное и торжественное лицо Франка Леви. Он говорил о годовщине этих страшных событий. Он подчеркнул, что она будет иметь большее значение, чем в прошедшие годы. Телефон коротко пискнул, сообщая о том, что я получила голосовую почту. Одно из сообщений прислал Бертран, поздно ночью, сказав, что любит меня.

Следующее сообщение пришло от Натали Дюфэр. Она извинялась за то, что связывается со мной так поздно, но позвонить раньше она не смогла. У нее появились хорошие новости: ее дед согласился встретиться со мной, и он пообещал рассказать мне все, что знает о Саре Дюфэр. Кажется, он очень разволновался, чем несказанно возбудил любопытство Натали. Ее возбужденный голос заглушил торжественный и мрачный речитатив Франка Леви: «Если хотите, завтра, во вторник, я могу отвезти вас в Ашере, никаких проблем. Мне

самой хочется услышать, что расскажет вам дедушка. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы мы могли договориться о встрече».

Сердце бешено заколотилось в груди, причиняя мне почти физическую боль. На экране вновь появился диктор, он перешел к другим сообщениям. Было еще рано звонить Натали Дюфэр. Мне придется подождать пару часов. Я в нетерпении пританцовывала на месте в своих бумажных шлепанцах. «...расскажет мне все, что знает о Саре Дюфэр». Интересно, что сможет сообщить Гаспар Дюфэр? Что я узнаю от него?

Стук в дверь заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Ослепительная улыбка медсестры заставила вернуться к действительности.

— Нам пора, мадам, — коротко бросила она, обнажая десны и зубы в жизнерадостном волчьем оскале.

Я услышала, как за дверью, в коридоре, скрипнули колесики каталки.

И внезапно мне стало ясно, как я должна поступить. Оказывается, все очень легко и просто.

Я встала с кровати и повернулась к ней.

— Извините, — негромко сказала я. — Я передумала.

Я стянула с головы бумажную шапочку. Она смотрела на меня, как будто лишилась дара речи.

— Но, мадам... — начала было она.

Я резко рванула бумажный халат, отчего он разорвался на груди. Медсестра отвела глаза в сторону, смущенная моей неожиданной наготой.

— Врачи ждут вас, — только и смогла сказать она.

— Меня это не касается, — решительно заявила я. — Я не буду делать аборт. Я хочу оставить этого ребенка.

От возмущения у нее задрожали губы.

— Я сию же минуту пришлю к вам доктора.


Медсестра величественно развернулась и удалилась. Я услышала шлепанье ее сандалий по линолеуму, в нем явственно звучало неодобрение. Натянув джинсовое платье, я сунула ноги в туфли, схватила сумочку и вышла из комнаты. Когда я сломя голову неслась вниз по лестнице, мимо ошеломленных и изумленных медицинских сестер, то сообразила, что забыла в ванной зубную щетку, полотенца,

шампунь, мыло, дезодорант, косметический набор и крем для лица. Ну и пусть, подумала я, выскакивая в опрятный и строгий вестибюль, ну и пусть! Ну и пусть!

Улица была совершенно пуста, она радовала глаз той сверкающей чистотой, которую обретают парижские улицы ранним утром. Я поймала такси и поехала домой.

Шестнадцатое июля две тысячи второго года.

Мой ребенок. Мой ребенок остался жить во мне. Мне хотелось и плакать, и смеяться. Я не стала сдерживаться. Водитель недоуменно взглянул на меня несколько раз в зеркальце заднего вида, но мне было наплевать. Я собиралась родить этого ребенка.



По моим грубым прикидкам, на берегу Сены, у моста Бир-Хакейм, собрались несколько тысяч человек. Те, кому удалось выжить. Их семьи. Дети, внуки. Раввины. Мэр города. Премьер-министр. Министр обороны. Многочисленные политики. Журналисты. Фотографы. Франк Леви. Тысячи цветов, парящий шатер, белая платформа. Впечатляющее сборище. Рядом со мной стоял Гийом, на лице скорбь, глаза опущены.

Я на мгновение вспомнила пожилую даму с рю Нелатон. Как она тогда сказала? «Никто ничего не помнит. Да и почему кто-то должен помнить об этом? Это были самые черные дни в истории нашей страны».

Внезапно мне стало очень жаль, что ее не было сейчас здесь, с нами. Она могла бы своими глазами увидеть сотни молчаливых, взволнованных людей вокруг меня. С помоста раздавался великолепный голос красивой женщины средних лет с пышными золотисто-рыжими волосами. Она пела, и ее было слышно даже сквозь шум уличного движения на набережной. Потом началось выступление премьер-министра.

— Шестьдесят лет назад, прямо здесь, в Париже, и во всей Франции произошла чудовищная трагедия. Закрутились и набрали ход безжалостные колеса государственного преступления. Тень Холокоста накрыла невинных людей, которых согнали на стадион «Велодром д'Ивер». И сегодня, как и каждый год, мы собрались здесь, на этом месте, для того чтобы вспомнить и не забывать об этом. Чтобы никогда не забыть о преследованиях, об охоте на людей, о разрушенных судьбах многих французских евреев. [\[56\]](#)

Пожилый мужчина слева от меня достал из кармана носовой платок и приложил его к глазам. Меня охватила жалость. О ком он плачет, подумала я. Кого он потерял? Премьер-министр продолжал свою речь, а я обвела глазами собравшихся. Есть ли здесь кто-нибудь из тех, кто знал и помнил Сару Старжински? Может быть, она сама тоже присутствует здесь? Прямо сейчас, в этот самый момент? Может быть, она тоже стоит здесь с мужем, сыном или дочерью, внуком или

внучкой? Передо мной или позади меня? Я принялась высматривать в толпе женщин, которым перевалило за семьдесят, выискивая раскосые светлые глаза. Но мне стало как-то неуютно, когда я сообразила, что неприлично так назойливо разглядывать незнакомых людей, когда они скорбят и оплакивают мертвых. Я опустила глаза. А голос премьер-министра, кажется, набрал силы и четкости, он звучал над нами, проникая в сердца и души.

— Да, «Вель д'Ив», Дранси и все остальные транзитные концентрационные лагеря, эти предвестники смерти, были организованы, управлялись и охранялись французами. Да, мы должны признать, что первый шаг к Холокосту был сделан здесь, при попустительстве французского государства.

Лица собравшихся казались мне ясными и невозмутимыми, все они внимали премьер-министру. Я наблюдала за ними, пока он тем же сильным и ясным голосом продолжал свое выступление. Но на всех лицах отпечатались печаль и скорбь. Скорбь, которая не исчезнет никогда. Премьер-министру долго аплодировали. Я видела, как кое-где люди начали плакать и обниматься, поддерживая и успокаивая друг друга.

По-прежнему в сопровождении Гийома я направилась к Франку Леви, который держал под мышкой экземпляр «Зарисовок Сены». Он тепло приветствовал меня и представил нескольким журналистам. Через пару минут мы ушли. Я сказала Гийому, что знаю теперь, кто жил в квартире Тезаков, и это знание каким-то образом сблизило меня со свекром, который носил в себе эту мрачную тайну в течение долгих шестидесяти лет. Сказала я ему и о том, что теперь пытаюсь разыскать Сару, маленькую девочку, которая сумела бежать из Бюн-ла-Роланда.

Спустя полчаса я должна была встретиться с Натали Дюфэр перед входом на станцию метро «Пастер». Она собиралась отвезти меня в Орлеан, к своему деду. Гийом ласково поцеловал меня и обнял на прощание. Он сказал, что желает мне удачи.


Переходя шумную авеню с оживленным движением, я поглаживала живот ладонью. Если бы я не удрала из клиники сегодня утром, то сейчас приходила бы в себя после наркоза в уютной абрикосовой палате, под наблюдением сияющей улыбкой медицинской сестры. После скудного и осторожного завтрака — *croissant*,^[57] джем и *café au lait*^[58] — я бы в одиночку покинула клинику, нетвердо ступая, с

прокладкой между ногами и тупой болью в нижней части живота. И звенящей пустотой в голове и в сердце.

От Бертрана не было никаких известий. Или, быть может, ему уже позвонили из клиники, чтобы сообщить, что я ушла оттуда до операции? Не знаю. Он по-прежнему находился в Брюсселе и должен был вернуться только сегодня вечером.

Я задумалась над тем, как сумею объяснить ему свое решение. И как он его воспримет.

Торопливо шагая вниз по авеню Эмиля Золя, чтобы не опоздать на встречу с Натали Дюфэр, я вдруг поймала себя на том, что меня больше не волнует, что подумает Бертран о моем поступке и что он при этом почувствует. Эта мысль привела меня в ужас.



Вечер едва наступил, когда я вернулась из Орлеана. В квартире было жарко и душно. Я подошла к окну, открыла его и высунулась наружу, вдыхая шумный аромат бульвара дю Монпарнас. Мне до сих пор трудно было представить себе, что вскоре мы переедем отсюда на тихую рю де Сантонь. А ведь мы прожили здесь двенадцать лет. Зоя в первый раз в жизни сменит место жительства. Это будет наше последнее лето здесь, мелькнула у меня мысль. Я полюбила эту квартиру, где каждый день послеобеденное солнце заливало лучами гостиную и откуда было рукой подать до Люксембургского сада, стоило лишь немного пройти вниз до рю Вавен. Мы жили в самом сердце одного из наиболее шумных *arrondissement* Парижа, в таком месте, где можно было по-настоящему ощутить ритм жизни большого города, биение его пульса.

Я сбросила с ног сандалии и вытянулась на мягком диване цвета беж. События прошедшего дня свинцовой тяжестью навалились на меня. Но не успела я смежить веки, как резкий телефонный звонок вернул меня к действительности. Это оказалась сестра, она звонила из своего офиса, выходящего окнами на Центральный парк. Я живо представила, как она сидит за своим огромным столом, с очками для чтения, сдвинутыми на самый кончик носа.

Я сообщила ей о том, что не сделала аборт.

— О Господи, — выдохнула Чарла. — Ты все-таки не сделала этого.

— Я не смогла, — ответила я. — Это оказалось выше моих сил.

Я почувствовала по ее тону, что она улыбается, улыбается своей широкой, неотразимой улыбкой.

— Ты храбрая, замечательная девочка, — сказала она. — Я горжусь тобой, родная.

— Бертран до сих пор ни о чем не подозревает, — продолжала я. — Он должен вернуться поздно вечером. Скорее всего, он думает, что я таки сделала аборт.


Трансатлантическая пауза.

— Ты ведь расскажешь ему обо всем, не так ли?

— Естественно. Я должна буду это сделать.

После разговора с сестрой я долго лежала на диване, сложив руки на животе, как щитом прикрывая новую жизнь, зародившуюся в нем. Постепенно я ощутила, как ко мне возвращаются силы и энергия.

Как всегда, мысли мои вскоре вернулись к Саре Старжински и к тому, что мне удалось узнать. Мне не понадобился диктофон, чтобы записать свой разговор с Гаспаром Дюфэром. И блокнот тоже оказался не нужен. Мое сердце и так запомнило все до мельчайших подробностей.



Маленький, аккуратный и опрятный домик на окраине Орлеана. Строгие и чопорные цветочные клумбы. Старая, мирная, подслеповатая собака. Пожилая дама, нарезающая овощи на салат у раковины, кивком головы приветствовала меня, когда я вошла в дом.

Хриплый и грубоватый голос Гаспара Дюфэра. Его старческая рука с голубыми прожилками вен, глядящая пса по седой голове. Вот что он рассказал мне.

— Мы с братом знали о том, что во время войны творились страшные вещи. Но мы тогда были совсем маленькими, поэтому не запомнили, что именно случилось. И только после смерти дедушки с бабушкой я узнал от отца, что Сару Дюфэр на самом деле звали Сарой Старжински и что она была еврейкой. Дедушка с бабушкой прятали ее все эти годы. В Саре таилась какая-то печаль, в ней не было веселья и радости жизни. Нам сказали, что дедушка с бабушкой удочерили ее, потому что ее родители погибли во время войны. Вот и все, что мы знали. Но мы и так видели, что она совсем другая. Когда она приходила в церковь, то губы у нее не шевелились, когда все читали «Отче наш». Она никогда не молилась. Она никогда не исповедовалась и не причащалась. Она просто смотрела прямо перед собой с застывшим лицом, которое приводило меня в ужас. В таких случаях дедушка с бабушкой вымученно улыбались и говорили, чтобы мы оставили Сару в покое. Родители поступали точно так же. Мало-помалу Сара стала частью нашей жизни, нашей старшей сестрой, которой у нас никогда не было. Она превратилась в красивую задумчивую молодую девушку. Она была очень серьезной, даже слишком серьезной и взрослой для своих лет. После войны мы с родителями иногда ездили в Париж, но Сара всегда отказывалась составить нам компанию. Она говорила, что ненавидит Париж. Она говорила, что больше не хочет туда возвращаться.

— Она когда-нибудь вспоминала своего брата? Своих родителей? — спросила я.

Гаспар отрицательно покачал головой.

— Никогда. О том, что у нее был брат, и о том, что с ним случилось, я услышал от отца сорок лет спустя. Когда она жила с

нами, я ни о чем не догадывался.

В разговор вмешалась Натали Дюфэр. Нежным голоском она поинтересовалась:

— А что случилось с ее братом?

Гаспар Дюфэр бросил взгляд на любимую внучку, которая внимала каждому его слову, стараясь ничего не пропустить. Потом посмотрел на жену, которая за все время не проронила ни слова и только добродушно поглядывала на нас.


— Я расскажу тебе об этом в другой раз, Нату. Это очень печальная история.

Воцарилось долгое молчание.

— Месье Дюфэр, — обратилась я к старику, — мне нужно знать, где Сара Старжински находится сейчас. Именно поэтому я и приехала к вам. Вы можете мне помочь?

Гаспар Дюфэр задумчиво почесал в затылке и бросил на меня насмешливый взгляд.

— А *мне* очень нужно знать, мадемуазель Жармон, [\[59\]](#) — ухмыльнулся он, — почему это имеет для вас такое значение.



Телефон зазвонил снова. Это была Зоя, из Лонг-Айленда. Она веселилась от души, погода стояла прекрасная, она уже загорела, у нее появился новый велосипед, ее двоюродный брат Купер оказался чистюлей, но она скучает по мне. Я ответила, что тоже очень соскучилась и рассчитываю присоединиться к ней дней через десять, самое позднее. Потом она понизила голос и поинтересовалась, удалось ли мне разузнать, где живет сейчас Сара Старжински. Серьезность ее тона вызвала у меня улыбку. Я сообщила, что, в общем, у меня намечился в этом деле некоторый прогресс и что скоро я расскажу ей все.

— Ой, мама, а в чем заключается этот прогресс? — затараторила она. — Я должна узнать! Скажи мне! Сейчас же!

— Ну хорошо, — согласилась я, уступая ее настойчивости. — Сегодня я встречалась с одним человеком, который хорошо знал ее, когда она была молодой девушкой. Он сказал мне, что в пятьдесят втором году Сара уехала из Франции в Нью-Йорк, чтобы стать няней в американской семье.

Зоя завизжала от восторга.

— Ты хочешь сказать, что она сейчас в Штатах?

— Я надеюсь на это, — ответила я.

Короткая пауза.

— А как ты собираешься найти ее в Штатах, мама? — поинтересовалась Зоя, и голос ее показался мне уже не таким жизнерадостным. — США ведь намного больше Франции.

— Пока не знаю, родная, — со вздохом призналась я. Я послала ей горячий поцелуй в трубку, пожелала удачи и дала отбой.


«А мне очень нужно знать, мадемуазель Жармон, почему это имеет для вас такое значение». Под влиянием минуты, не раздумывая, я решила рассказать Гаспару Дюфэру всю правду. Каким образом Сара Старжински вошла в мою жизнь. Как я узнала ее страшную тайну. И как она оказалась связана с моими родственниками со стороны мужа. И почему теперь, когда я знала правду о событиях лета сорок второго года (общего плана, скажем так, — «Вель д'Ив», Бюн-ла-Роланд, и личных — смерть маленького Мишеля Старжински в квартире

Тезаков), поиски Сары обрели для меня особый смысл, превратившись в задачу первостепенной важности, выполнить которую я должна была во что бы то ни стало.

Гаспар Дюфэр явно удивился моей настойчивости. Для чего вам искать ее, зачем она вам нужна, спросил он, покачивая седой головой. Я ответила: чтобы сказать ей, что нам не все равно, что мы ничего не забыли. «Мы», улыбнулся он, кто такие «мы»: мои родственники со стороны мужа или вообще все французы? А я резко бросила в ответ, слегка раздосадованная его ухмылкой: нет, я, я, это я хотела извиниться перед нею, это я хотела сказать ей, что я не забыла об облаве, о концентрационном лагере, о смерти Мишеля. Я хотела сказать ей, что не забыла и о поездах в Аушвиц, которые увезли ее родителей на смерть. За что вы должны извиняться, в свою очередь, вспыхнул он, вы, американка? За что вы должны извиняться? Разве не ваши соотечественники в июне сорок четвертого года освободили Францию? Так что вам не за что извиняться, рассмеялся он.

Я взглянула ему прямо в глаза.

— Я хочу извиниться за то, что не знала о случившемся. За то, что мне сорок пять лет, а я ничего не знала.



Сара покинула Францию в конце пятьдесят второго года. Она уехала в Америку.

— Почему именно в Соединенные Штаты? — спросила я.

— Она заявила нам, что должна уехать отсюда, уехать в такое место, которого непосредственно не коснулся Холокост, как это случилось с Францией. Мы все были очень расстроены. Особенно мои дедушка и бабушка. Они любили ее, как родную дочь, которой у них никогда не было. Но она стояла на своем. И уехала. Назад она уже не вернулась. По крайней мере, насколько мне известно.

— И что же с нею стало потом? — продолжила я расспросы, и в голосе у меня прозвучало то же нетерпеливое ожидание, что и у Натали несколькими минутами ранее.

Гаспар Дюфэр глубоко вздохнул и пожал плечами. Он встал с кресла, и за ним последовала его старенькая полуслепая собака. Его жена приготовила для меня еще одну чашечку крепчайшего кофе. И только их внучка хранила молчание, свернувшись клубочком в глубоком кресле, переводя взгляд с деда на меня и обратно. Она навсегда запомнит наш разговор, почему-то подумала я. Она навсегда запомнит все, о чем здесь шла речь.

Старик снова с кряхтением уселся в кресло и протянул мне чашку с кофе. Он обвел взглядом небольшую комнатку, выцветшие фотографии на стене, старую мебель. Потом почесал в затылке и вздохнул. Я ждала, и Натали ждала тоже. Наконец он заговорил.

После пятьдесят пятого года они больше не имели от Сары известий.

— Она несколько раз писала дедушке с бабушкой. А год спустя прислала им открытку с сообщением о том, что выходит замуж. Я помню, как отец сказал нам, что Сара выходит замуж за янки. — Гаспар улыбнулся. — Мы были очень рады за нее. Но после этого больше не было ни звонков, ни писем. Ни одного. Дедушка с бабушкой пытались разыскать ее. Они сделали все, что было в их силах, звонили в Нью-Йорк, писали письма, посылали телеграммы. Они попытались найти ее мужа. Сара исчезла. Для них это стало тяжелым ударом. Год за годом они ждали — ждали звонка, письма, открытки. Но не

дождались. В начале шестидесятых умер дед, а через несколько лет преставилась и бабушка. Думаю, они умерли с разбитым сердцем.

— Знаете, ваши дедушка с бабушкой достойны того, чтобы называться Праведными представителями нации, — серьезно сказала я.

— Что это означает? — озадаченно поинтересовался Гаспар.


— Институт «Йад Вашем» в Иерусалиме вручает медали с таким названием тем неевреям, которые спасали евреев во время войны. Эту медаль можно получить и посмертно.

Пожилый мужчина откашлялся, избегая смотреть мне в глаза.

— Просто найдите ее. Пожалуйста, найдите ее, мадемуазель Жармон. Скажите ей, что я скучаю по ней. И мой брат Николя тоже. Скажите ей, что мы любим ее.

Я уже собиралась уходить, когда он вручил мне письмо.

— Бабушка написала его моему отцу после войны. Может быть, вы захотите взглянуть на него. А когда прочтете, верните письмо Натали.



Позже, вернувшись домой, я принялась разбирать старомодный почерк. Читая письмо, я плакала. Но потом все-таки сумела взять себя в руки и вытерла слезы.

После этого я позвонила Эдуарду и прочла ему письмо. У него был такой голос, словно он плакал, слушая меня, но при этом изо всех сил старался не показать этого. Поблагодарив сдавленным голосом, он повесил трубку.

8 сентября 1946 года

Ален, сыночек мой родной!

Когда на прошлой неделе Сара вернулась к нам после того, как провела лето у тебя с Генриеттой, на щеках у нее вновь появился румянец, а на губах улыбка. Мы с Жюлем поразились и обрадовались. Она сама напишет тебе, чтобы сказать «спасибо», но я хочу уже сейчас поблагодарить тебя за помощь и гостеприимство. Ты ведь помнишь, какими тяжелыми оказались прошедшие годы. Четыре года оккупации, страха, лишений. И для всех нас, и для страны. Эти четыре года стали очень тяжелыми и для нас с Жюлем, и особенно для Сары. Мне все время кажется, что она так и не оправилась от последствий тех страшных событий, которые произошли летом сорок второго года, когда мы отвели ее в бывшую квартиру, в которой она жила вместе с родителями в квартале Марэ. В тот день что-то в ней сломалось. Что-то ушло безвозвратно.

Нам было очень нелегко, и твоя поддержка оказалась неоценимой. Всем нам пришлось невыносимо тяжело, когда мы прятали Сару от врагов, старались стереть у нее из памяти события того страшного лета. Но теперь у Сары есть семья. Ее семья — это мы, мы все. Твои

сыновья, Николая и Гаспар стали ее братьями. Она полноправная Дюфэр. Она носит нашу фамилию.

Я знаю, что она никогда не забудет о том, что ей пришлось пережить. За ее розовыми щечками и улыбкой скрывается горькая печаль. Она никогда не станет нормальной четырнадцатилетней девочкой. Она превратилась во взрослую женщину, которой пришлось много страдать. Иногда мне кажется, что она старше меня. Она никогда не заговаривает о своей семье или о своем брате. Но я знаю, что они всегда с ней, она хранит память о них в своем сердце. Я знаю, что каждую неделю, иногда чаще, она ходит на кладбище, на могилу своего брата. Она хочет быть там одна. И всегда отказывается, когда я предлагаю пойти вместе с ней. Иногда я тайком слежу за ней, просто чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она садится перед маленьким надгробием и надолго замирает. Она может сидеть так часами, сжимая в руках латунный ключик, с которым никогда не расстанется. Это ключ от шкафа, в котором умер ее бедный маленький братик. Когда она возвращается домой, на лице у нее холодное и замкнутое выражение. Ей трудно разговаривать со мной, тяжело находить точки соприкосновения. Я стараюсь отдать ей всю свою любовь, ведь я люблю ее всем сердцем, люблю как дочь, которой у меня никогда не было.

Сара никогда не вспоминает о Бюн-ла-Роланде. Стоит нам случайно оказаться неподалеку от этой деревушки, лицо ее покрывается смертельной бледностью. Она отворачивается и закрывает глаза. Я иногда думаю о том, узнает ли когда-нибудь мир о том, что здесь творилось. Выплывет ли когда-нибудь наружу вся правда о тех событиях? Или навсегда останется тайной, похороненной в темном, кровавом прошлом?

Сразу после окончания войны Жюль часто ездил в Лютецию,^[60] иногда вместе с Сарой, чтобы повидаться с людьми, которые возвращались домой из лагерей. Мы не переставали надеяться, надеялись всей душой. Но теперь мы знаем. Ее родители уже никогда не вернутся домой. Они погибли в Аушвице тем страшным летом сорок второго года.

Иногда я думаю о детях, которым, как и Саре, пришлось пережить ад и которые теперь должны продолжать жить дальше, потеряв родных и близких. На их долю выпало столько страдания, столько боли. Саре пришлось пожертвовать всем, что у нее было: семьей, именем, религией. Мы никогда не говорили об этом, но я-то знаю, какая пустота образовалась у нее в душе и какой жестокой была ее потеря. Сара говорит о том, что хочет уехать из страны, начать все сначала, где-нибудь далеко отсюда, как можно дальше от всего, что было когда-то ей близко и дорого, и от всего того, через что ей пришлось пройти. Пока она еще слишком мала и слишком слаба, чтобы оставить ферму, но такой день непременно настанет. И мы с Жюлем должны будем отпустить ее.

Да, война закончилась наконец, но для твоего отца и для меня ничего уже не будет так, как прежде. Все изменилось, и это навсегда. Долгожданный мир имеет горький привкус. И меня одолевают дурные предчувствия относительно нашего будущего. Произошедшие события изменили лицо мира. И Франции. Наша страна так и не пришла в себя после страшных событий своей истории. Иногда я сомневаюсь в том, что она сумеет вообще когда-либо оправиться от них. Это больше не та Франция, которую я знала, когда была маленькой. Теперь я превратилась в старуху и знаю,

что дни мои сочтены. Но Сара, Гаспар и Никола... они по-прежнему молоды. Им придется жить в этой новой Франции. Я боюсь за них, и мне становится страшно, когда я думаю о том, что ждет их впереди.

Мой дорогой мальчик, я вовсе не собиралась писать тебе такое грустное письмо, но, увы, оно получилось именно таким, и я прошу у тебя прощения. У меня много работы в саду, надо покормить цыплят, так что заканчиваю. Позволь мне еще раз поблагодарить тебя за все, что ты сделал для Сары. Да благословит Господь вас обоих за вашу доброту, щедрость, за вашу верность, и смилостивится Господь над твоими мальчиками.

Твоя любящая мать Женевьева.

Еще один звонок. На этот раз голос подал мой сотовый. Наверное, следовало бы выключить его. Это оказался Джошуа, чем очень меня удивил. Обычно в столь поздний час он никогда не звонил.

— Только что видел тебя в выпуске новостей, сладкая моя, — нараспев произнес он. — Ты выглядела так аппетитно, что мне захотелось тебя съесть. Немного бледна, но в целом ты произвела прекрасное впечатление.

— В новостях? — непонимающе спросила я. — В каких новостях?

— Я включил телевизор в восемь вечера, чтобы посмотреть вечерний выпуск новостей... И что я вижу? Свою очаровательную Джулию рядом с премьер-министром.

— А-а, — наконец поняла я, — церемония памяти жертв «Вель д'Ив».

— Хорошая речь, тебе не кажется?

— Да, очень хорошая.

Пауза. Я слышала, как щелкает его зажигалка, когда он прикуривал очередную сигарету, свою любимую «Мальборо», в серебристой пачке, из тех, что продаются только в Штатах. Мне не нравилось происходящее. Обычно он прямолинеен. Временами даже слишком.

— В чем дело на этот раз, Джошуа? — устало спросила я.

— Ни в чем, собственно. Я просто позвонил, чтобы сказать, что ты сделала великолепную работу. Сейчас все только и говорят, что о твоей статье, посвященной событиям на «Вель д'Ив». Так что я просто хотел сказать тебе об этом. И фотографии у Бамбера получились отличные. Словом, вы, ребята, прекрасно потрудились.

— Ага, — пробормотала я. — Спасибо.

Но я знала его достаточно хорошо, чтобы удовлетвориться столь простым объяснением.

— Что-нибудь еще? — осторожно поинтересовалась я.

— Меня беспокоит одна вещь.

— Выкладывай, — сказала я.

— Знаешь, мне показалось, что в статье кое-чего все-таки не хватает. Ты упомянула всех — тех, кто выжил, тех, кто видел происходящее своими глазами, упомянула даже того старика в Бюне. Все это замечательно, никто не спорит. Но ты упустила кое-что. Полицейских. Французских полицейских.

— Ну и... — сказала я, чувствуя, как меня охватывает отчаяние. — При чем тут французские полицейские?

— Было бы очень неплохо, если бы ты сумела заставить разговаривать парней, которые участвовали в облаве. Может быть, ты найдешь парочку полицейских, чтобы выслушать историю в их изложении? Пусть даже они сейчас совсем уже старики. Интересно, что эти парни рассказывали своим детям? И вообще, знают ли их семьи о том, что случилось?

Конечно, он был прав. А мне это даже и в голову не пришло. Раздражение куда-то исчезло. Я молчала, раздавленная и уничтоженная.

— Эй, Джулия, не расстраивайся, — донесся до меня смешок Джошуа. — Ты блестяще справились с задачей. Кто знает, может, эти полицейские вообще не пожелали бы с тобой разговаривать. Держу пари, во время своих изысканий ты встретила совсем немного упоминаний о них, верно?

— Верно, — ответила я. — Если подумать, я вообще не встретила о них ни слова. О том, что они при этом чувствовали. Выходит, они просто делали свою работу, и все.

— Ну да, свою обычную работу, — подхватил Джошуа. — Но мне, например, очень хотелось бы знать, как они потом жили с этим. И, если уж на то пошло, как поживают те ребята, которые вели поезда из Дранси в Аушвиц? Они-то знали, что за груз перевозят? Или на самом деле были уверены, что это скот? Догадывались ли о том, куда везут этих людей и что с ними будет после? А водители автобусов? Они знали о чем-нибудь?

Разумеется, он был прав во всем, как ни крути. Я хранила молчание. Хороший журналист непременно взялся бы раскапывать эту историю, невзирая на все запреты. Французская полиция, французские железные дороги, французский общественный транспорт, автобусы.

Но я сосредоточилась только на детях «Вель д'Ив». Это превратилось для меня в своего рода навязчивую идею. Особенно


один, вполне конкретный ребенок.

— Джулия, ты в порядке? — вновь раздался в трубке голос Джошуа.

— Все отлично, — солгала я.

— Тебе нужно немного отдохнуть, — заявил он. — Садись в самолет и слетай домой.

— Именно так я и собиралась поступить.



Натали Дюфэр стала последней, кто позвонил мне в этот богатый событиями вечер. Она буквально захлебывалась от восторга. Я представила себе, как разрумянилось ее лицо, словно у беспризорника, которому дали конфету, а карие глаза горят восхищением.

— Джулия! Я просмотрела все бумаги дедушки. И нашла... Я нашла открытку от Сары!

— Открытку от Сары? — в недоумении повторила я.

— Ту самую открытку, последнюю, в которой она сообщала, что выходит замуж. И там она упоминает фамилию своего мужа.

Я схватила ручку, беспомощно огляделась по сторонам в поисках какого-нибудь клочка бумаги. Тщетно. Под рукой ничего не оказалась.

— И эта фамилия...

— Она написала, что выходит замуж за человека по имени Ричард Дж. Рейнсферд. — Натали продиктовала фамилию по буквам. — Открытка датирована пятнадцатым марта тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Обратного адреса нет. Больше вообще ничего нет. Только это.

— Ричард Д. Рейнсферд, — повторила я, записывая фамилию печатными буквами на ладони.

Я поблагодарила Натали, пообещала держать ее в курсе своих поисков и набрала номер Чарлы в Манхеттене. Трубку подняла ее ассистентка, Тина, попросившая меня немного подождать. Наконец я услышала голос Чарлы.

— Это снова ты, сестренка?

Я решила не тратить времени и сразу перешла к делу.

— Как вы ищете кого-нибудь в Штатах, какого-нибудь человека, который тебе нужен?

— По телефонному справочнику, — ответила Чарла.

— Так просто?

— Есть и другие способы, — загадочно прошептала моя сестрица.

— Можно отыскать человека, который исчез еще в пятьдесят пятом году?

— У тебя есть номер карточки его социального страхования, номер автомобиля или хотя бы адрес?

— Нет. Ровным счетом ничего.


Чарла задумчиво присвистнула.

— Н-да, это будет нелегко. Может, и не получится ничего. Во всяком случае, я попытаюсь, у меня есть пара знакомых, которые могут помочь. Дай мне имя и фамилию.

В это самое мгновение я услышала, как хлопнула входная дверь и зазвенели ключи, брошенные на столик.

Мой супруг вернулся из Брюсселя.

— Я перезвоню тебе позже, — прошептала я и повесила трубку.



Бертран вошел в комнату. Он выглядел усталым и бледным, лицо его осунулось. Он подошел ко мне и обнял. Я почувствовала, как он зарылся лицом в мои волосы.

Наверное, мне следует сразу же признаться во всем.

— Я не смогла, — сказала я.

Бертран не пошевелился.

— Я знаю, — ответил он. — Мне звонил врач.

Я осторожно высвободилась из его объятий.

— Я просто не могла сделать это, Бертран.

Муж улыбнулся мне чужой, незнакомой улыбкой, в которой сквозило отчаяние. Он подошел к столику на колесах у окна, на котором мы держали спиртное, и налил себе бокал коньяку. Я обратила внимание, что выпил он его одним глотком, запрокинув назад голову. Жест получился грубым, и он меня напугал.

— И что теперь? — спросил он, со стуком опуская бокал на столик. — И что мы будем делать теперь?

Я попыталась улыбнуться, но поняла, что улыбка выглядит фальшивой и безжизненной. Бертран присел на диван, ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Потом он сказал:

— Я не могу смириться с мыслью о том, что у меня будет еще и этот ребенок, Джулия. Я пытался объяснить тебе это. Но ты не пожелала меня слушать.

В его голосе прозвучало что-то такое, что заставило меня пристально всмотреться в него. Он выглядел опустошенным и безвольным. На мгновение перед глазами у меня всплыло бесконечно усталое лицо Эдуарда Тезака, то выражение, с которым он рассказывал мне в машине о возвращении Сары.

— Я не могу запретить тебе рожать этого ребенка. Но я хочу, чтобы ты поняла, что я не могу с этим смириться. Этот ребенок погубит меня.

Мне захотелось пожалеть его, он выглядел таким потеряннным и беззащитным, но неожиданно меня охватил гнев.

— Погубит тебя? — повторила я.

Бертран встал с дивана, налил себе еще коньяку. Я отвела глаза, чтобы не видеть, как он пьет.

— Ты когда-нибудь слышала о кризисе среднего возраста, *amour*? Вам, американцам, очень нравится это выражение. Ты была настолько увлечена своей работой, своими друзьями, своей дочерью, что даже не заметила, что со мной происходит. И через что мне пришлось пройти. У меня сложилось впечатление, что тебе все равно. Это правда?

Я молча смотрела на него, не веря своим ушам.

Он прилег на диван. Медленно и демонстративно, глядя в потолок. Раньше я никогда не замечала за ним столь нарочитого поведения. Кожа у него на лице была морщинистой и помятой. И внезапно я поняла, что смотрю на постаревшего Бертрانا. Молодой Бертран исчез. Он всегда буквально лучился энергией, силой, обаянием, молодостью. Он был из тех, кто просто не может сидеть на месте, пребывая в постоянном движении, поиске новых впечатлений и ощущений. А мужчина, на которого я сейчас смотрела, казался бледной тенью себя прежнего. Когда же это случилось? Почему я ничего не заметила? Бертран и его заразительный смех. Его шутки. Его смелость и дерзость. Это ваш муж, в священном ужасе шептали люди, шептали с завистью, пораженные его бьющей через край энергией. Бертран на вечеринках, на обедах, на любом мероприятии всегда оказывался в центре внимания, но никто не возражал, ведь он был очарователен. Бертран. Как он смотрел на меня, с волшебным блеском в голубых глазах и своей дьявольской улыбкой!

Сегодня вечером в нем не осталось ни силы, ни энергии, ни капли нервного напряжения, которое одно и составляло стержень его природы, смысл существования. Из него как будто выпустили воздух. Он лежал на диване, вялый и безжизненный. В глазах у него стояла тоска, рот безвольно приоткрылся.

— Ты даже не заметила, что мне пришлось пережить. Скажи, ведь не заметила?

Голос его звучал тускло и невыразительно. Я опустила на диван рядом с ним, погладила его по руке. Разве я могла признаться в том, что ничего не замечала? Разве я смогу когда-нибудь объяснить ему, какой виноватой себя чувствую?

— Почему ты мне ничего не сказал, Бертран?

Уголки рта у него опустились вниз.

— Я пытался. Но у меня ничего не получалось.

— Почему?

Лицо его окаменело. Он коротко и сухо рассмеялся.

— Потому что ты не слушала меня, Джулия.

Я знала, что он прав. Я вспомнила ту ужасную ночь, его хриплый голос. Когда он признался мне, что больше всего на свете боится приближающейся старости. И тогда я поняла, что он слаб. Намного слабее, чем я себе представляла. И я отвела глаза. Мне стало стыдно и неприятно. Его слова вызвали у меня отвращение. А он это почувствовал. И не осмелился признаться в том, какую боль я ему причинила.

Я молчала, сидя рядом и держа его за руку. На меня вдруг обрушилась горькая ирония происходящего. Угнетенный супруг, погруженный в глубокую депрессию. Разваливающийся на глазах брак. И предстоящее рождение ребенка.

— Давай пойдем куда-нибудь перекусим, например в «Селект» или «Ротонду», а? — мягко предложила я. — И спокойно поговорим обо всем.

Он заставил себя встать.

— Пожалуй, в другой раз. Я очень устал.

Мне пришло в голову, что в последнее время он слишком часто чувствовал себя усталым. Слишком усталым, чтобы сходить в кино, или отправиться на пробежку по Люксембургскому саду, или сводить Зою в Версаль в воскресенье. Он чувствовал себя слишком усталым, чтобы заниматься любовью. Любовь... Когда мы занимались с ним любовью в последний раз? Несколько недель назад. Я смотрела, как он тяжело идет по комнате, смотрела на его неуверенную, усталую походку. Он поправился. И этого я тоже не замечала. Бертран всегда тщательно следил за своей внешностью. «Ты была настолько увлечена своей работой, своими друзьями, своей дочерью, что даже не заметила, что со мной происходит. Ты не хотела меня слушать, Джулия». Я почувствовала, как от стыда у меня загорелись щеки. Наверное, самое время взглянуть правде в глаза. В последние несколько недель Бертран выпал из моей жизни, пусть даже мы с ним делили одну постель и жили под одной крышей. Я не сказала ему ни слова о Саре Старжински. О своих новых отношениях с Эдуардом. Не сама ли я сознательно отстранила Бертрана от всего, что имело для меня

значение? Я исключила его из своей жизни, причем горькая ирония состояла в том, что я носила его ребенка.

Я услышала, как Бертран прошел на кухню, открыл холодильник, зашуршал фольгой. Он вернулся в гостиную, держа в одной руку куриную ножку, а в другой — фольгу.

— Я скажу тебе еще кое-что, Джулия.

— Да? — прошептала я.

— Когда я говорил тебе, что не смогу смириться с рождением этого ребенка, я действительно имел это в виду. И вот что я решил. Мне нужно побыть одному. Мне нужно отдохнуть и отвлечься. Закончится лето, и вы с Зоей переедете в квартиру на рю де Сантонь. Я подыщу себе жилье поблизости. А там посмотрим. Может быть, к тому времени я смогу свыкнуться с мыслью о твоей беременности. Если нет, мы разведемся.

Его слова не удивили меня. Я ожидала чего-то подобного с самого начала. Я встала, одернула платье и спокойно сказала:

— Единственное, что теперь имеет значение, это Зоя. Что бы ни случилось, мы должны будем поговорить с ней, ты и я. Мы должны будем подготовить ее. И мы обязаны сделать это правильно.


Он завернул куриную ножку обратно в фольгу.

— Почему ты стала такой жестокой, Джулия? — спросил он. В его голосе не было сарказма. Одна только горечь. — Ты ведешь себя в точности, как твоя сестра.

Не отвечая, я вышла из комнаты. Зайдя в ванную, я включила воду. И тут меня как громом поразило: получается, я уже сделала свой выбор? Я предпочла ребенка Бертрану. Меня отнюдь не смягчили ни его точка зрения, ни его внутренние страхи. Меня не испугало то, что он намерен оставить меня на несколько месяцев. Или даже навсегда. Бертран просто не мог исчезнуть. Он был отцом моей дочери и ребенка, которого я носила под сердцем. Он не мог просто взять и уйти из моей жизни.

Но, стоя перед зеркалом и глядя, как пар медленно размывает мое отражение своим горячим туманным дыханием, я понимала, что все изменилось самым радикальным образом. Люблю ли я Бертрана по-прежнему? По-прежнему ли нуждаюсь в нем? Как я могу хотеть его ребенка и отвергать его самого?

Мне хотелось плакать, но слез не было.



Я все еще лежала в ванне, когда вошел Бертран. Он держал в руках красную папку с надписью «Сара», которую я оставила в сумочке.

— Что это? — требовательно поинтересовался он, размахивая ею в воздухе.

От неожиданности я неловко пошевелилась, и вода перелилась через край. Лицо у Бертрана покраснелось, на нем было написано смятение и недовольство. Он с маху опустил на сиденье унитаза. В другое время и при других обстоятельствах я, наверное, рассмеялась бы над нелепостью такого поведения.

— Сейчас я тебе все объясню... — начала я.

Он приподнял руку.

— Ты не можешь жить спокойно, не так ли? Ты просто не можешь оставить прошлое в покое.

Он перелистывал бумаги в папке, мельком просматривая письма, которые Жюль Дюфэр писал Андрэ Тезаку, рассматривал фотографии Сары.

— Что это такое? Откуда это у тебя? Кто тебе дал все это?

— Твой отец, — негромко ответила я.

Он уставился на меня, не веря своим ушам.

— Какое отношение к этому может иметь мой отец?

Я вылезла из ванной, схватила полотенце и принялась вытираться, повернувшись к нему спиной. Почему-то мне не хотелось, чтобы он видел меня голой.

— Это долгая история, Бертран.

— Зачем тебе это нужно? Почему ты ворошишь прошлое? Это случилось шестьдесят лет назад! Прошлое забыто и похоронено.

Я резко развернулась к нему.

— Нет, ничего не забыто. Шестьдесят лет назад с твоей семьей кое-что произошло. Кое-что, о чем ты не знаешь. О чем не знаешь ни ты, ни твои сестры. И *Mamé* тоже ничего не знает.

От удивления у Бертрана отвисла челюсть. Кажется, он был потрясен.

— Что произошло? Немедленно расскажи мне! — потребовал он.

Я выхватила папку у него из рук и прижала к груди.

— Это *ты* расскажи, что ты себе позволяешь, роясь в моих вещах.

Мы вели себя, как маленькие дети, ссорящиеся в песочнице. Он драматически закатил глаза.

— Я увидел эту папку в твоей сумочке. Мне стало интересно, что это такое. Вот и все.

— У меня часто лежат папки в сумочке. Раньше ты никогда не проявлял такого интереса.

— Перестань. А теперь расскажи мне, что все это значит. И немедленно.

Я отрицательно покачала головой.

— Бертран, тебе придется позвонить своему отцу. Расскажи ему, что ты нашел эту папку в моей сумочке. Спроси его сам.

— Ты больше не доверяешь мне, я правильно тебя понимаю?

Лицо у него осунулось. Внезапно мне стало его жалко. Он выглядел уязвленным и оскорбленным.

— Твой отец просил, чтобы я ничего не рассказывала тебе об этом, — мягко ответила я.


Бертран устало поднялся и положил руку на дверную ручку. Он был похож на побитую собаку, опустошенный и раздавленный.

Неожиданно он повернулся и нежно погладил меня по щеке. Пальцы его были теплыми и ласковыми.

— Джулия, что с нами случилось? Куда все исчезло?

И вышел из ванной.

Я почувствовала, как глаза мои наполнились слезами, и вот уже они ручьем потекли по лицу. Он слышал, что я плачу, но не обернулся.



Летом две тысячи второго года, узнав, что пятьдесят лет назад Сара Старжински уехала из Парижа в Нью-Йорк, я чувствовала, что меня как магнитом тянет через Атлантику. Я не находила себе места и не могла дождаться, когда же улечу отсюда. Я очень скучала по Зое, и мне не терпелось начать поиски Ричарда Дж. Рейнсферда. Я не могла дождаться, когда же окажусь на борту самолета.

Мельком я подумала, а звонил ли Бертран отцу, чтобы узнать, что именно случилось много лет назад в их квартире на рю де Сантонь. Мне он ничего не сказал. Он оставался любезным и вежливым, но каким-то отчужденным. Я чувствовала, что он с нетерпением ждет, когда же я улечу. Для чего? Чтобы спокойно обдумать то, что с нами происходило? Чтобы увидеться с Амели? Я не знала, и мне было все равно. Я сказала себе, что мне уже все равно.


За пару часов до отлета в Нью-Йорк я позвонила свекру, чтобы попрощаться. Он ни словом не обмолвился о том, разговаривал ли с Бертраном, а я не спрашивала его об этом.

— Почему Сара перестала писать Дюфэрам? — спросил меня Эдуард. — Джулия, что, по-вашему, произошло?

— Я не знаю, Эдуард, но сделаю все, что в моих силах, чтобы узнать об этом.

Эти вопросы не давали мне покоя ни днем, ни ночью. И, садясь в самолет несколько часов спустя, я все еще не могла успокоиться, задавая себе один и тот же вопрос.

Жива ли еще Сара Старжински?



Моя сестра. Блестящие каштановые волосы, ямочки на щеках, прекрасные голубые глаза. Крепкая, атлетическая фигура, так похожая на мамину. *Les soeurs*^[61] Джермонд. На голову возвышающиеся над женщинами семейства Тезаков. Озадаченные, яркие улыбки. Уколы зависти. Почему вы, американки, такие высокие? Или в том, что вы едите, есть что-то необычное, какие-нибудь гормоны и витамины? Чарла была еще выше меня ростом. И парочка беременностей не смогла добавить ни капли жира к ее стройной, крепкой фигуре.

Стоило ей увидеть мое лицо в аэропорту, как Чарла моментально догадалась, что я что-то задумала, причем это «что-то» не имело отношения ни к ребенку, которого я решила оставить, ни к матримониальным трудностям, которые я в данный момент переживала. Пока мы ехали в город, ее телефон звонил не переставая. Ее ассистентка, ее босс, ее клиенты, ее дети, приходящая сиделка, Бен, ее бывший супруг с Лонг-Айленда, Барри, ее нынешний супруг, находящийся в командировке в Атланте, — мне казалось, что звонки не прекратятся никогда. Но я была так рада видеть ее, что ни на что не обращала внимания. Уже оттого, что она была рядом и мы касались друг друга плечами, у меня пела душа.

Как только мы оказались в городском особняке на Восточной 8-й улице, в ее чистенькой, без единого пятнышка, хромированной кухне и как только она налила себе белого вина, а мне апельсинового сока (с учетом моей беременности), я выложила ей все. Чарла мало что знала о Франции. Она неважно говорила по-французски, и испанский оставался единственным иностранным языком, которым она владела в совершенстве. Оккупированная Франция ни о чем не говорила ей. Она сидела и молча слушала меня, пока я рассказывала ей об облаве, о концентрационных лагерях, о поездах в Польшу. О Париже образца июля сорок второго года. О квартире на рю де Сантонь. О Саре. О Мишеле, ее младшем брате.

Я смотрела, как ее миловидное лицо бледнеет от ужаса. Бокал с вином остался нетронутым. Она прижала руку ко рту, покачала головой. К этому моменту повествование уже близилось к концу, и я

рассказала ей о последней открытке Сары, датированной пятьдесят пятым годом, отправленной из Нью-Йорка.

Потом она прошептала:

— Боже мой, — и отпила изрядный глоток вина. — Ты приехала из-за нее, верно?

Я кивнула головой в знак согласия.

— И с чего ты собираешься начать ее поиски?

— Помнишь, я дала тебе имя? Ричард Дж. Рейнсферд. Так звали ее мужа.

— Рейнсферд? — переспросила она.

Я повторила его по буквам.

Чарла вскочила с места и схватила радиотелефон.

— Что ты делаешь? — поинтересовалась я.

Она подняла руку, жестом приказывая мне замолчать.

— Здравствуйте, оператор, мне нужен Рейнсферд, Ричард Дж. Рейнсферд. Штат Нью-Йорк. Все правильно, Р-Е-Й-Н-С-Ф-Е-Р-Д. У вас нет никого с такой фамилией? Хорошо, не могли бы вы посмотреть в Нью-Джерси? Никого? А в Коннектикуте? Отлично, отлично! Да, спасибо вам. Одну минуточку.

Чарла записала что-то на клочке бумаги. А потом с сияющей улыбкой протянула его мне.

— Мы нашли ее, — с торжеством заявила она.

Не веря своим глазам, я прочла номер телефона и адрес: «Мистер и миссис Р. Дж. Рейнсферд. Номер 2299, улица Шепоуг Драйв. Роксбери. Коннектикут».

— Это не могут быть они, — прошептала я. — Не может быть, чтобы все было так просто.

— Роксбери, — протянула Чарла. — По-моему, это где-то в округе Личфилд. Кажется, у меня был кавалер оттуда. Уже после того как ты уехала. Грег Таннер. Настоящий красавчик. Его отец был доктором. Славное местечко этот Роксбери. Примерно сто миль от Манхэттена.

В полном изумлении я молча сидела на высоком стуле. У меня не укладывалось в голове, что я смогу так просто и безо всяких хлопот найти Сару Старжински. Я только что сошла с самолета и едва успела ступить на твердую землю. И вот я уже знаю, где живет Сара. Оказывается, она жива. Это казалось невозможным.

— Послушай, — сказала я, — как мы можем быть уверены, что это именно она?

Чарла уже сидела за столом, включая свой портативный компьютер. Она порылась в сумочке в поисках очков и нацепила их на нос.

— А вот прямо сейчас мы все и узнаем.

Ее пальцы забегали по клавиатуре. Я подошла и встала рядом.

— Что ты делаешь? — заинтригованная, поинтересовалась я.

— Спокойно, не мешай мне, — откликнулась она. Я заметила, что она уже вошла в Интернет.

На мониторе появилась надпись: *«Добро пожаловать в Роксбери, Коннектикут. События, общественная жизнь, люди, недвижимость».*

— Прекрасно! Как раз то, что нам нужно, — с удовлетворением заключила Чарла, всматриваясь в экран. Потом выхватила у меня из рук клочок бумаги с адресом, снова взяла телефонную трубку и набрала номер, записанный на бумаге.

События развивались слишком быстро. Я не поспевала за ними.

— Чарла! Подожди! Черт побери, что ты ей скажешь, ради всего святого?

Она прикрыла микрофон ладонью. В голубых глазах, устремленных на меня, читалось раздражение.

— Доверься мне, ладно?

Она заговорила своим «адвокатским» голосом. Голосом властного, уверенного в себе человека, держащего все под контролем. Я могла только кивнуть в ответ. Меня охватила паника, я ощущала полнейшую беспомощность. Я вскочила со стула и принялась расхаживать по кухне, бесцельно трогая разнообразные приспособления и водя пальцем по гладким поверхностям.

Когда я набралась смелости, чтобы взглянуть на Чарлу, она широко улыбнулась мне.

— Может быть, тебе все-таки следует немного выпить. И не беспокойся об определителе номера. Мой, как и все, что начинаются с 212, не идентифицируется. — Внезапно она подняла вверх палец, потом ткнула им в сторону телефона. — Да, здравствуйте, простите, я говорю с миссис Рейнсферд?

Я не могла не улыбнуться, слушая, как она заговорила с сильным носовым акцентом. Чарла всегда мастерски меняла голос, когда это было нужно.

— О, простите... Ее нет дома?

Миссис Рейнсферд не было дома. И так, она действительно существовала, эта самая миссис Рейнсферд. Я слушала, не веря своим ушам.

— Да, э-э, вас беспокоит Шарон Бурстолл из библиотеки «Майнор Мемориал» на улице Саут-стрит. Я всего лишь хотела знать, не согласитесь ли вы принять участие в нашем первом летнем сборе, который должен состояться второго августа... О, я понимаю. Конечно, прошу прощения, мадам. М-м, да. Прошу простить за беспокойство. Благодарю вас, до свидания.

Она положила трубку и послала мне самодовольную улыбку.

— Ну? — выдохнула я.

— Женщина, с которой я разговаривала, сиделка Ричарда Рейнсферда. Он старый больной человек. Прикованный к постели. Нуждается в длительном и серьезном лечении. Она приходит к нему каждый день после полудня.

— А миссис Рейнсферд? — нетерпеливо полюбопытствовала я.


— Должна вернуться с минуты на минуту.

Я тупо уставилась на сестру.

— И что мне, по-твоему, теперь остается? — спросила я. — Просто взять и поехать туда?

Чарла рассмеялась.

— У тебя есть другие предложения?



Вот я на месте. Дом под номером 2299 по улице Шепоуг-Драйв. Я выключила мотор, но вылезать из машины не спешила, положив на руль внезапно вспотевшие ладони.

С того места, где я сидела, был хорошо виден дом, спрятавшийся за воротами с колоннами из серого камня. Он был прямоугольным и приземистым, в колониальном стиле, скорее всего, построенный в 30-е годы, решила я. Не такой впечатляющий, как обширные особняки стоимостью во многие миллионы долларов, которые попадались мне по дороге сюда, зато намного более изящный и гармоничный.

Стоило мне свернуть на шоссе 67, как меня поразила неиспорченная, какая-то первозданная деревенская красота округа Личфилд Каунти: покатые холмы, сверкающие речушки, богатая и пышная растительность, ничуть не увядшая, несмотря на летнюю жару. Я уже успела забыть, каким жарким может быть лето в Новой Англии. Несмотря на то, что кондиционер в салоне трудился на совесть, я обливалась потом. И страшно жалела о том, что не захватила с собой в дорогу бутылку минеральной воды. В горле у меня пересохло.

Чарла говорила, что обитатели Роксбери, как правило, состоятельные люди. Городок являл собой одно из этих старомодных живописных местечек, которые сейчас пользуются бешеным успехом и просто не могут надоесть, объяснила она. Художники, писатели, звезды киноэкрана — все они жили здесь во множестве. Я на секунду задумалась о том, чем зарабатывал себе на жизнь Ричард Рейнсферд. Интересно, у него всегда был здесь дом? Или они переехали сюда с Сарой из Манхеттена после того, как вышли на пенсию? Есть ли у них дети? И если есть, то сколько? Я принялась пристально вглядываться в каменный особнячок, одновременно считая количество окон. Я решила, что в доме наличествуют две или три спальни, если только задняя часть не была больше, чем я предполагала. Если у них есть дети, то они должны быть моими ровесниками. Но тогда у них могут быть и внуки. Я вытянула шею, стараясь разглядеть, стоят ли перед домом машины. Но мне удалось рассмотреть лишь закрытый гараж, находившийся в некотором отдалении от дома.

Я посмотрела на часы. Два пополудни. Мне понадобилась каких-то пара часов, чтобы доехать сюда из Нью-Йорка. Чарла одолжила мне свой «вольво». Автомобиль был столь же безупречен, как и ее кухня. Внезапно я остро пожалела о том, что сейчас ее нет со мной. Но она никак не могла отменить назначенные встречи.

— У тебя все получится, сестренка, — ободряюще сказала она, бросая мне ключи от машины. — Держи меня в курсе, договорились?

Итак, я сидела в «вольво», чувствуя, как вместе с жарой растет и моя неуверенность. Черт возьми, что я скажу Саре Старжински? Я даже не имела права называть ее этим именем. Равно как и «Дюфэр». Теперь она была почтенной миссис Рейнсферд и оставалась ею на протяжении последних пятидесяти лет. Выбраться из машины и позвонить в медный дверной колокольчик, расположенный, как я прекрасно видела, справа от двери, представлялось мне решительно невозможным. «Да, здравствуйте, миссис Рейнсферд, вы меня не знаете. Меня зовут Джулия Джермонд, но я все-таки хотела бы поговорить с вами о квартире на рю де Сантонь и о том, что там произошло. Заодно и о семействе Тезаков, и...»

Эти слова показались мне самой неубедительными и вымученными. Что я здесь делаю? Зачем я вообще приехала сюда, проделав такой путь? Наверное, мне следовало для начала написать ей и дожидаться ответа. Приезжать сюда было безумием. Что я себе навывдумывала? На что надеялась и рассчитывала? Что эта женщина примет меня с распростертыми объятиями, угостит чашечкой чаю и растроганно произнесет: «Да, я прощаю семейство Тезаков»? Чистой воды сумасшествие. Сюрреализм. Для чего я приехала сюда? Меня здесь никто не ждал, и лучшее, что мне оставалось, это уехать, уехать немедленно.

Я уже собиралась развернуть машину и укатить восвояси, когда над ухом у меня прозвучал чей-то голос, напугавший меня до полусмерти.

— Вы кого-нибудь ищете?

Я резко развернулась на влажном от пота сиденье и обнаружила рядом с машиной загорелую женщину лет тридцати с небольшим. Она была коренастой, невысокого роста, с коротко подстриженными черными волосами.

— Я ищу миссис Рейнсферд, но не уверена, что мне дали правильный адрес...

Женщина улыбнулась.

— Вам дали правильный адрес. Но мамы нет дома. Она ушла в магазин. Впрочем, она должна вернуться минут через двадцать. А меня зовут Орнелла Харрис. Я живу по соседству.

Итак, передо мной стояла дочь Сары. Дочь Сары Старжински.

Я попыталась взять себя в руки, сохранить олимпийское спокойствие. И мне даже удалось выдавить подобие улыбки.

— Меня зовут Джулия Джермонд.

— Очень приятно, — ответила Орнелла. — Может быть, я смогу вам помочь чем-нибудь?

От усилия придумать правдоподобное объяснение у меня задымались мозги.

— Э-э-э... В общем, я рассчитывала, что смогу поговорить с вашей матерью. Мне следовало позвонить заранее, но я как раз проезжала Роксбери и подумала, почему бы не заглянуть к ней и не поздороваться...

— Вы мамина подруга? — с любопытством поинтересовалась женщина.

— Не совсем. Недавно я встречалась с одним из ее двоюродных братьев, и он сказал мне, что она живет здесь...

Лицо Орнеллы просветлело.

— А, должно быть, вы встречались с Лоренцо! Это ведь было в Европе, не так ли?

Я попыталась ничем не выдать своей растерянности. Черт возьми, кто такой Лоренцо?

— Собственно, да, это было в Париже.

Орнелла коротко рассмеялась.

— Ага, он еще та штучка, дядюшка Лоренцо. Мама обожает его. Он нечасто приезжает к нам в гости, зато звонит почти каждую неделю.

Она забавно выпятила подбородок и сделала приглашающий жест в сторону дома.

— Как насчет того, чтобы зайти ко мне и выпить чаю со льдом или чего-нибудь в этом роде? На улице дьявольски жарко. А заодно и подождете маму. Мы услышим машину, когда она подъедет.

— Я бы не хотела причинять вам ненужные хлопоты...

— Мои малыши катаются с отцом на озере Лиллинона, так что, прошу вас, почувствуйте себя как дома!

Я выбралась из машины, нервничая все больше и больше, и последовала за Орнеллой в маленький внутренний дворик соседнего дома, который был построен в том же стиле, что и особнячок Рейнсфердов. На лужайке в беспорядке валялись детские игрушки, пластиковые диски «летающих тарелок», безголовые куклы Барби и детали конструктора «Лего». Усаживаясь в прохладной тени, я мимоходом подумала о том, сколько раз сюда приходила Сара Старжински, чтобы понаблюдать за тем, как играют ее внуки. Поскольку она жила в соседнем доме, то, надо полагать, приходила сюда каждый день.

Орнелла протянула мне высокий стакан чая со льдом, который я с благодарностью приняла. Мы сидели и потягивали напиток.

— Вы живете поблизости? — нарушила она молчание.

— Нет, я живу во Франции. В Париже. Я вышла замуж за француза.

— Париж, надо же... — закудаhtала она. — Красивый город, наверное?

— Вы правы, но сейчас я очень рада, что вернулась домой. Моя сестра живет на Манхеттене, а мои родители — в Бостоне. Я приехала к ним на лето погостить.

Зазвонил телефон. Орнелла зашла в дом, чтобы ответить. Пробормотав что-то в трубку, она вернулась во дворик.

— Это была Милдред, — сообщила она.

— Милдред? — непонимающе переспросила я.

— Сиделка моего отца.

Ага, это, должно быть, та самая женщина, с которой вчера разговаривала Чарла. Та самая, которая сказала, что он уже стар и прикован к постели.

— Вашему отцу... стало лучше? — нерешительно поинтересовалась я, совершенно не зная, что сказать.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, увы. Рак слишком запущен. Он недолго протянет. Он уже не может разговаривать и даже не приходит в сознание.

— Мне очень жаль, — пробормотала я.

— Слава Богу, мама не опустила руки. Она очень энергичная женщина. И именно она помогает мне пережить этот кошмар, хотя, по идее, все должно было быть наоборот. Она замечательный человек. Как и мой муж Эрик. Боюсь даже представить, что бы я без них делала.

Я кивнула. И тут мы услышали скрип колес по гравию.

— А вот и мама! — воскликнула Орнелла.

Я услышала, как хлопнула дверца автомобиля, а потом послышались шаги по подъездной дорожке, посыпанной гравием. В следующее мгновение из-за забора долетел высокий, очень приятный голос:

— Нелла! Нелла!

В нем чувствовался забавный, слегка картавый иностранный акцент.

— Иду, мама.

Сердце готово было выскочить у меня из груди. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы хоть немного успокоиться. Глядя вслед Орнелле, которая, виляя квадратными бедрами, торопливо семенила по лужайке, я вдруг почувствовала, как меня охватывает возбуждение и предвкушение чего-то необычного.

Сейчас я увижу Сару Старжински. Я увижу ее собственными глазами. И одному Богу известно, что я ей скажу.

Хотя Орнелла остановилась всего в нескольких шагах от меня, ее голос доносился как будто издалека.

— Мам, это Джулия Джермонд, знакомая дяди Лоренцо, она из Парижа, проездом через Роксбери...

Улыбающаяся женщина, которая приближалась ко мне, была одета в красное платье, доходившее до середины лодыжек. Ей уже перевалило за пятьдесят, пожалуй, даже ближе в шестидесяти. Она обладала тем же коренастым сложением, что и дочь: покатые плечи, крутые бедра, полные руки и широкие ладони. Черные волосы с проседью стянуты в узел на затылке, загорелая, испещренная морщинками кожа и угольно-черные глаза.

Черные глаза.

Это никак не могла быть Сара Старжински. В этом я была уверена.

— Значит, вы приятельница Лоренцо, *si?*^[62]. Очень приятно!
В речи ее слышался итальянский акцент. Я не могла ошибиться.
Эта женщина явно была стопроцентной итальянкой.

Я попятилась, растерянно бормоча:

— Прошу простить меня, ради Бога...

Орнелла и ее мать во все глаза уставились на меня. Улыбки на их лицах исчезли.

— Думаю, мне дали адрес не той миссис Рейнсферд.

— Не той миссис Рейнсферд? — эхом откликнулась Орнелла.

— Я ищу миссис Сару Рейнсферд, — сказала я. — Очевидно, меня ввели в заблуждение.

Мать Орнеллы вздохнула и потрепала меня по руке.

— Не расстраивайтесь. Подобные вещи случаются.

— Пожалуй, мне лучше уехать, — пробормотала я, чувствуя, как горит лицо. — Прошу простить меня за то, что отняла у вас время.

Я повернулась и направилась к своей машине, дрожа от стыда и разочарования.

— Мисс! — донесся до меня ясный и чистый голос миссис Рейнсферд. — Мисс, подождите!

Я остановилась. Она поспешно подошла и положила пухлую руку мне на плечо.

— Послушайте, вас не ввели в заблуждение.

Я нахмурилась.

— Что вы имеете в виду?

— Эта французская девчонка, Сара, была первой женой моего супруга.

Я в изумлении смотрела на нее.

— Вы не знаете, где она сейчас? — выдохнула я.

Пухлая рука снова потрепала меня по плечу. В черных глазах появилась грусть.

— Милая, она мертва. Она умерла еще в семьдесят втором году. Жаль, что не могу сообщить вам более приятные известия.

Понадобилась целая вечность, чтобы до меня дошел смысл ее слов. Голова у меня пошла кругом. Должно быть, во всем виновата проклятая жара и раскаленные солнечные лучи, падавшие с безоблачного неба.

— Нелла! Принеси воды, быстрее!

Миссис Рейнсферд взяла меня за руку, отвела обратно к крыльцу и усадила на деревянную скамейку, подбитую войлоком. Потом дала мне напиток. Зубы у меня лязгнули о край стакана, я вытерла рот рукой и поблагодарила ее.

— Мне очень жаль сообщать вам такие плохие известия, поверьте мне.

— Как она умерла? — прошептала я.

— Автомобильная катастрофа. Они с Ричардом поселились в Роксбери в самом начале шестидесятых. На дороге образовалась наледь, и машину Сары занесло. Она врезалась в дерево. Видите ли, зимой здесь ездить очень опасно. Смерть наступила мгновенно.

Я не могла говорить. Я чувствовала себя совершенно разбитой.

— Вы расстроились, милочка. Право же, успокойтесь, — пробормотала она, глядя меня по щеке материнским жестом.

Я тряхнула головой, пролепетала что-то нечленораздельное. Из меня как будто выдернули стержень, осталась одна оболочка. Мысль о том, что предстоит долгое возвращение в Нью-Йорк, приводила меня в отчаяние. Мне страшно хотелось заплакать. А потом... Что я скажу Эдуарду, что я скажу Гаспару? Что она мертва? И это все? Что больше ничего нельзя сделать?

Она умерла. Умерла в возрасте сорока лет. Ее больше нет. Она мертва. Мертва.

Сара умерла. Я не смогу поговорить с ней. Не смогу извиниться перед ней, не смогу извиниться за себя, за Эдуарда. Не смогу рассказать, что семья Тезаков беспокоилась и переживала из-за нее. Не смогу рассказать, что Гаспар и Никола Дюфэры очень скучали по ней и что они передают ей привет. Слишком поздно. Они опоздали на тридцать лет.

— Видите ли, я не была с нею знакома, — продолжала миссис Рейнсферд. — Я встретила с Ричардом спустя пару лет после ее смерти. Он был очень печален. И мальчик...

Я резко подняла голову, наострив уши.

— Мальчик?

— Да, мальчик. Уильям. Вы знакомы с Уильямом?

— Это сын Сары?

— Да, это мальчик Сары.

— Мой сводный брат, — вставила Орнелла.

Передо мной снова забрезжила надежда.

— Нет, я не знакома с ним. Расскажите о нем, пожалуйста.

— Бедный *bambino*.^[63] Понимаете, ему было всего двенадцать, когда погибла его мать. У мальчика было разбито сердце. Я вырастила его и воспитала, как родного сына. Я привила ему любовь к Италии. Он женился на итальянке из моей родной деревни.

Женщина прямо-таки лучилась гордостью.

— Он живет в Роксбери? — спросила я.

Она улыбнулась и в очередной раз потрепала меня по щеке.


— Ой, не могу! Нет, конечно. Уильям живет в Италии. Он уехал из Роксбери в восьмидесятом году, когда ему исполнилось двадцать. А в восемьдесят пятом женился на Франческе. Сейчас у них две чудные девочки. Иногда он приезжает сюда, чтобы повидаться с отцом, со мной и Неллой, но не слишком часто. Здесь все напоминает ему о смерти матери, поэтому он и не любит бывать тут.

Внезапно я почувствовала себя намного лучше. И мне было уже не так жарко и душно. Я вдруг обнаружила, что снова могу дышать полной грудью.

— Миссис Рейнсферд... — начала я.

— Пожалуйста, — перебила она, — зовите меня Марой.

— Мара, — покорно согласилась я. — Мне необходимо поговорить с Уильямом. Мне обязательно нужно увидеться с ним. Это очень важно. Вы не могли бы дать его адрес в Италии?



Связь была отвратительной, так что я едва слышала голос Джошуа.

— Тебе нужен аванс? — переспросил он. — В самый разгар лета?

— Да! — выкрикнула я, и сердце у меня упало, когда я разобрала нотки недовольства в его тоне.

— Сколько?

Я сказала ему, сколько.

— Эй, Джулия, что происходит? Твой муженек-красавчик в одночасье превратился в скупердяя, или как?

Я нетерпеливо вздохнула.

— Так я могу его получить или нет, Джошуа? Это очень важно.

— Конечно, ты можешь получить аванс, — прервал он меня. — Впервые за столько лет ты просишь у меня денег. Надеюсь, у тебя не возникло никаких особенных проблем?

— Никаких проблем. Просто мне нужно слетать в одно место. Вот и все. И я должна спешить.

— Ага, — протянул он, и я поняла, что пробудила в нем любопытство. — И куда ты направляешься, если не секрет?

— Я лечу с дочерью в Тоскану. Я все объясню тебе потом.

Я постаралась, чтобы голос мой прозвучал решительно. Вероятно, Джошуа понял, что это мой окончательный ответ, поэтому даже не стал пытаться выудить из меня какие-либо подробности. Но я все равно ощутила его недовольство и раздражение. Он коротко обронил, что аванс будет переведен на мой счет сегодня же после обеда. Я поблагодарила его и повесила трубку.

Я поставила локти на стол, оперлась подбородком на руки и задумалась. Если я расскажу Бертрону, что задумала и куда собираюсь лететь, он устроит мне сцену. Возникнут ненужные сложности и проблемы. А сейчас они мне были совершенно ни к чему. Я могла бы позвонить Эдуарду... Нет, пока еще рано. Слишком рано. Сначала я должна поговорить с Уильямом Рейнсфердом. Теперь у меня был его адрес, так что я легко отыщу его. А вот разговор с ним может сложиться по-всякому.

И наконец, оставалась Зоя. Как она отнесется к необходимости прервать свои каникулы на Лонг-Айленде, где так чудесно проводит время? И к тому, что она не попадет в Нахант, к дедушке и бабушке? Поначалу это меня здорово беспокоило. Но потом я решила, что она не станет возражать. Она еще никогда не бывала в Италии. И я могла посвятить ее в свою тайну. Я могла рассказать ей всю правду, сказать о том, что мы летим на встречу с сыном Сары Старжински.

Так, теперь мои родители. Что я им скажу? С чего начать? Они тоже ждали, что после Лонг-Айленда я приеду к ним в Нахант. Ради всего святого, что же мне сказать им?

— Ну да, — насмешливо протянула Чарла после того, как я объяснила ей свои намерения, — ну да, конечно, ты помчишься в Тоскану вместе с Зоей, найдешь этого малого, и все это ради того, чтобы сказать «извини» шестьдесят лет спустя?

Ирония в ее голосе покорила меня.

— Ну а почему бы нет, черт возьми? — вспыхнула я.

Она вздохнула. Мы сидели в большой комнате ее дома, которую она использовала в качестве кабинета. Ее муж должен был вернуться из командировки сегодня вечером. В кухне остывал ужин, мы приготовили его вместе. Чарла обожала яркие цвета, равно как и Зоя. Здесь, в этой комнате, царил невероятное смешение бледно-зеленого, ярко-красного и перламутрово-оранжевого цветов. Когда я впервые вошла сюда, у меня разболелась голова, но со временем я привыкла и даже решила однажды, что комната выглядит чрезвычайно... экзотично, пожалуй. Что касается меня, то я всегда предпочитала нейтральные, мягкие тона, например коричневый, бежевый, белый или серый, которых придерживалась даже в одежде. Чарла же и Зоя предпочитали перебор ярких тонов, но, надо признать, выглядели они при этом просто великолепно. Я всегда завидовала их смелости и даже дерзости.

— Перестань вести себя как умудренная опытом старшая сестра. Не забывай о своей беременности. Не думаю, что в данный момент тебе так уж необходимо отправляться в путешествие.

Мне нечего было сказать в свое оправдание. Чарла была права. Она поднялась на ноги и поставила старую запись Кэрли Саймона. «Ты такая тщеславная», — затянул он, и Мик Джаггер вторил ему бэк-вокалом.

Потом она обернулась и смерила меня недовольным взглядом.

— Тебе действительно необходимо сию же минуту отправляться на поиски этого человека? Я имею в виду, неужели это не может подождать?

И снова она была права.

Я подняла на нее глаза.

— Чарла, все не так просто. Да, я не могу ждать. И не могу объяснить, почему. Это слишком важно. В данный момент это для меня самое важное дело в жизни. Если не считать ребенка.

Она в очередной раз вздохнула.

— Эта песенка Кэрли Саймона напоминает мне о твоём супруге. «Ты такая тщеславная, и я думаю, что эта песня как раз о тебе...»

Я позволила себе иронически рассмеяться.

— А что ты скажешь матери с отцом? — поинтересовалась моя сестрица. — О том, почему не приедешь в Нахант? И о ребенке?

— Еще не знаю.

— Так подумай об этом. Самое время. И подумай хорошенько.

— Уже подумала. Хорошенько.

Она встала у меня за спиной и принялась массировать мне плечи.

— Означает ли это, что ты уже все решила и устроила?

— Угу.

— Однако. Ты не теряешь времени даром.

Она умело разминала мне плечи, руки ее были мягкими и твердыми одновременно, и меня потянуло в сон. Я обвела взглядом живописную, разноцветную комнату Чарлы, письменный стол, заваленный книгами и папками, терракотовые занавески, которые тербил легкий ветерок. В отсутствие детей Чарлы в доме царил тишина.

— Где хоть живет этот малый? — спросила она.

— У него есть имя. Уильям Рейнсферд. Он живет в Лукке.

— Где это?

— Это маленький городок на полпути между Флоренцией и Пизой.

— Чем он занимается?

— Я специально для этого побывала в Интернете, впрочем, его мачеха и так рассказала мне. Он эксперт по качеству продуктов. А его жена скульптор. У них двое детей.

— Сколько лет этому Уильяму Рейнсферду?

— Ты похожа на полицейского во время допроса. Он родился в пятьдесят девятом году.

— И ты намерена с милой улыбкой войти в его жизнь и перевернуть все вверх тормашками?

В притворном отчаянии я оттолкнула ее руки.

— Разумеется, нет! Я всего лишь хочу, чтобы он узнал нашу версию событий. Я просто хочу, чтобы он не сомневался в том, что никто из нас не забыл о том, что случилось.

Ответом мне была кривая усмешка.

— Полагаю, что он и сам помнит об этом. Его мать всю жизнь носила эту память в сердце... Может быть, ему как раз и не нужны лишние напоминания.

Внизу хлопнула дверь.

— Эй, есть кто-нибудь дома? Прекрасная хозяйка и ее сестра из славного города Парижа?

Топот ног по лестнице.


Барри, мой зять. Лицо Чарлы просветлело. Она так любит его, подумала я и порадовалась за нее. После тяжелого, болезненного развода она наконец обрела счастье.

Глядя, как они целуются, я вспомнила Бертрана. Что будет теперь с моим собственным браком? Как будут развиваться события? Сможем ли мы найти общий язык? Впрочем, спускаясь вслед за Барри и Чарлой, я постаралась отогнать от себя эти мысли.

Позже, когда я уже лежала в постели, в памяти у меня всплыли слова, сказанные Чарлой об Уильяме Рейнсферде. «Может быть, ему как раз и не нужны лишние воспоминания». Я долго не могла заснуть и вертелась и так и этак. На следующее утро я сказала себе, что вскоре мне представится возможность убедиться, хочет или нет Уильям Рейнсферд говорить о своей матери и ее прошлом. В общем, я решила, что должна обязательно повидаться с ним. Я непременно должна поговорить с ним. Через два дня мы с Зоей улетали в Париж из аэропорта Кеннеди, а уже оттуда во Флоренцию.

Уильям Рейнсферд всегда проводит свой летний отпуск в Лукке, сообщила мне Мара, когда давала его адрес. И она же позвонила ему, чтобы предупредить о нашем приезде.

Уильям Рейнсферд ожидал звонка от Джулии Джермонд. И это все, что ему было известно.



Жара в Тоскане ничуть не походила на пекло Новой Англии. Здесь она была сухой и обжигающей, лишенной какой бы то ни было влажности. Когда я вышла из аэропорта «Перетола» во Флоренции в сопровождении Зои, жара была просто невыносимой. Мне показалось, что через мгновение она высушит меня до последней капли и от меня останется лишь кучка пепла на мягком асфальте. Впрочем, я все списывала на беременность, утешая себя тем, что обычно не чувствую себя настолько усталой и измученной. Нарушение суточного ритма организма, вызванное перелётом через несколько часовых поясов, тоже не способствовало ни физическому, ни душевному здоровью. Мне казалось, что солнечные лучи безжалостно впиваются в мое тело, стремясь ослепить и иссушить глаза и кожу, несмотря на соломенную шляпку, которую я предусмотрительно надела.

Я взяла напрокат автомобиль, скромный и ничем не примечательный «фиат», который в гордом одиночестве поджидал нас на раскаленной и пустой парковочной площадке. Кондиционер не справлялся со своими обязанностями. Выезжая задним ходом со стоянки, я внезапно подумала о том, как выдержу сорокаминутную поездку до Лукки. Я мечтала о темной прохладной комнате, о том, как засыпаю под мягкими, прохладными простынями. Впрочем, меня поддерживал энтузиазм Зои. Она не умолкала ни на минуту, показывая мне на небо, которое было здесь совершенно необычного цвета — ярко-синее и безоблачное, восторгалась кипарисами, высаженными вдоль шоссе, маленькими рошицами оливковых деревьев, развалинами древних построек и жилых домов на вершинах дальних холмов.

— Эта местность называется Монтекатини, — со знанием дела заявила она, не выпуская из рук путеводитель, — она знаменита своими минеральными источниками и винами.

Мы ехали дальше, и Зоя принялась читать вслух информацию для туристов о Лукке. Оказывается, это был один из немногих тосканских городков, которые сохранили в неприкосновенности — относительной, разумеется — опоясывающие их средневековые крепостные стены. Центр города представлял собой образчик старинной архитектуры, где практически запрещено было автомобильное движение. В городе

масса достопримечательностей, увлеченно продолжала Зоя, это и собор, и церковь Святого Михаила, и башня Джаниньи, бывшего сеньора Тосканы, и музей Пуччини, и палаццо Дворец Манси... Я улыбнулась дочери, приятно удивленная ее хорошим настроением. Она в ответ одарила меня лукавым взглядом.

— Полагаю, на осмотр достопримечательностей у нас останется немного времени... — заметила она. — Мы ведь здесь по делам, не так ли, мам?

— Ты совершенно права, — согласилась я.

Зоя уже успела отыскать адрес, по которому значился Уильям Рейнсферд, на своей туристической карте Лукки. Он жил недалеко от виа Филланьо, главной артерии города, длинной пешеходной улицы, на которой располагался и небольшой пансион «Каса Джованна», в котором я заказала нам комнаты.


Когда мы приблизились к Лукке и окружавшей ее путанице кольцевых автодорог, я обнаружила, что мне придется полностью сосредоточиться на методах крайне оригинального вождения, которого придерживались местные водители. Они выруливали на встречную полосу, тормозили или поворачивали в любую сторону, не давая себе труда подать какой-либо предупреждающий сигнал. Они намного хуже парижан, решила я, снова испытывая усталость и раздражение. Помимо всех прочих удовольствий, внизу живота у меня появилась странная тяжесть, которая мне решительно не нравилась, поскольку она очень походила на начинающиеся месячные. Неужели я съела что-то такое в самолете, отчего мой желудок взбунтовался? Или это симптомы чего-то похуже? Меня охватили дурные предчувствия.

Чарла была права. Было полным безумием приезжать сюда в моем состоянии, когда срок беременности не составил еще и трех месяцев. Это могло подождать. Уильям Рейнсферд спокойно мог бы подождать моего визита еще полгода или около того.

Но тут взгляд мой упал на лицо Зои. Оно было прекрасным, оживленным и радостным. Моя дочь буквально светилась от счастья. Она ведь еще ничего не знала о том, что мы с Бертраном будем жить отдельно. Она пребывала в собственном мире, не подозревая о наших планах. Наверняка она никогда не сможет забыть это лето.

И, загоня «фиат» на свободное место на парковке у городской стены, я поклялась себе, что постараюсь сделать все, что в моих силах,

чтобы Зоя получила настоящее удовольствие от пребывания в Италии.



Я сказала Зое, что моим ногам требуется некоторая передышка. И пока она болтала в коридоре с дружелюбной и гостеприимной Джованной, пышущей здоровьем, полной дамой, обладающей, к тому же, еще и страстным голосом, я приняла холодный душ и прилегла на кровать. Боль в нижней части живота понемногу уходила.

Наши комнаты, расположенные по соседству в старинном, высоком здании, оказались маленькими, но очень уютными и комфортабельными. А я все никак не могла забыть разговор с матерью, когда я позвонила ей от Чарлы, чтобы сказать, что не приеду в Нахант и что мы с Зоей летим в Европу. По тому, как она растерянно умолкла, а потом осторожно откашлялась, я заключила, что мать встревожена и обеспокоена. Наконец нейтральным тоном она поинтересовалась, все ли у меня в порядке. Я бодро заверила ее, что лучше и быть не может, что мне представилась возможность побывать вместе с Зоей во Флоренции и что я прилечу в Штаты попозже, чтобы повидаться с нею и папой.

— Но ты же только что прилетела! И зачем улетать снова, после того как ты пробыла у Чарлы лишь пару дней? — запротестовала мать. — И к чему прерывать Зоины каникулы здесь? Я решительно ничего не понимаю. Ты говорила, что соскучилась по Штатам. А теперь такая спешка...

Я чувствовала себя виноватой. Но как я могла изложить им с отцом всю эту невероятную историю по телефону? Когда-нибудь я это сделаю, утешала я себя. Только не сегодня. И чувство вины не желало отпускать меня, пока я лежала на розовом покрывале, от которого исходил слабый запах лаванды. Я даже не успела рассказать матери о своей беременности. И Зое я еще ничего не говорила об этом. Мне очень хотелось посвятить ее в эту тайну, как, впрочем, и отца. Но что-то удерживало меня от такого шага. Какие-то непонятные и, скорее всего, глупые предрассудки, какое-то дурное предчувствие, какого я никогда не испытывала раньше. Похоже, в последние месяцы моя жизнь медленно, но неотвратимо менялась. Интересно, в какую сторону?

Было ли это связано с Сарой, с рю де Сантонь? Или это были пресловутые симптомы подступающей старости? Я не знала, что и думать. Зато я твердо знала, что чувствовала себя так, словно густой, приятный, спокойный, безопасный туман, в котором я пребывала, постепенно рассеивается. Чувства мои проснулись после долгой спячки и обострились. Туман рассеялся. С ним ушло и кажущееся умиротворение. Остались только факты. Я должна найти этого человека. Сказать ему, что ни семейство Тезаков, ни Дюфэры никогда не забывали о его матери.

Мне не терпелось увидеться с ним. Он находился совсем рядом, здесь, в этом самом городе, может быть, даже прогуливался сейчас по шумной и оживленной виа Филланьо. Как-то так получилось, что, лежа в постели и вслушиваясь в доносящиеся до меня с улицы звуки — испуганный рев мотороллеров или отчаянные звонки велосипедов — я чувствовала, что стала ближе к Саре, ближе, чем раньше, потому что в самом скором времени я должна была встретиться с ее сыном, ее плотью и кровью. Девочка с желтой звездой на груди стала мне близка как никогда.

Протяни руку, подними трубку телефона и позвони ему. Легко и просто. Тем не менее я не могла этого сделать. Я посмотрела на старомодный черный телефон, чувствуя себя совершенно беспомощной, и вздохнула от отчаяния и раздражения. Снова откинувшись на подушки, я ощутила всю глупость своего поведения и даже немного устыдилась его. Я поняла, что разговор с сыном Сары превратился для меня в настолько навязчивую идею, что я даже осталась равнодушной к очарованию и красоте Лукки. Подобно лунатику, я безропотно следовала за Зоей, которая с такой легкостью разобралась в хитросплетении старых, извилистых улочек, как будто жила здесь всю жизнь. Я не смотрела по сторонам и ничего не видела. Окружающий мир потерял для меня всю свою привлекательность, и мысли мои занимал только предстоящий разговор с Уильямом Рейнсфердом. А теперь я даже не могу заставить себя позвонить ему.

В комнату вошла Зоя и присела ко мне на краешек кровати.

— С тобой все в порядке? — поинтересовалась она.

— Отдых пошел мне на пользу, — ответила я.

Она внимательно всматривалась в мое лицо большими карими глазами.

— Думаю, тебе надо отдохнуть еще немножко, мама.

Я нахмурилась.

— Неужели я выгляжу настолько усталой?

Она кивнула.

— Отдыхай и ни о чем не думай, мама. Джованна покормила меня. Так что не беспокойся обо мне. Все под контролем.

Я не могла не улыбнуться ей, она была такая милая и серьезная, моя маленькая девочка. Подойдя к двери, она обернулась.

— Мама...

— Да, родная?

— А папа знает, что мы здесь?

Я не сказала Бертрану о том, что беру с собой Зою в Италию. Несомненно, он придет в ярость, когда узнает об этом.

— Нет, он не знает, родная.

Она нерешительно потрогала дверную ручку.

— Вы с папой поссорились?

Невозможно солгать, глядя в эти чистые, серьезные глаза.

— Да, милая, мы поссорились. Папе не нравится то, что я занимаюсь поисками Сары и пытаюсь узнать о ней как можно больше. Он не обрадуется, когда узнает о том, что мы здесь.

— Но *Grand-pere*^[64] знает.

Я резко села на постели, встревоженная и изумленная.

— Ты все рассказала дедушке?

Зоя кивнула.

— Да. Знаешь, мне кажется, Сара ему совсем не безразлична. Я позвонила ему с Лонг-Айленда и рассказала о том, что мы с тобой собираемся поехать к ее сыну. Я знаю, позже ты сама позвонила бы ему и все объяснила, но я так разволновалась и обрадовалась, что не смогла удержаться.

— И что он тебе сказал? — спросила я, удивленная откровенностью и прямоотой дочери.

— Он сказал, что мы хорошо сделаем, если приедем сюда. И он собирался сказать об этом папе, даже если тот закатит истерику. Он сказал, что ты замечательная женщина.

— Эдуард так сказал?

— Да.

Я покачала головой, не веря собственным ушам. Я была тронута и озадачена одновременно.

— *Grand-pere* добавил кое-что еще. Он сказал, что ты должна беречь себя. Он попросил меня проследить за тем, чтобы ты не переутомилась.

Итак, Эдуард знал. Он знал, что я беременна. Он разговаривал с Бертраном. Почти наверняка у отца с сыном состоялся долгий разговор. И теперь Бертран узнал обо всем, что случилось в квартире на rue de Santonь летом тысяча девятьсот сорок второго года.

Голос Зои заставил меня отвлечься от мыслей об Эдуарде и вернул к действительности.

— Почему бы нам просто не позвонить Уильяму, мама? И договориться о встрече?

Я снова села на кровати.

— Ты права, хорошая моя.

Я взяла лист бумаги, на котором почерком Мары был написан телефон Уильяма, и набрала его на старомодном телефонном аппарате. Сердце гулко билось у меня в груди. Этого не может быть, подумала. Я звоню сыну Сары!

Я услышала несколько гудков, а потом шелест автоответчика. Женский голос что-то быстро проговорил по-итальянски. Я повесила трубку, чувствуя себя совершенно по-дурацки.

— Да, не самый умный поступок, — прокомментировала мои действия Зоя. — Никогда не вешай трубку, разговаривая с автоответчиком. Ты сама повторяла мне это тысячу раз.


Я снова набрала номер, улыбаясь тому, что она так по-взрослому высказала мне свое недовольство. На этот раз я дождалась зуммера. Стоило мне заговорить, как слова полились свободно и гладко, как если бы я отрепетировала свою речь заранее.

— Добрый день, это Джулия Джермонд. Я звоню вам по просьбе миссис Мары Рейнсферд. Мы с дочерью приехали в Лукку и остановились в пансионате «Каса Джованна» на улице виа Филланьо. Мы пробудем здесь еще пару дней. Надеюсь, мы с вами скоро увидимся. Спасибо и до свидания.

Я положила трубку на рычажок, обратно в ее черную колыбель, испытывая одновременно и облегчение, и разочарование.

— Отлично, — высказалась Зоя. — А теперь можешь отдыхать дальше. Увидимся позже.

Она запечатлела у меня на лбу поцелуй и вышла из комнаты.



Мы поужинали в небольшом забавном ресторанчике позади пансионата, рядом с *anfiteatro*^[65] — большой ареной в окружении старинных построек, на которой много веков назад разыгрывались средневековые игрища. Я чувствовала себя свежей, отдохнувшей и от души наслаждалась живописной суетой туристов, местных жителей, уличных торговцев, детей и голубей. Я обнаружила, что итальянцы обожают детей. Официанты и владельцы магазинов и лавочек величали Зою «принцессой», одаривали ее улыбками, гладили по голове, щелкали по носу. Поначалу я нервничала, но Зоя принимала подобные знаки внимания как должное, смело упражнялась и совершенствуя свой рудиментарный итальянский: «Sono Francese e Americana, mi chiama Zoe».^[66] Дневная жара спала, и ей на смену пришла прохлада. Однако я подозревала, что в наших комнатках, вознесшихся высоко над улицей, по-прежнему будет очень душно. Итальянцы, подобно французам, недолго любили кондиционеры. А я, напротив, сегодня ночью не возражала бы против холодного воздуха из такого исключительно полезного агрегата.

Мы вернулись в пансионат «Каса Джованна», едва передвигая ноги: разница в часовых поясах окончательно нас доконала. Но к нашей двери была приколота записка: «Per favore telefonare William Rainsferd».^[67]

Я стояла и смотрела на нее как громом пораженная. Зоя восторженно присвистнула.

— Сейчас? — пробормотала я.

— Вообще-то, еще только без четверти девять, — заметила моя дочь.

— Отлично, — ответила я, дрожащей рукой отворяя дверь. Черная пластмасса телефонной трубки прилипла к моему уху, и я принялась набирать его номер уже третий раз за день. Снова автоответчик, беззвучно прошептала я Зое. Говори, столь же беззвучно ответила она. Прозвучал сигнал зуммера, я, запинаясь, назвала свое имя, подождала несколько секунд и уже собралась повесить трубку, когда мужской голос произнес:

— Алло?

Американский акцент. Это он.

— Привет, — заторопилась я. — Это Джулия Джермонд.

— Привет, — откликнулся он. — Я как раз ужинаю.

— О, простите меня...

— Никаких проблем. Хотите, встретимся с вами завтра перед обедом?

— Конечно, — отозвалась я.

— На крепостной стене есть недурное кафе, как раз за дворцом Палаццо Манси. Мы с вами можем встретиться там в полдень?


— Отлично, — согласилась я. — Э-э-э... Как мы узнаем друг друга?

Он рассмеялся.

— Не беспокойтесь. Лукка — небольшой городок. Я сам вас найду.

Воцарилось молчание.

— До свидания, — сказал он наконец и повесил трубку.



На следующее утро боль внизу живота вернулась. Она была не особенно сильной, зато постоянной, и это меня очень беспокоило. Я решила не обращать на нее внимания. Если после обеда мы еще задержимся здесь, я попрошу Джованну вызвать мне врача. Пока мы шагали к кафе, я раздумывала над тем, как выстроить разговор. До сих пор я не давала себе труда поразмыслить над этим и теперь поняла, что давно следовало бы прикинуть варианты возможного развития событий. Я собиралась пробудить в нем печальные, горестные и болезненные воспоминания. Может быть, он вообще не захочет говорить о своей матери. Может быть, он постарался забыть об этом. В конце концов, у него здесь была своя жизнь, вдали от Роксбери и еще дальше от рю де Сантонь. Мирная, буколическая жизнь. А я намеревалась вернуть из небытия его прошлое. И мертвых.

Мы с Зоей, к своему удивлению, обнаружили, что по толстым средневековым стенам, опоясывавшим маленький городок, можно вполне безопасно ходить. Стены были высокими и широкими, и по гребню тянулась пешеходная дорожка, обсаженная каштанами. Мы смешались с суетливой толпой бегунов, пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов, матерей с детьми, громко переговаривающихся стариков, подростков на мопедах и туристов.

Кафе располагалось немного дальше, в тени густых деревьев. Когда я в сопровождении Зои приблизилась к нему вплотную, меня охватила какая-то небывалая, воздушная легкость. Терраса была пуста, если не считать супружеской четы средних лет, угощавшейся мороженым, и нескольких немецких туристов, увлеченно разглядывавших карту. Я надвинула шляпу на глаза, разгладила смятую юбку.

Когда он окликнул меня по имени, я сосредоточенно изучала меню вместе с Зоей.

— Джулия Джермонд.

Я подняла голову и увидела высокого плотного мужчину лет сорока пяти. Он опустил на стул напротив.

— Привет, — поздоровалась Зоя.

А я вдруг поняла, что не могу выдать ни слова. Я могла только молча смотреть на него. У него были густые русые волосы, в которых серебрилась седина. Линия волос уже начала подниматься надо лбом. Квадратная челюсть. Красивый нос с горбинкой.

— Привет, — обратился он к Зое. — Закажи себе тирамису.^[68] Тебе понравится.

Уильям приподнял темные очки и сдвинул их на лоб. У него были глаза матери. Бирюзовые и слегка раскосые. Он улыбнулся.

— Итак, вы журналистка, если не ошибаюсь? И живете в Париже? Я искал информацию о вас в Интернете.

Я откашлялась и нервно затеребила свои наручные часы.

— Знаете, я поступила аналогичным образом. Ваша последняя книга мне очень понравилась. Я имею в виду «Тосканские пиршества».

Уильям Рейнсферд вздохнул и похлопал себя по животу.

— Да, эта книга принесла мне лишних десять фунтов веса, от которых я уже никогда не избавлюсь.

Я с готовностью улыбнулась незамысловатой шутке. Мне нелегко было перейти от этой легкой, ни к чему не обязывающей болтовни к тому, что, как я прекрасно сознавала, ждало нас впереди. Зоя бросила на меня многозначительный взгляд.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились прийти сюда и встретиться с нами... я вам очень благодарна...

Эти слова мне самой показались неубедительными и вымученными.

— Никаких проблем, — улыбнулся он, щелчком пальцев подзывая официанта.

Мы заказали тирамису, кока-колу для Зои и капучино для себя.

— Вы впервые в Лукке? — поинтересовался он.

Я кивнула. Вокруг нас суетился официант. Уильям Рейнсферд обменялся с ним пулеметными фразами на итальянском. Оба рассмеялись.

— Я часто бываю в этом кафе, — пояснил он. — Мне нравится здесь. Уютно и спокойно. Даже в такой жаркий день, как сегодня.

Зоя принялась за свое тирамису, и ее ложечка звонко постукивала о стенки стеклянной вазочки. В воздухе повисло неожиданное молчание.

— Итак, чем я могу помочь вам? — легко полубопытствовал он. — Мара что-то говорила о том, что вас интересует моя мать.

В душе я вознесла горячую благодарность Маре. Похоже, ее вмешательство не на шутку облегчало мне задачу.

— Я не знала, что ваша мама умерла, — сказала я. — Приношу свои извинения.

— Все нормально, — пожал он плечами, опуская кусочек сахара в кофе. — Это случилось давно. Тогда я был еще ребенком. Вы знали ее? По-моему, вы выглядите для этого слишком молодо.

Я отрицательно покачала головой.

— Нет, я никогда не встречалась с вашей матерью. Просто случилось так, что я переезжаю в квартиру, в которой она жила во время войны. На рю де Сантонь, в Париже. И я знакома с людьми, которые были очень близки с ней. Вот почему я здесь. И именно поэтому я приехала сюда, чтобы встретиться с вами.

Он отставил чашечку и пытливо взглянул на меня. В его чистых и ясных глазах таилось спокойное, задумчивое выражение.

Под столом Зоя положила мне на колено вспотевшую, липкую ладонь. Я смотрела, как мимо промчались два велосипедиста. На нас снова обрушилась жара. Я глубоко вздохнула, словно собираясь с головой нырнуть в темную, холодную воду.

— Собственно, я даже не знаю, с чего начать, — запинаясь, выговорила я. — Я знаю, вам, наверное, очень трудно снова вспоминать об этом, но, боюсь, я должна это сделать. Мои родственники со стороны мужа, Тезаки, они встречались с вашей матерью на рю де Сантонь в сорок втором году.

Я рассчитывала, что фамилия «Тезак» пробудит в нем какие-нибудь воспоминания, но он не пошевелился. Похоже, и название улицы, рю де Сантонь, ему тоже ни о чем не говорило.

— После всего случившегося, я имею в виду трагические события июля сорок второго года и гибель вашего дяди, я просто хотела сказать вам, что семья Тезаков никогда не забывала вашу мать. Особенно мой свекор. Он вспоминает ее каждый день.

Над столиком повисло тягостное молчание. Уильям Рейнсферд медленно прикрыл глаза.

— Простите меня, — быстро добавила я, — я знаю, что вам больно вспоминать и говорить об этом. Простите меня.

Когда он наконец заговорил, голос его прозвучал хрипло и едва слышно.

— Что вы имеете в виду под трагическими событиями?

— Ну как же... Облава, стадион «Вель д'Ив»... — неуверенно пробормотала я. — Еврейские семьи, которых согнали со всего Парижа в июле сорок второго...

— Продолжайте, — попросил он.

— И концентрационные лагеря... Людей отправляли из Дранси в Аушвиц...

Уильям Рейнсферд развел руками и покачал головой.

— Простите, но я не понимаю, какое отношение это имеет к моей матери.

Мы с Зоей обменялись недоумевающими взглядами.

Минуты медленно уплывали в вечность. Я готова была провалиться сквозь землю.

— Вы упомянули смерть моего дяди? — наконец обронил он.

— Да... Мишеля. Младший брат вашей матери. На рю де Сантонь.

Снова молчание.

— Мишель? — Похоже, он явно был озадачен. — У моей матери никогда не было брата по имени Мишель. И я никогда не слышал о рю де Сантонь. Знаете, мне почему-то кажется, что мы говорим о разных людях.

— Но ведь вашу мать звали Сарой, правильно? — вконец сбитая с толку, спросила я.

Он кивнул.

— Да, правильно. Ее звали Сара Дюфэр.

— Вот именно, Сара Дюфэр. Это она, — с горячностью воскликнула я. — Или, точнее, Сара Старжински.

Я ожидала, что он хоть как-то отреагирует на мои слова.

— Простите? — повторил он, удивленно приподнимая брови. — Сара... кто?

— Старжински. Это девичья фамилия вашей матери.

Уильям Рейнсферд смотрел на меня, выпятив подбородок.

— Девичья фамилия моей матер Дюфэр.

В голове у меня звенел тревожный колокольчик. Что-то здесь было не так. Похоже, он ничего не знал.

У меня еще оставалось время уйти, просто уйти, а не разбивать жизнь этого человека на мелкие кусочки.

Я выдавила совершенно идиотскую, жизнерадостную улыбку, пробормотала что-то о том, что произошла явная ошибка, и отодвинула свой стул на несколько дюймов от стола, ненавязчиво давая Зое понять, что с десертом пора заканчивать. Я еще раз извинилась, что отняла у него столько времени. Я встала со стула. Он последовал моему примеру.

— Я думаю, что вы имели в виду не ту Сару, — улыбаясь, заявил он. — Но это не имеет значения. Желаю вам хорошо отдохнуть здесь, в Лукке. Я был рад познакомиться с вами.

Прежде чем я успела вымолвить хоть слово в ответ, Зоя сунула руку в мою сумочку и протянула ему что-то.


Уильям Рейнсферд опустил взгляд и посмотрел на фотографию маленькой девочки с желтой звездой на груди.

— Это ваша мать? — тоненьким голоском спросила Зоя.

Казалось, вокруг нас все замерло. С оживленной дорожки не доносилось ни звука. Даже птицы, похоже, перестали чирикать. Осталась только невыносимая жара. И молчание. И тишина.

— Господи... — произнес он.

И тяжело опустился на стул.



Фотография лежала между нами на столике. Уильям Рейнсферд все время переводил взгляд с нее на меня и обратно. Он несколько раз прочитал надпись на обороте, и с лица его не сходило изумленное выражение. Он явно не верил своим глазам.

— Этот ребенок очень похож на мою мать в детстве, — сказал он наконец. — Этого я не стану отрицать.

Мы с Зоей хранили молчание.

— Я не понимаю. Этого не может быть. Это невозможно.

Он нервно потер руки. Я заметила у него на пальце серебряное обручальное кольцо. Пальцы у него были длинные и тонкие.

— Звезда... — Он все еще качал головой. — Звезда у нее на груди...

Могло ли быть так, что этот мужчина ничего не знает о прошлом своей матери? О ее религии? Могло ли быть так, что Сара вообще ни о чем не рассказывала Рейнсфердам?

Глядя в его растерянное лицо, видя его волнение и смятение, я поняла, что знаю ответ. Сара ничего не сказала им. Она ничего не рассказала им о своем детстве, о своем происхождении, о своем вероисповедании. Она полностью порвала с кошмарным прошлым.

Мне вдруг остро захотелось уйти отсюда. Оказаться как можно дальше от этого города, от этой страны, от непонимания этого мужчины. Неужели я оказалась настолько слепа? Неужели я не могла предугадать, чем все это кончится? Ведь не один раз мне приходило в голову, что Сара могла сохранить свое прошлое в тайне. Уж слишком много ей пришлось пережить, слишком много горя и страданий вынести. Вот почему она перестала писать Дюфэрам. Вот почему ни слова не сказала сыну о том, кто она такая на самом деле. В Америке она хотела начать новую жизнь.

А я, ничтоже сумняшеся, явилась сюда, чтобы открыть этому человеку страшную правду, поневоле став вестницей несчастья и горя.

Уильям Рейнсферд подтолкнул фотографию ко мне, и губы его превратились в тонкую линию.

— Для чего вы приехали сюда? — прошептал он.

В горле у меня пересохло.

— Вы приехали сюда, чтобы сказать, что моя мать была не тем человеком, которого я знал? Что она оказалась замешана в какую-то трагедию? Вы для этого сюда приехали?

Я почувствовала, как у меня задрожали ноги. Не так я себе все это представляла, совсем не так. Я ожидала увидеть боль, печаль, тоску. Но я не ожидала столкнуться с его гневом.

— Я думала, вы знаете, — промямлила я. — Я приехала сюда потому, что моя семья помнит о том, что ей пришлось пережить тогда, в сорок втором году. Вот почему я здесь.

Он снова покачал головой, дрожащей рукой провел по волосам. Его темные очки с дребезжанием свалились на столик.

— Нет, — выдохнул он. — Нет. Нет, нет. Это безумие. Моя мать была француженкой. Ее фамилия Дюфэр. Она родилась в Орлеане. Она потеряла родителей во время войны. У нее не было братьев. И у нее не осталось семьи. Она никогда не жила в Париже, на этой вашей рю де Сантонь. Эта маленькая еврейская девочка — это не она, это не может быть она. Вы все это выдумали.

— Пожалуйста, — жалобно взмолилась я, — позвольте мне объяснить. Позвольте рассказать вам все с самого начала...

Он выставил перед собой ладони, словно собираясь оттолкнуть меня.

— Я ничего не хочу знать. Оставьте свои истории при себе.

Я почувствовала знакомую тупую боль внизу живота, как будто кто-то когтями рвал меня изнутри на части.

— Пожалуйста, — прошептала я. — Пожалуйста, выслушайте меня.

Уильям Рейнсферд вскочил на ноги с ловкостью и быстротой, неожиданной для такого крупного, полного мужчины. Он взглянул на меня сверху вниз, и лицо его потемнело от гнева.

— Я буду с вами предельно откровенен. Я больше никогда не хочу вас видеть. Я больше ничего не хочу слышать. Пожалуйста, больше никогда не звоните мне.

С этими словами он развернулся и ушел.

Мы с Зоей молча смотрели ему вслед. Столько хлопот, усилий, и все напрасно. Тяжелый перелет, поездка на автомобиле, все мои старания... Ради чего? Я оказалась в тупике. Но я все равно не могла

поверить, что история Сары заканчивается здесь, заканчивается так быстро и бесславно. Этого просто не могло быть.

Мы еще долго сидели за столиком и молчали. Потом меня охватил озноб, несмотря на жару. Я подозвала официанта и оплатила счет. Зоя не проронила ни слова. Кажется, она тоже была ошеломлена и растеряна.

Я с трудом поднялась на ноги. Мне казалось, что я бреду сквозь вязкую пелену, каждое движение стоило мне величайших усилий. Итак, что дальше? Куда ехать теперь? Обратно в Париж? Или к Чарле в гости?

Я двинулась прочь, едва переставляя ноги. Казалось, они налиты свинцом, так тяжело давался мне каждый шаг. Позади меня раздался голос Зои, кажется, она окликнула меня, но мне не хотелось оборачиваться. Сейчас мне хотелось только одного — как можно быстрее вернуться в пансионат. Подумать. Потом собрать вещи. Позвонить сестре. Позвонить Эдуарду. И Гаспару.

Я снова услышала голос Зои, он прозвучал громко и встревоженно. Что ей нужно? Почему она плачет? Я заметила, что прохожие смотрят на меня. Я резко развернулась, раздосадованная, намереваясь крикнуть дочери, чтобы она поторапливалась.

Она подскочила ко мне, схватила за руку. Лицо ее покрылось смертельной бледностью.

— Мама... — прошептала она неестественно высоким голосом.

— Что? Что такое? — резко бросила я.

Она показала на мои ноги. А потом заскулила, как щенок.

Я опустила глаза. Моя белая юбка пропиталась кровью. Я перевела взгляд на свой стул, на котором отпечаталось ярко-алое полукружие. По ногам у меня стекали капли крови.

— Тебе не больно, мама? — задыхаясь, прошептала Зоя.

Я схватилась за живот.


— Ребенок... — охваченная ужасом, пробормотала я.

Зоя, не веря своим ушам, смотрела на меня.

— Ребенок? — вскрикнула она, вцепившись в мою руку. — Мама, какой ребенок? О чем ты говоришь?

Ее запрокинутое лицо вдруг стало расплываться у меня перед глазами. Ноги у меня подкосились. И я ничком рухнула на горячую пыльную дорожку.

А потом на меня навалилась тишина. Небо над головой опрокинулось и померкло.



Я открыла глаза и в нескольких дюймах от себя увидела лицо Зои. Вокруг ощущался безошибочный запах больницы. Маленькая комнатка с зелеными стенами. В руку мне воткнута игла капельницы. Женщина в белой блузке, пишущая что-то на карточке.

— Мама... — прошептала Зоя, беря меня за руку. — Мама, все в порядке. Не волнуйся.

Молодая женщина подошла к моей кровати, остановилась и погладила Зою по голове.

— С вами все будет в порядке, *Signora*,^[69] — сказала она на удивительно приличном английском. — Вы потеряли много крови, но уже все позади.

Голос мой походил на хриплое воронье карканье.

— А ребенок?

— Ребенок в порядке. Мы сделали вам ультразвуковое исследование. Возникли некоторые проблемы с плацентой. Теперь вам нужно отдохнуть. Лежать, лежать и еще раз лежать. Вставать с постели вам противопоказано.

И она вышла из комнаты, тихонько притворив за собой дверь.

— Ты до смерти меня напугала, — заявила Зоя. — Я чуть не обделалась. Сегодня мне можно говорить «обделалась». Не думаю, что ты будешь меня ругать.

Я протянула к ней руки и изо всех сил прижала к себе, несмотря на торчащую из руки иглу капельницы.

— Мама, почему ты мне ничего не сказала о ребенке?

— Я собиралась, родная, собиралась рассказать тебе все.

Она подняла на меня глаза.

— Это из-за ребенка у вас с папой возникли разногласия?

— Да.

— Ты хочешь ребенка, а папа нет, правильно?

— Что-то в этом роде.

Она нежно погладила меня по руке.

— К нам едет папа.

— О Господи... — только и смогла сказать я.

Бертран будет здесь. Бертрону придется расхлебывать кашу, которую заварила я.

— Я позвонила ему, — сообщила Зоя. — Он будет здесь через пару часов.

Глаза у меня наполнились слезами, и я тихонько заплакала.

— Мама, перестань сейчас же, не надо, — взмолилась Зоя, судорожно вытирая ладошками мое лицо. — Все в порядке, теперь все в порядке.

Я слабо улыбнулась и кивнула головой, чтобы успокоить ее. Но мой мир опустел и рухнул. Перед глазами у меня стояло лицо уходящего Уильяма Рейнсферда. «Я больше никогда не хочу вас видеть. Я больше ничего не хочу слышать. Пожалуйста, больше никогда не звоните мне». Его ссутулившиеся плечи. Сжатые в ниточку губы.


Впереди меня ждали тоскливые и беспросветные дни, недели и месяцы. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя такой бесполезной, опустошенной, потерянной. Внутренний стержень моего «я» надломился. И что же осталось? Ребенок, который не нужен моему бывшему мужу (а он скоро станет таковым, я не сомневалась) и которого мне предстоит растить одной. Дочь, которая очень скоро станет девушкой, а та чудесная маленькая девочка, какой она была сейчас, исчезнет безвозвратно. Скажите на милость, чего еще мне оставалось ждать от жизни?

Приехал Бертран, спокойный, деловой, уверенный, нежный и заботливый. Я полностью положила на него, слушая, как он разговаривает с доктором, время от времени бросая на Зою одобрительные и подбадривающие взгляды. Он позаботился обо всем. Я должна буду оставаться в больнице, пока кровотечение не прекратится полностью. Потом я вернусь в Париж и постараюсь вести спокойный и размеренный образ жизни до наступления осени, как минимум, когда пойдет пятый месяц моей беременности. Бертран ни разу не упомянул Сару. Он не задал ни единого вопроса. Я погрузилась в умиротворенное молчание. Я не хотела говорить о Саре.

Я начала чувствовать себя пожилой маленькой леди, которую возят туда-сюда, совсем как *Mamé* в пределах ее маленького мирка, дома престарелых, и приветствуют теми же дежурными улыбками и все той же зачерствелой доброжелательностью. Как легко позволить

другому человеку управлять своей жизнью. Собственно, мне не за что было цепляться и сражаться. За исключением ребенка.

Ребенка, о котором ни разу не вспомнил Бертран.



Когда несколько недель спустя мы приземлились в Париже, мне показалось, что прошел целый год. Я все еще чувствовала себя усталой, и мне было очень грустно. Каждый день я вспоминала Уильяма Рейнсферда. Несколько раз я порывалась взять в руки телефонную трубку или ручку и лист бумаги, намереваясь поговорить с ним, написать, объяснить, сказать что-то важное, сказать, что я прошу у него прощения... Но так и не осмелилась.

Дни шли за днями, и лето сменилось осенью. Я лежала в кровати и читала, писала статьи на портативном компьютере, разговаривала по телефону с Джошуа, Бамбером, Алессандрой, с моей семьей и друзьями. Я работала на дому, не покидая спальни. Поначалу мне казалось, что я не справлюсь, но потом все как-то устроилось. Мои подруги Изабелла, Холли или Сюзанна по очереди навещали меня и готовили обеды. Раз в неделю одна из моих золовок в сопровождении Зои отправлялась в близлежащий гастроном за продуктами. Пухленькая, чувственная Сесиль пекла для меня *crepe*,^[70] сочившиеся маслом, а изысканная, угловатая Лаура готовила низкокалорийные салаты, которые получались у нее необыкновенно вкусными и питательными. Свекровь не баловала меня посещениями, зато присылала свою служанку, живую и ароматную мадам Леклер, которая столь энергично пылесосила квартиру, что я вздрагивала от страха. На неделю приезжали мои родители, остановившиеся в своей любимой маленькой гостинице на рю Делаамбр. Мысль о том, что они скоро вновь станут дедушкой и бабушкой, приводила их в восторг.

Каждую пятницу в гости ко мне с букетом алых роз неизменно заглядывал Эдуард. Он усаживался в мягкое кресло рядом с кроватью и снова и снова просил меня описать ту встречу и разговор, который состоялся у меня с Уильямом в Лукке. При этом он качал головой и вздыхал. Снова и снова он повторял, что ему следовало предвидеть реакцию Уильяма. И как могло случиться, что ни он, ни я даже не подумали о том, что Уильям может ничего не знать и что Сара могла ни словом ни обмолвиться ему о своем прошлом?

— Может быть, нам все-таки стоит позвонить ему? — с надеждой обращался он ко мне. — Может быть, мне самому позвонить ему и постараться все объяснить? — Но потом он смотрел на меня и бормотал: — Нет, конечно, я не могу так поступить. Это было бы верхом глупости с моей стороны.


Я поинтересовалась у врача, нельзя ли устроить что-то вроде небольшой вечеринки, при условии, что я не буду вставать с дивана в гостиной. Доктор разрешила, но взяла с меня обещание, что я останусь в горизонтальном положении и не стану поднимать тяжести. И вот однажды вечером, в самом конце лета, приехали Гаспар и Николя Дюфэры, чтобы познакомиться с Эдуардом. На встрече присутствовала и Натали Дюфэр. А еще я пригласила Гийома. Вечер получился трогательным и незабываемым. Трех пожилых мужчин связывали воспоминания о светловолосой маленькой девочке с бирюзовыми глазами. Я смотрела, как они склонялись над старыми фотографиями Сары и письмами. Гаспар и Николя расспрашивали нас об Уильяме, а Натали молча слушала, помогая Зое готовить напитки и закуски.

Николя, несколько более молодая версия Гаспара, с таким же круглым лицом и легкими, тонкими белыми волосами, рассказывал о своих отношениях с Сарой. Он вспоминал, как поддразнивал ее, не в силах выносить ее молчание, которое причиняло ему физическую боль, и как радовался любой ее реакции, будь то просто пожатие плечами, оскорбление или пинок. Радовался, потому что пусть на мгновение, но она отказывалась от своей страшной тайны, от своего уединения. Он рассказал нам о том, как она первый раз искупалась в море, в Трувиле, в начале пятидесятых. Она с невероятным изумлением смотрела на океан, а потом вскинула руки, завизжала от восторга и на своих худеньких, костлявых, слабеньких ножках побежала к воде и окунулась в прохладные синие волны. А они с братом последовали за ней, оглашая воздух дикими воплями, очарованные зрелищем этой новой, незнакомой им Сары, которую они никогда не видели.

— Она была просто красавицей, — вспоминал Николя, — она была потрясающе красивой восемнадцатилетней девушкой, в которой кипела жизнь и внутренняя энергия, и в тот день я впервые ощутил, что в ней живет счастье и что для нее еще не все потеряно. Что в ней еще не умерла надежда.

А через два года, подумала я, она навсегда исчезла из жизни Дюфэров, забрав с собой в Америку свое тайное прошлое. А еще через двадцать лет она погибла. Интересно, какими они были для нее, эти двадцать лет жизни в Америке? Замужество, рождение сына. Была ли она счастлива в Роксбери? Я понимала, что только Уильям знал ответ на эти вопросы. Только Уильям мог рассказать нам об этом. Я встретила взглядом с Эдуардом и готова была поклясться, что и он думает о том же.

Я услышала скрежет ключа в замке, и на пороге появился мой супруг, загорелый, красивый, пахнущий дорогим одеколоном «*Habit Rouge*», улыбающийся, здоровающийся со всеми за руку. И на память мне невольно пришли строки из песенки Кэрли Саймона, которые, как заявила Чарла, напоминают ей о Бертроне: «Ты пришла на вечеринку так, как будто поднималась на яхту...»



Из-за моей беременности Бертран решил отложить наш переезд в квартиру на рю де Сантонь. В странной новой жизни, к которой я до сих пор не привыкла, его физическое, дружеское присутствие и помощь ощущались на каждом шагу, но душой я его не чувствовала. Его не было со мной. Он мотался по стране больше обычного, возвращался домой поздно, уходил ни свет ни заря. Мы по-прежнему делили с ним постель, но это уже не было супружеское ложе. Между нами выросла Берлинская стена.

Зоя же, напротив, спокойно отнеслась к происходящему. Она часто заводила речь о ребенке, о том, как много он для нее значит, и о том, что она ему очень рада. Когда родители гостили в Париже, она с удовольствием ходила с моей матерью по магазинам, и, попав в «Бонпуант», невероятно дорогой и эксклюзивный бутик детской одежды на Университетской улице, они просто обезумели от восторга.

Большинство окружающих меня людей реагировали точно так же, как моя дочь, мои родители и сестра, или как мои родственники со стороны мужа и *Mamé*: перспектива появления на свет ребенка их несказанно волновала и радовала. Даже Джошуа, чье презрительное отношение к детям и больничным листам по уходу за ними вошло в поговорку, и тот выказал некоторый интерес.

— Я и не подозревал, что в преклонном возрасте у людей тоже рождаются дети, — ехидно заметил он.

Никто и словом не обмолвился о том двусмысленном положении, в котором оказался наш брак. Такое впечатление, что никто ничего не замечал. Неужели все они втайне надеялись, что Бертран сменит гнев на милость после рождения ребенка? Что он примет малыша с распростертыми объятиями?

Я понимала, что мы с Бертраном замкнулись каждый в своей скорлупе, предпочитая молчание живому общению. Мы оба ждали момента, когда ребенок придет в этот мир. И тогда будет видно. Тогда каждому из нас придется сделать первый шаг. И каждый из нас должен будет принять одно-единственное решение.

Однажды утром я почувствовала, как глубоко во мне зашевелился наш малыш. Он брыкался и толкал меня, я была совершенно уверена в

этом, хотя некоторые мамы ошибочно принимают за это образование газов. Мне страстно хотелось, чтобы мой ребенок наконец увидел свет и я могла взять его на руки. Мне ненавистно было это состояние летаргии и бесконечного ожидания. Я чувствовала себя в ловушке. Мне хотелось приблизить наступление зимы, начало следующего года, а с ним и рождение ребенка.

Я всей душой ненавидела затянувшееся лето, уходящую жару, растянувшиеся до бесконечности минуты, падавшие в вечность с неторопливостью пылинок, танцующих в лучах солнца. Я ненавидела слово, которым французы обозначали начало сентября, возобновление занятий в школе и новое начало после летних каникул: *la rentrée*, то есть «возвращение», которое звучало повсюду — на радио, телевидении, на страницах газет и журналов. Я ненавидела людей, которые интересовались, как мы назовем ребенка. Амниоцентез, пункция плодного пузыря, позволила установить его пол, но я не желала, чтобы мне об этом говорили. Пока еще у малыша не было имени. Что отнюдь не означало, что я не была к этому готова.

Я вычеркивала каждый прошедший день в календаре. Сентябрь сменился октябрём. Живот у меня округлился. Мне разрешили вставать, и теперь я могла приходить в офис на работу, встречать Зою из школы, ходить в кино с Изабеллой и встречаться с Гийомом в «Селекте» за обедом.

Но хотя дни и обрели некоторый смысл и значение, пустота и боль во мне не проходили.

Уильям Рейнсферд. Его лицо. Его глаза. Выражение его лица, когда он смотрел на маленькую девочку с желтой звездой на груди. «Господи...» Его голос, когда он произнес это слово.

Интересно, как он живет сейчас? Неужели он просто стер из памяти нашу встречу, после того как, уходя, повернулся спиной ко мне и Зое? Неужели, переступив порог дома, он все забыл?


Или все было по-другому? Быть может, жизнь его превратилась в ад, потому что он не мог забыть моих слов, потому что они изменили все его существование? Мать превратилась для него в незнакомку. Оказывается, у нее было прошлое, о котором он даже не подозревал.

Думала я и о том, сказал ли он что-нибудь жене и детям. Рассказывал ли он им о беременной американке, которая вдруг появилась в Лукке в сопровождении дочери, показала ему фотографию

и заявила, что его мать была еврейкой, что во время войны она попала в облаву? Рассказал ли он им что-нибудь о том, что ей пришлось пережить, о том, как она страдала, как потеряла младшего брата и родителей, о которых они никогда не слышали?

Может быть, он занялся поисками информации о «Вель д'Ив», читал статьи и книги о том, что произошло в июле сорок второго года в самом сердце Парижа.

Может быть, ночами он лежал без сна в своей постели и думал о матери, о ее прошлом, о том, что было правдой, а что осталось тайной — недосказанной, погруженной во тьму.



Ремонт в квартире на рю де Сантонь был почти закончен. Бертран устроил все так, чтобы мы с Зоей переехали туда сразу же после рождения ребенка, в феврале. Квартира выглядела совсем по-другому, она стала красивой и элегантной. Сотрудники мужа постарались на славу. Она больше не несла на себе отпечаток личности и вкусов *Mamé* и, как мне представлялось, уже ничем даже отдаленно не походила на квартиру, в которой некогда жила Сара.

Но, бродя по пахнущим свежей краской пустым комнатам, заглянув на новенькую кухню и в свой личный кабинет, я все время спрашивала себя, а смогу ли жить здесь. Смогу ли я жить здесь, где умер младший братик Сары? Потайного шкафа больше не существовало, его убрали, объединяя две комнаты в одну, но почему-то от этого для меня ничего не изменилось.

Это произошло здесь, на этом самом месте. Я ничего не могла поделать с собой, не могла прогнать воспоминания об этих кошмарных событиях. Я ничего не рассказывала дочери о разыгравшейся здесь трагедии. Но она чувствовала ее.

Однажды сырым ноябрьским утром я отправилась в свои новые апартаменты, чтобы решить вопрос с занавесками, обоями и ковровыми покрытиями. В этом хлопотном деле неоценимую помощь мне оказывала Изабелла, которая сопровождала меня в походах по магазинам и супермаркетам. К нескрываемому восторгу Зои я решила отказаться от неброских, приглушенных тонов, которым отдавала предпочтение в прошлом, и остановить свой выбор на ярких, смелых цветах. Бертран лишь небрежно отмахнулся, говоря:

— Вы с Зоей можете делать все, что хотите. В конце концов, это ваш дом.

Для своей спальни Зоя выбрала зеленовато-желтый и бледно-лиловый тона. В этом она настолько походила на Чарлу, что я не могла не улыбнуться.

На голых полированных половицах меня поджидала внушительная стопка каталогов. Я внимательно перелистывала их, когда зазвонил мой сотовый. Номер был мне знаком — звонили из дома престарелых, в котором жила *Mamé*. В последнее время она

выглядела усталой, раздраженной, иногда бывала просто невыносимой. Было почти невозможно заставить ее улыбнуться, и даже Зое приходилось нелегко во время встреч с бабушкой. Мадам злилась на всех подряд. В последнее время визиты к ней превратились в тягостную обузу.

— Мадемуазель Жармон? Это Вероника, сиделка из дома престарелых. Боюсь, что у меня для вас не очень хорошие новости. Мадам Тезак чувствует себя плохо, у нее случился удар.

Я вздрогнула и выпрямилась. Мне стало страшно.

— Удар?

— Сейчас ей немного лучше, с нею доктор Роше, но все равно вам лучше приехать. Мы уже созвонились с вашим свекром. Но нам не удалось разыскать вашего супруга.

Я нажала кнопку отбоя, сама не своя от беспокойства и страха. В оконные стекла барабанил дождь. Куда подевался Бертран? Я набрала его номер и наткнулась на голосовую почту. В его конторе тоже никто не знал, где он находится, даже Антуан. Я сообщила ему, что нахожусь в квартире на рю де Сантонь, и попросила передать Бертрану, чтобы он позвонил мне как можно быстрее. Я сказала, что дело очень срочное и не терпит отлагательств.

— *Mon Dieu*,^[71] что-нибудь с ребенком? — запинаясь, пробормотал он.

— Нет, Антуан, не с ребенком, а с бабушкой, — ответила я и повесила трубку.

Я выглянула на улицу. Снаружи хлестал настоящий ливень, на город опустился серый блестящий занавес. Я наверняка промокну до нитки. А это плохо, подумала я. Впрочем, плевать. *Mamé*. Замечательная, очаровательная *Mamé*. Моя *Mamé*. Нет, *Mamé* не могла вот так просто взять и оставить меня одну, сейчас она была мне очень нужна. Все случилось слишком быстро, я даже не успела подготовиться. Но разве можно когда-нибудь подготовиться к ее смерти, подумала я. Я огляделась по сторонам, вспомнив о том, что именно здесь, в этой квартире, я впервые встретила с ней. И снова на меня невыносимой тяжестью обрушились события, которые произошли здесь очень давно и совсем недавно. Наверное, они вернулись из прошлого и теперь преследуют меня.

Я решила позвонить Сесиль и Лауре, чтобы сообщить им о том, что случилось, а заодно и убедиться, что они собираются приехать в дом престарелых. Голос Лауры звучал сухо и по-деловому, она разговаривала со мной из своей машины. Мы договорились, что встретимся у *Maté*. Сесиль проявила больше эмоций, кажется, она не на шутку испугалась, в голосе ее звучали слезы.

— Ох, Джулия, я даже боюсь подумать, что *Maté*... ты понимаешь... это слишком ужасно...

Я сообщила ей, что не могу дозвониться до Бертрана. Она удивилась.

— Но я только что разговаривала с ним, — заявила она.

— Ты говорила с ним по сотовому телефону?

— Нет, — нерешительно ответила она.

— Где он, у себя в конторе?

— Он должен заехать за мной с минуты на минуту. Мы поедем с ним в дом престарелых.

— Я не смогла дозвониться до него.

— Вот как? — осторожно заметила она. — Понятно.

И тут я поняла. Я почувствовала, как во мне поднимается гнев.

— Он был у Амели, правильно?

— У Амели? — тупо повторила она.

Я нетерпеливо притопнула ногой.

— Перестань, Сесиль. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю.

— Кто-то звонит в дверь, наверное, это Бертран, — переполошившись, испуганно пролепетала она.

И повесила трубку. Я стояла посреди пустой комнаты, сжимая в руках, как оружие, сотовый телефон. Потом подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Мне хотелось ударить Бертрана. Дело было даже не в его продолжающейся интрижке с Амели. Меня оскорбило то, что у его сестер был номер телефона этой женщины на случай крайней необходимости. А у меня его не было. Меня до глубины души оскорбило то, что несмотря на наш развалившийся брак он так и не нашел в себе мужества признаться мне, что по-прежнему встречается с этой женщиной. Как всегда, обо всем я узнала последней. Обманутая жена из водевилей.

Я стояла так очень долго, слушая, как во мне ворочается и толкается малыш. И не знала, плакать мне или смеяться.

Неужели мне до сих пор небезразличен Бертран, и поэтому мне так больно? Или это во мне говорит лишь уязвленная гордость? Амели, ее парижский гламур и совершенство, ее квартира, выходящая на Трокадеро, вызывающе обставленная в стиле модерн, ее безупречно вышколенные дети — *Bonjour, Madame*,^[72] — и ее крепкие духи, запах которых вьелся в одежду и волосы Бертрана. Если он любил ее, а не меня, то почему боялся сказать мне об этом? Неужели не решался сделать мне больно? Или он страшился реакции Зои? Чего он так испугался? Когда же он наконец поймет, что более всего меня угнетает не его неверность, а именно трусость?

Я прошла на кухню. Во рту у меня пересохло. Я включила воду и принялась пить прямо из-под крана, упираясь своим уже внушительным животом в раковину. Снова выглянув наружу, я заметила, что дождь вроде бы начал стихать. Набросив на себя плащ, я схватила сумочку и направилась к двери.

И тут кто-то постучал в нее тремя короткими, отрывистыми ударами.

Бертран, мрачно решила я. Скорее всего, Антуан или Сесиль посоветовали ему позвонить или приехать.

Я представила себе, как внизу, в машине, сидит и ждет Сесиль. Представила себе ее замешательство. Нервное, напряженное молчание, которое воцарится в салоне в ту самую секунду, как только я сяду в «ауди».

Ну ладно, я им покажу. Я им все скажу, выдам по первое число. Я не стану разыгрывать из себя тихую и покорную французскую супругу. Я заставлю Бертрана сказать мне правду.

Резким рывком я распахнула дверь.

Но мужчина, стоявший на пороге, оказался вовсе не Бертраном.

Я мгновенно узнала его высокий рост, разворот широких плеч. Пепельно-седые светлые волосы потемнели от дождя и мокрыми прядями прилипли к голове.

Уильям Рейнсферд.

Ошеломленная, я сделала шаг назад.

— Я выбрал неудачный момент? — спросил он.

— Нет, — с трудом выдавила я.

Ради всего святого, что здесь происходит? Что ему нужно?

Мы молча смотрели друг на друга. С тех пор как я видела его в последний раз, в его лице что-то изменилось. Он выглядел усталым, изможденным. Его что-то мучило и угнетало. Он больше ничем не напоминал упитанного, загорелого сибарита.

— Мне нужно поговорить с вами, — заявил он. — Дело срочное. Прошу прощения, я не смог найти ваш номер телефона. Поэтому и приехал сюда. Вчера вечером вас здесь не было, поэтому я подумал, что лучше зайти еще раз, с утра.

— Как вы узнали этот адрес? — сбитая с толку, спросила я. — Он же нигде не зарегистрирован, мы сюда еще не переехали.

Из кармана плаща он вынул конверт.

— Адрес был указан вот здесь. Та же самая улица, которую вы упомянули в Лукке. Рю де Сантонь.

Я покачала головой.

— Все равно я ничего не понимаю.

Он протянул мне конверт, старый, с потрепанными и рваными уголками. На нем не было никакого адреса.

— Откройте его, — попросил он.

Я вынула из конверта тонкий, ветхий блокнот, выцветший рисунок и длинный латунный ключ, который с лязгом упал на пол. Он наклонился, поднял его и положил на ладонь, чтобы я видела.

— Что это? — устало поинтересовалась я.

— Когда вы уехали из Лукки, я был в шоке. Я все никак не мог забыть эту фотографию. Я все время думал о ней.

— Да, — протянула я, чувствуя, как в груди у меня учащенно забилось сердце.

— Я полетел в Роксбери, чтобы повидаться с отцом. Он очень болен, как вам, должно быть, известно. Он умирает от рака и больше не может разговаривать. Я позволил себе осмотреться, скажем так, и в его письменном столе нашел вот этот конверт. Он сохранил его, даже спустя столько лет. Мне он его никогда не показывал.

— Зачем вы приехали? — прошептала я.

В его глазах таилась боль, боль и страх.

— Потому что я хочу, чтобы вы рассказали мне о том, что произошло. О том, что случилось с моей матерью, когда она была маленькой. Я должен знать все. И вы — единственный человек, который может мне в этом помочь.

Я взглянула на ключ, который он держал в руке. Потом посмотрела на рисунок. На нем был неумело изображен маленький кудрявый мальчуган. Мне показалось, что он сидел в тесном шкафу, держа на коленях книгу, а рядом с ним лежал плюшевый медвежонок. На обороте выцветшими чернилами было написано: «*Мишель. Рю де Сантонь, 26*». Я перевернула несколько страниц в блокноте. Никаких дат и чисел. Короткие предложения на французском, написанные в форме стихотворения, неразборчивые и уже почти неразличимые. В глаза мне бросились отдельные слова: «концентрационный лагерь», «ключ», «не забуду никогда», «смерть».

— Вы читали это? — спросила я.

— Пытался. Я не очень силен во французском. Так что смог понять далеко не все.

В кармане у меня зазвонил телефон, и мы оба вздрогнули. Я нащупала трубку ставшими вдруг чужими пальцами. Это был Эдуард.

— Где вы, Джулия? — мягко спросил он. — Ей стало хуже. Она хочет вас видеть.

— Еду, — ответила я.

Уильям Рейнсферд поглядел на меня сверху вниз.

— Вам надо уходить?

— Да. Неотложное семейное дело. Бабушка моего мужа... У нее случился удар.


— Простите.

Он заколебался, потом положил мне руку на плечо.

— Когда я могу вновь увидаться с вами? Чтобы поговорить?

Я открыла входную дверь, повернулась, посмотрела на его руку у себя на плече. Было странно и трогательно видеть его на пороге этой квартиры, того самого места, которое принесло его матери столько боли и печали. И при этом понимать, что он еще ничего не знает, ничего не знает о том, что случилось здесь, случилось с его семьей, с его бабушкой и дедушкой, с его дядей.

— Вы едете со мной, — ответила я. — Я хочу, чтобы вы познакомились кое с кем.



Усталое, осунувшееся лицо *Mamé*. Кажется, она спала. Я заговорила с нею, но не была уверена, что она меня слышит. Потом я почувствовала, как ее пальцы сжали мою руку. Она не отпускала меня. Она знала, что я здесь.

Позади меня, вокруг кровати, столпилось семейство Тезаков. Бертран. Его мать Колетта. Эдуард. Лаура и Сесиль. А позади них, в коридоре, не решаясь войти, переминался с ноги на ногу Уильям Рейнсферд. Бертран, озадаченный, метнул на него непонимающий взгляд. Наверное, он подумал, что это мой новый кавалер. В другое время я бы только посмеялась. Эдуард тоже несколько раз взглянул на него. Его явно разбирало любопытство, он даже прищурился, что-то припоминая, потом посмотрел на меня.

И только позже, когда мы выходили из дома престарелых, я взяла свекра под руку. Доктор Роше заверил нас, что состояние *Mamé* стабилизировалось. Но она все еще была очень слаба. Никто не мог суверенностью сказать, чего следует ожидать. Мы должны быть готовы ко всему, заявил он. Мы должны были убедить друг друга в том, что это конец.

— Мне так жаль, Эдуард, — пробормотала я.

Он погладил меня по щеке.

— Моя мать любит вас, Джулия. Она очень любит вас.

Показался Бертран, выражение лица у него было угрюмым и печальным. Я взглянула на него, мимоходом вспомнив об Амели и размышляя над тем, а не сказать ли мне что-нибудь обидное, что причинило бы ему нешуточную боль, но потом решила не унижать ни себя, ни его. В конце концов, у нас еще будет время поговорить об этом. А сейчас это не имело никакого значения. В данный момент я могла думать только о *Mamé* и о высоком человеке, поджидавшем меня в коридоре.

— Джулия, — обратился ко мне Эдуард, оглядываясь через плечо, — кто это?

— Сын Сары.

Ошеломленный, Эдуард несколько минут молча разглядывал незнакомца.

— Это вы ему позвонили?

— Нет. Совсем недавно он обнаружил кое-какие бумаги, которые его отец втайне от него хранил все эти годы. И какие-то записи Сары. Он здесь, потому что хочет услышать всю историю. Он приехал только сегодня.

— Мне бы хотелось поговорить с ним, — заявил Эдуард.

Я отправилась за Уильямом и сообщила ему, что с ним хочет поговорить мой свекор. Он покорно последовал за мной, и в его присутствии Бертран и Эдуард, Колетта и ее дочери выглядели карликами.

Эдуард Тезак поднял на него глаза. Его лицо было спокойным и собранным, но в глазах блеснула предательская влага.

Он протянул руку. Уильям пожал ее. Момент был очень волнующий и напряженный. Все молчали.

— Сын Сары Старжински... — пробормотал Эдуард.

Я бросила быстрый взгляд на Колетту с Лаурой и Сесиль. Они все глаза следили за происходящим, на их лицах было написано любопытство и вежливое недоумение. Они никак не могли взять в толк, что здесь происходит. Только Бертран понимал, в чем дело, только ему была известна вся история, хотя он не заговаривал об этом с того вечера, когда обнаружил в моей сумочке красную папку с надписью «Сара». Он избегал касаться этой темы даже после того, как пару месяцев назад столкнулся в нашей квартире с Дюфэрами.

Эдуард неторопливо откашлялся. Мужчины по-прежнему пожимали друг другу руки. Он заговорил на английском языке. На весьма приличном английском, хотя и с сильным французским акцентом.

— Меня зовут Эдуард Тезак. Мы встретились с вами в трудную минуту. Моя мать умирает.

— Да, я знаю. Мне очень жаль, — откликнулся Уильям.

— Джулия подробно расскажет вам обо всем. Но ваша мать, Сара...

Эдуард умолк. Голос у него сорвался. Супруга и дочери с удивлением смотрели на него.

— Что здесь происходит? — озабоченно пробормотала Колетта. — Кто такая эта Сара?

— Речь идет о том, что случилось шестьдесят лет назад, — сказал Эдуард, изо всех сил стараясь, чтобы у него не дрожал голос.

Меня охватило неудержимое желание подойти к нему и обнять. Эдуард глубоко вздохнул, и лицо его понемногу обрело нормальный цвет. Он улыбнулся Уильяму робкой, застенчивой улыбкой, которой я никогда не видела у него раньше.

— Я никогда не забуду вашу мать. Никогда.

Лицо Эдуарда исказила гримаса боли, улыбка исчезла, и я заметила, как тяжело он дышит, с трудом преодолевая физическое недомогание и волнение. Совсем как в тот день, когда мы разговаривали в его машине.

Молчание становилось тяжелым, давящим, неловким, и женщины с недоумением поглядывали на нас.

— Я очень рад тому, что могу сказать это вам сегодня, по прошествии стольких лет.

Уильям Рейнсферд кивнул.

— Благодарю вас, сэр, — негромко ответил он. Я заметила, что и он побледнел. — Я слишком многого не знаю и приехал сюда затем, чтобы узнать все. Думаю, моей матери пришлось много выстрадать. И я должен знать почему.

— Мы сделали для нее все, что могли, — сказал Эдуард. — В этом я могу вас заверить. Остальное вам расскажет Джулия. Она все объяснит. От нее вы узнаете историю своей матери. Она расскажет о том, что сделал для вашей матери мой отец. До свидания.

Он отвернулся, превратившись внезапно в постаревшего, изнуренного, больного мужчину. Бертран, не отрываясь, смотрел на него, и во взгляде его было какое-то отстраненное, болезненное любопытство. Наверняка ему еще не приходилось видеть отца таким растроганным. На мгновение мне стало интересно, что он при этом испытывает и отдает ли себе отчет в происходящем.

Эдуард зашагал прочь, за ним потянулись жена и дочери, на ходу забрасывая его вопросами. Последним шел его сын, молча, засунув руки в карманы. Интересно, расскажет ли Эдуард всю правду Коlette и своим дочерям? Скорее всего, решила я. И я легко могла представить себе их удивление и потрясение.

Мы с Уильямом Рейнсфердом остались одни в холле дома престарелых. Снаружи, на рю де Курсей, по-прежнему шел дождь.

— Как насчет чашечки кофе? — предложил он.

У него, оказывается, была приятная, располагающая улыбка.

Мы зашагали под морозящим дождем к ближайшему кафе. Сели за столик, заказали два эспрессо. На какое-то мгновение воцарилась тишина.

Потом он спросил:

— Вы очень близки с пожилой леди?

— Да, — ответила я. — Очень близка.

— Я вижу, вы ждете ребенка?

Я похлопала себя по большому животу.

— Должна родить в феврале.

Наконец он медленно произнес:

— Расскажите мне историю моей матери.

— Это будет нелегко, — честно предупредила я.

— Да, я понимаю. Но я должен ее услышать. Пожалуйста, Джулия.

Поначалу медленно, я начала свое повествование, негромко, приглушенным голосом, время от времени поднимая на него глаза. Пока я говорила, мысли мои устремились к Эдуарду, который сейчас уже, вероятно, сидел в своей элегантной, бледно-розовой гостиной — в комнате на Университетской улице, рассказывая ту же самую историю жене, дочерям, сыну. Облава. Велодром «Вель д'Ив». Концентрационный лагерь. Побег. Маленькая девочка, вернувшаяся из небытия. Мертвый малыш в шкафу. Две семьи, связанные смертью и тайной. Две семьи, которые соединила печаль. Одна часть меня хотела, чтобы человек, сидевший сейчас передо мной, узнал всю правду. Другая — защитить его, уберечь от ужасной и страшной реальности. От горького образа маленькой девочки, на долю которой выпало нечеловеческое страдание. От ее боли и потери. От его боли и потери. Чем дольше я говорила, чем больше подробностей приводила, чем больше вопросов у него возникало, тем сильнее я чувствовала, что мои слова ранят его, как отравленные стрелы.

Закончив, я снова подняла на него глаза. Лицо Уильяма покрылось смертельной бледностью. Он вынул из конверта блокнот и молча протянул мне. Латунный ключ лежал между нами на столе.

Я взяла блокнот, глядя на него и не говоря ни слова. Его глаза умоляли меня продолжать.

Я осторожно раскрыла блокнот. Первое предложение я прочла про себя. А потом стала читать вслух, синхронно переводя с французского на родной язык. Получалось медленно; почерк — наклонный, торопливый, слабый — разобрать было нелегко.

Где ты, мой маленький Мишель? Мой прекрасный Мишель.

Где ты теперь?

Помнишь ли ты меня?

Мишель.

Меня, Сару, свою сестру.

Ту, которая так и не вернулась к тебе.

Ту, которая оставила тебя в запертом шкафу.

Ту, которая думала, что там ты будешь в безопасности.

Прошли годы, но я по-прежнему храню этот ключ.

Ключ от нашего потайного убежища.

Видишь, я хранила его, день за днем прикасаясь к нему,

вспоминая тебя.

После того дня, 16 июля 1942 года, я не расставалась с ним.

Никто не знает. Никто ничего не знает о ключе, никто не знает о тебе.

О том, что ты сидел в шкафу.

Никто не знает ни о маме, ни о папе.

Ни о концентрационном лагере.

О лете 1942 года.

О том, кто я такая на самом деле.

Мишель.

*Не было ни одного дня, чтобы я не думала о тебе.
Не вспоминала нашу квартиру на рю де Сантонь.
Я ношу в себе твою гибель так, как могла бы
носить ребенка.
И я буду носить ее в себе до самой смерти.
Иногда мне хочется умереть.
Мне невыносима тяжесть твоей смерти.
И смерти мамы, и смерти папы.
Меня преследуют видения поездов для скота,
которые везут их
на смерть.
В голове у меня стучат колеса этого поезда, я
слышу их каждый день последние тридцать лет.
Мне невыносим груз прошлого.
Но я не могу выбросить ключ от шкафа.
Это единственная вещь, которая связывает тебя и
меня, не считая твоей могилы.*

*Мишель.
Как я могу делать вид, что я — другая?
Как мне заставить их поверить, что я — другая
женщина?
Нет, я не могу забыть.
Стадион.
Концентрационный лагерь.
Поезд.
Жюль и Женевьева.
Ален и Генриетта.
Николя и Гаспар.
Мой ребенок не даст мне забыть. Я люблю его. Он
мой сын.
Мой муж не знает, кто я такая.
Он не знает моего прошлого.
Но я не могу забыть.
Я сделана ужасную ошибку, приехав сюда.
Я думала, что смогу измениться. Думала, что
смогу забыть.*

Но я не смогла.

Их отправили в Аушвиц. И там убили.

Мой братик. Он умер в шкафу.

У меня не осталось ничего.

Я думала, что могу найти что-нибудь здесь, но я ошибалась.

Оказывается, ребенка и мужа недостаточно.

Они ничего не знают.

Они не знают, кто я такая.

И никогда не узнают.

Мишель.

В снах ты приходишь и забираешь меня отсюда.

Ты берешь меня за руку и уводишь прочь.

Жизнь для меня невыносима.

*Я смотрю на ключ и хочу вернуться к тебе,
вернуться в прошлое.*

*К тем чистым, невинным, спокойным дням до
войны.*

Я знаю, что мои раны никогда не заживут.


Я надеюсь, что сын простит меня.

Он никогда ни о чем не узнает.

Никто никогда ни о чем не узнает.

Zakhor. Помни.

Al Tichkah. Не забывай.



В кафе было шумно и оживленно, но казалось, что на столик, за которым сидели мы с Уильямом, кто-то набросил полог тишины.

Я отложила блокнот в сторону. То, что мы только что узнали, грозило раздавить меня.

— Она покончила с собой, — невыразительно произнес Уильям. — Это не был несчастный случай. Она специально направила машину в дерево.

Мне нечего было ему сказать. Я не могла говорить. Я не знала, что тут можно сказать.

Мне хотелось взять его за руку и пожать ее, но что-то удержало меня. Я глубоко вздохнула. Но слова по-прежнему не шли у меня с губ.

Между нами на столике лежал латунный ключ, молчаливый свидетель прошлого, очевидец гибели Мишеля. Я почувствовала, как Уильям замыкается в себе, как уже было однажды в Лукке, когда он выставил перед собой руки, словно отгораживаясь от меня и отталкивая. Он не шевелился, но я поняла, что он отдаляется от меня. И снова меня охватило неудержимое желание коснуться его руки, обнять его. Почему у меня возникло такое чувство, будто у нас много общего? Почему-то он вовсе не казался мне незнакомцем, и, что совсем уж невероятно, я чувствовала, что и я не чужая ему. Что же свело нас вместе? Мои поиски, мое стремление узнать правду, мое сострадание к его матери? Он ничего не знал обо мне, не знал о моем распавшемся браке, о моем едва не случившемся выкидыше в Лукке, ничего не знал ни о моей работе, ни о моей жизни. А что мне было известно о нем самом, о его жене, детях, карьере? Его настоящее было покрыто для меня тайной. Но его прошлое, прошлое его матери, я видела так, как видно в темноте дорожку под ногами, освещенную лучом сильного фонаря. И мне очень хотелось дать понять этому мужчине, что мне не все равно, что случившееся с его матерью изменило и мою жизнь тоже.

— Спасибо, — сказал он наконец. — Спасибо за то, что вы мне рассказали.

Голос его звучал неестественно, натянуто. Я вдруг поняла, что хочу, чтобы он сломался, заплакал, проявил хоть какие-нибудь чувства.

Почему? Да потому что мне нужно было дать выход собственным эмоциям, мне нужны были слезы, чтобы смыть боль, печаль и пустоту, мне нужно было переживать вместе с ним, ощутить особенное, интимное, личное единение с этим мужчиной.

Уильям уходил, он уже встал из-за столика, забрал ключ и блокнот. Мне невыносима была мысль, что он уйдет так просто и так быстро. Если он уйдет прямо сейчас, убеждала я себя, я больше никогда его не увижу. Он больше никогда не захочет ни разговаривать, ни увидаться со мной. Я потеряю последнюю нить, которая еще связывала меня с Сарой. Я потеряю его. По какой-то мне самой непонятной причине Уильям Рейнсферд был единственным человеком, рядом с которым я хотела сейчас быть.

Должно быть, он что-то такое прочел на моем лице, потому что заколебался, не решаясь повернуться и уйти.

— Я должен съездить туда, — сказал он, — в Бюн-ла-Роланд и на рю Нелатон.

— Я могу поехать с вами, если хотите.

Глаза наши встретились. И снова я увидела в них чувства, которые, как мне было совершенно точно известно, я в нем вызывала — сложную смесь презрения и благодарности.

— Нет, я бы предпочел поехать один. Но я буду очень признателен, если вы дадите мне адрес братьев Дюфэр. Я бы хотел встретиться и с ними тоже.

— Конечно, — пробормотала я, глядя в свой ежедневник и торопливо записывая для него адрес на клочке бумаги.

Внезапно он снова тяжело опустился на стул.

— Знаете, кажется, мне нужно выпить, — сказал он.

— Конечно, — согласилась я, знаком подзывая официантку. Мы заказали вино.

Пока мы молча потягивали напитки, я про себя подивилась тому, как мне комфортно, легко и спокойно в его присутствии. Двое соотечественников-американцев не спеша наслаждаются вином. Нам не нужны были слова. И я не ощущала никакой неловкости. Но я твердо знала, что как только он допьет последнюю каплю своего вина, то встанет и уйдет навсегда.


И вот этот момент наступил.

— Спасибо вам, Джулия, спасибо вам за все.

Он не сказал: «Давайте не терять друг друга из виду, давайте писать друг другу по электронной почте, давайте созваниваться время от времени». Нет, ничего этого он не сказал. Но я знала, о чем кричало его молчание, кричало громким и повелительным голосом: «Больше никогда не звоните мне. Не ищите меня, пожалуйста. Мне нужно разобраться со своей жизнью. Мне нужно время и тишина. И еще спокойствие. И мир. Мне нужно понять, кто же я такой».

Я смотрела, как он уходит от меня под дождем, пока его высокая фигура не затерялась в городской суете.

А потом я сложила руки на животе, позволяя одиночеству обнять меня.



Вернувшись вечером домой, я обнаружила, что меня поджидает семья Тезаков в полном составе. Они сидели с Бертраном и Зоей в гостиной. Я мгновенно ощутила, что атмосфера в комнате очень напряженная.

Родственники явно разделились на две группы: Эдуард, Зоя и Сесиль были на моей стороне и одобряли мои действия, а Колетта с Лаурой резко отрицательно отнеслись к тому, что я сделала.

Бертран не проронил ни слова, сохраняя непривычное молчание. На лице его была написана скорбь, уголки рта трагически опущены. Он избегал смотреть на меня.

Как я могла так поступить, взорвалась Колетта. Как я могла разыскивать эту семью, как я могла навязываться этому мужчине, который, как оказалось, не знал ничего о прошлом своей матери!

— Этот бедняга... — подхватила моя золовка, вздрагивая всем телом. — Только представьте, теперь он узнал, кто он такой на самом деле, узнал о том, что его мать еврейка. Узнал о том, что вся его семья была уничтожена в Польше, а его дядя умер от голода. Джулии следовало оставить его в покое.

Внезапно Эдуард вскочил на ноги и поднял руки над головой.

— Мой Бог! — воскликнул он. — Что случилось с этой семьей? — Зоя прижалась ко мне, ища защиты и укрытия. — Джулия совершила храбрый и честный поступок, — продолжал он, кипя от ярости. — Она сделала все, чтобы семья маленькой девочки знала, что о ней не забыли. Что мы помним о ней. Что мой отец побеспокоился о том, чтобы Сара Старжински не чувствовала себя лишней в приемной семье и знала, что ее любят.

— Ох, папа, прекрати, пожалуйста, — вмешалась Лаура. — Все поступки Джулии продиктованы исключительно эмоциями. Никогда не следует ворошить прошлое, из этого не получается ничего хорошего, особенно если речь идет о том, что случилось во время войны. Никто не хочет помнить об этом, как не хочет об этом и думать.

Она не смотрела на меня, но я сполна ощутила ее враждебность. Я легко догадалась, что она имеет в виду. Такая выходка вполне и только в духе американки. Никакого уважения к прошлому. Никакого

представления о том, что такое семейная тайна. А манеры? А полное отсутствие такта? Грубая, неотесанная американка: *l'Americaine avec ses gros sabots*, [73] настоящий слон в посудной лавке.

— А я категорически не согласна! — пронзительным голосом выкрикнула Сесиль. — И я очень рада, что ты рассказал о том, что случилось, папа. Рассказал эту жуткую историю о бедном мальчике, который умер в квартире, и о маленькой девочке, которая вернулась за ним. Я считаю, что Джулия поступила правильно, разыскав эту семью. В конце концов, мы не сделали ничего такого, чего следовало бы стыдиться.

— Позвольте! — заявила Колетта, поджав губы. — Если бы Джулия не сунула нос не в свое дело, Эдуард, возможно, так никогда и не заговорил бы об этом. Правильно?

Эдуард взглянул на свою супругу. Лицо его выражало презрение, а голос был холоден как лед.

— Колетта, отец взял с меня слово, что я никогда и никому не расскажу о том, что случилось. С величайшим трудом мне удавалось выполнять его волю целых шестьдесят лет. Но теперь я рад тому, что вы знаете обо всем. Тому, что я могу разделить свою ношу с вами, пусть даже это кое-кому не по нраву.

— Хвала Господу, *Mamé*, ни о чем не подозревает, — лицемерно вздохнула Колетта, поправляя прическу.

— О, вы ошибаетесь, бабушка все знает, — подала голос Зоя.

Щеки у нее покраснели, как маков цвет, но она храбро обвела взглядом лица собравшихся.

— Она сама рассказала мне о том, что случилось. Я ничего не знала о маленьком мальчике, наверное, мама не хотела, чтобы я услышала эту историю. Но *Mamé* рассказала мне все. — Воодушевившись, Зоя продолжала: — Она знала обо всем с того момента, как это случилось. *Concierge* рассказала ей, что Сара вернулась. И еще она сказала, что дедушку мучили кошмары, ему снился мертвый мальчик в комнате. Она сказала, что это было ужасно — знать о том, что случилось, и не иметь возможности поговорить об этом с мужем, с сыном, со всей семьей. Она сказала, что эта история изменила моего прадедушку. Она сказала, что он стал другим. С ним произошло что-то такое, о чем он не мог говорить даже с ней.

Я перевела взгляд на свекра. Он, не веря своим ушам, смотрел на мою дочь.

— Зоя, она знала? Она знала об этом все эти годы и молчала?

Зоя кивнула.

— *Mamé* сказала, что ей пришлось хранить эту ужасную тайну, что она все время думала о той маленькой девочке. И еще она добавила, что очень рада, что теперь и я знаю обо всем. Бабушка сказала, что нам следовало поговорить об этом намного раньше, что мы должны были поступить так, как сделала мама, и что мы не должны были ждать так долго. Мы должны были найти семью этой маленькой девочки. Мы были не правы, храня все это в тайне. Вот что она мне сказала. Как раз перед тем, как у нее случился удар.

В комнате повисла долгая, мучительная тишина.

Зоя выпрямилась. Поочередно посмотрела на Колетту, на Эдуарда, на своих теток, на отца. На меня.

— Есть еще кое-что, что я хочу сказать вам, — добавила она, легко переходя с французского на английский и намеренно подчеркивая свой американский акцент. — Мне плевать на то, что думает кое-кто из вас. Мне плевать, что вы думаете, будто мама поступила неправильно и сделала глупость. А я по-настоящему горжусь ее поступком. Я горжусь тем, что она отыскала Уильяма и рассказала ему все. Вы и понятия не имеете, чего ей это стоило и что это значило для нее. И что это значит для меня. И, скорее всего, что это значит для него. И знаете что? Когда я вырасту, я хочу быть похожей на нее. Я хочу быть такой матерью, которой могли бы гордиться мои дети. *Bonne-nuit.* [74].

Она отвесила всем смешной маленький поклон, вышла из комнаты и тихо притворила за собой дверь.

После ее ухода мы долго сидели молча. Я заметила, что выражение лица Колетты стало каменным, почти жестким. Лаура рассматривала себя в карманном зеркальце, проверяя макияж. Сесиль оцепенела, она явно растерялась и не знала, как себя вести.

Бертран не проронил ни слова. Он смотрел в окно, заложив руки за спину. Он ни разу не взглянул на меня. Или на кого-нибудь из нас.

Эдуард поднялся и ласково, по-отечески погладил меня по голове. Он подмигнул мне, лукаво глядя на меня своими выцветшими

голубыми глазами, а потом склонился к моему уху и прошептал кое-что по-французски.

— Ты все сделала правильно. Ты все сделала, как надо. Спасибо.

Но потом, уже лежа одна в постели, будучи не в состоянии читать или думать, вообще делать что-либо, кроме как лежать и смотреть в потолок, я усомнилась в этом.

Я вспомнила Уильяма. Где бы он сейчас ни был, он наверняка пытается склеить заново свою разбитую на кусочки прежнюю жизнь.

Я подумала о семействе Тезаков, которое наконец-то высунуло нос из своей норы. Ведь членам семьи пришлось общаться между собой из-за печальной и мрачной тайны, которая выплыла на белый свет.

Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as bien fait. [75]

Был ли Эдуард прав? Не знаю. Сама я в этом сомневалась.

Зоя открыла дверь, потихоньку забралась ко мне в постель, как маленький заблудившийся щенок, и прижалась ко мне всем телом. Она взяла мою руку, нежно поцеловала ее, а потом положила голову мне на плечо.

Я слушала приглушенный шум уличного движения на бульваре дю Монпарнас. Было уже поздно. Бертран наверняка вернулся в объятия Амели. Он теперь так далеко от меня и стал совсем чужим, как иностранец. Как посторонний человек, которого я совсем не знала.

Две семьи, которые я сегодня свела вместе, пусть даже на один день. Две семьи, которые уже никогда не станут прежними.

Правильно ли я поступила?

Я не знала, что и думать. И не знала, во что верить.

Лежащая рядом Зоя заснула, и ее спокойное дыхание щекотало мне щеку. Я подумала о ребенке, который должен скоро появиться на свет, и ощутила нечто вроде умиротворения. Чувство покоя, которое позволило мне свободно вздохнуть и расслабиться, пусть даже ненадолго.

Но боль и тоска не проходили.

Нью-Йорк, 2005 год

— Зоя! — крикнула я. — Ради Бога, возьми сестру за руку, не то она свалится с этой штуки и свернет себе шею!

Моя длинноногая старшая дочь скорчила рожицу.

— Мама, ты ведешь себя как параноик.

Она схватила малышку за пухленькую ручку и усадила на трехколесный велосипед. Та яростно заработала маленькими ножками, велосипед покатился по гаревой дорожке, и Зоя вприпрыжку пустилась следом. Малышка повизгивала от восторга, отчаянно выгибая шейку назад, чтобы убедиться, что я смотрю на нее, со всем тщеславием, присущим двухлетнему ребенку.

Центральный парк и первое по-настоящему многообещающее дуновение весны. Блаженствуя, я вытянула ноги и подставила лицо солнечным лучам.

Мужчина, сидевший рядом, ласково погладил меня по щеке.

Нейл. Мой приятель. Немного старше меня. Адвокат. Разведен. Живет в районе Флэт-Айрон с двумя сыновьями-подростками. Меня познакомила с ним сестра. Он мне нравился. Нет, я не была в него влюблена, но мне нравилось его общество. Он был интеллигентным, воспитанным человеком. Он не собирался жениться на мне, хвала Господу, и даже время от времени мирился с моими дочерьми.

С тех пор как мы переехали сюда, у меня сменилось несколько приятелей. Ничего серьезного. Ничего особенно важного. Зоя называла их моими поклонниками, а Чарла — кавалерами, в духе Скарлетт О'Хары. Моего предыдущего поклонника, который был до Нейла, звали Питером. Он являлся обладателем картинной галереи, роскошной плечи на затылке, которая причиняла ему нешуточные страдания, и продуваемой всеми ветрами мансардной мастерской-квартирки. Все они были приличными, скучноватыми, стопроцентными американцами средних лет. Вежливыми, искренними и педантичными. У них была достойная работа, они отличались хорошим воспитанием и поведением, а также тем, что были разведены. Они заезжали за мной, они привозили меня обратно, они предлагали мне свою руку и свой зонтик. Они приглашали меня на обед, водили в театр, Музей современного искусства, в оперу, на бродвейские шоу-

премьеры, на ужин и иногда укладывали в свою постель. Нельзя сказать, чтобы я была в восторге, но приходилось терпеть, во всяком случае. В последнее время я занималась сексом главным образом потому, что чувствовала себя обязанной заниматься им. Он получался каким-то механическим и скучным. Из него тоже что-то ушло. Страсть. Наслаждение. Пылкость. Словом, из него ушло почти все.

У меня появилось стойкое ощущение, будто кто-то — я? — перематывает вперед в ускоренном режиме фильм моей жизни, в котором я выгляжу в точности так, как один из туповатых персонажей Чарли Чаплина. То есть делаю все, что полагается делать, только неловко и поспешно, как будто у меня нет другого выхода, и на губах у меня застыла вымученная улыбка, и я делаю вид, что абсолютно счастлива и довольна своей новой жизнью. Иногда Чарла украдкой бросала на меня встревоженные взгляды, а потом неизменно интересовалась:

— Эй, с тобой все в порядке?


Она подталкивала меня локтем, и я послушно бормотала:

— Да, конечно, все просто замечательно.

Кажется, она мне не очень верила, но на какое-то время оставляла в покое. Временами и мать внимательно всматривалась в мое лицо, после чего обеспокоенно поджимала губы:

— У тебя все в порядке, милая?

Я с беззаботной улыбкой отмахивалась от ее страхов.



Великолепное, свежее, прохладное утро в Нью-Йорке. Такого никогда не бывает в Париже. Вкусный свежий воздух. Ярко-синее небо. Над деревьями нависает линия горизонта большого города. Очень большого. Впереди сплошные заросли кустарников и деревьев. Слабый ветер доносит запахи хот-догов и сдобных кренделей.

Я протянула руку и погладила Нейла по колену, по-прежнему не открывая глаз, прикрытых от лучей набирающего силу солнца. Нью-Йорк и его контрастная, яростная погода. Палящее лето. Морозная зима. И свет, озаряющий город, — яркий, серебристый свет, который я в конце концов полюбила. Теперь мне кажется, что Париж и его серые дождливые рассветы остались где-то на другой планете.

Я открыла глаза и принялась наблюдать за тем, как резвятся и скачут мои дочери. Буквально за одну ночь Зоя превратилась в потрясающе красивую девочку-подростка, гибкую и подвижную. Она походила одновременно и на Чарлу, и на Бертрана, она унаследовала их породу, класс, очарование, обаяние, и эта вздорная и необыкновенно мощная комбинация Джермондов и Тезаков приводила меня в восхищение.

Малышка, впрочем, была совершенно другой. Мягкая, кругленькая, хрупкая. Она требовала внимания, заботы, поцелуев и ласк, причем намного больше, чем Зоя в ее возрасте. Может, все дело в том, что рядом с ней не было отца? Или в том, что мы втроем — я, Зоя и она — уехали из Франции в Нью-Йорк вскоре после ее рождения? Я не знала. Честно говоря, и не особенно мучила себя подобными вопросами.

Было очень странно и непривычно вновь вернуться в Америку после стольких лет, проведенных в Париже. Я до сих пор временами ощущала эту странность. Я все еще не чувствовала себя дома. И часто спрашивала себя, сколько еще это может длиться. Но так уж получилось. У меня возникли серьезные осложнения. И это решение далось мне нелегко.

Малышка родилась недоношенной, что стало причиной нешуточной тревоги, боли и беспокойства. Она появилась на свет сразу же после Рождества, за два месяца до планируемого срока. Мне

пришлось пережить болезненное кесарево сечение в операционной клинике Святого Винсента. Рядом со мной находился Бертран, обеспокоенный, взвинченный и трогательный, словом, непохожий сам на себя. В результате всех этих мучений я родила крошечную, прекрасную маленькую девочку. Был ли Бертран разочарован? Что до меня, то я, во всяком случае, не была. Этот ребенок значил для меня слишком много. Я сражалась за нее, я не сдавалась и победила. Она стала для меня наградой.

Вскоре после ее рождения и перед самым переездом в квартиру на рю де Сантонь Бертран набрался смелости и признался, что любит Амели, собирается жить с ней и хочет переселиться в ее квартиру на Трокадеро. Он заявил, что не может больше обманывать меня и Зою, что развод должен состояться обязательно, но процедура будет быстрой и безболезненной. И тогда, слушая его пространные и путанные признания, глядя, как он меряет шагами комнату, заложив руки за спину и опустив глаза, я впервые подумала о том, чтобы вернуться в Америку. Я дослушала Бертрана до конца. Он выглядел опустошенным, сломленным, обессиленным, но справился со своей нелегкой задачей. Наконец он был честен со мной. И с собой тоже. Я во все глаза смотрела на своего красивого, чувственного мужа, а потом поблагодарила его. Он не на шутку удивился. Бертран признался, что ожидал более сильной и резкой реакции с моей стороны. Он ожидал криков, оскорблений, ссоры. Малышка у меня на руках завозилась и запищала, размахивая крошечными ручонками.

— Никаких ссор, — пообещала я. — Никаких криков, никаких оскорблений. Ты доволен?

— Доволен, — ответил он. А потом наклонился и поцеловал меня и ребенка.

Он уже чувствовал и вел себя так, словно ушел из моей жизни. Ушел навсегда.

В ту ночь, поднимаясь с кровати, чтобы накормить голодную малышку, я думала о возвращении в Штаты. Но куда, в Бостон? Нет, сама мысль о том, чтобы вернуться в свое прошлое, в город своего детства, вызывала у меня отвращение.

И внезапно я поняла, что должна сделать.

Нью-Йорк. Зоя, я и малышка, мы можем поехать в Нью-Йорк. Там жила и работала Чарла, да и мои родители находились неподалеку.

Нью-Йорк. А почему бы и нет? Я не слишком хорошо знала этот город, мне еще никогда не приходилось подолгу бывать там, если не считать ежегодных поездок в гости к сестре.

Нью-Йорк. Пожалуй, единственный город в мире, способный составить конкуренцию Парижу в смысле полнейшей непохожести на него. Чем больше я думала, тем больше мне нравилась эта идея. Я не стала обсуждать ее с друзьями. Я знала, что Эрве, Кристоф, Гийом, Сюзанна, Холли, Джейн и Изабелла будут расстроены моим отъездом. Но знала я и то, что они поймут меня и одобряют мое решение.

А потом умерла *Mamé*. Она кое-как оправилась от последствий перенесенного в ноябре инсульта, но больше не могла разговаривать, хотя и пришла в сознание. Ее перевезли в отделение реанимации в клинику Кошена. Ее смерть не стала для меня неожиданностью, я внутренне готовилась к ней, но все равно потрясение оказалось очень сильным.

И вот на похоронах, которые состоялись в Бургундии, на маленьком печальном кладбище, Зоя спросила у меня:

— Мама, а мы действительно должны переезжать на рю де Сантонь?

— Думаю, что твой отец ожидает от нас именно этого.

— А *ты сама* хочешь жить там?

— Нет, — честно ответила я. — Не хочу. Я не хочу переезжать туда с того самого момента, как я узнала, что случилось там когда-то.


— Я тоже не хочу.

Потом она сказала:

— Но где же мы тогда будем жить, мама?

И я ответила, легко, шутливо, ожидая, что она насмешливо и неодобрительно фыркнет:

— А как насчет Нью-Йорка?




Словом, с Зоей все получилось легко и просто. А вот Бертран отнюдь не пришел в восторг от нашего решения. Его совсем не радовала мысль, что дочь уедет от него так далеко. Но Зоя твердо и решительно была настроена уехать. Она сказала, что будет прилетать к нему чуть ли не каждый месяц и что он тоже может приезжать к нам, чтобы повидаться с ней и сестрой. Я объяснила Бертрану, что мы еще не приняли окончательного решения о переезде. И что в любом случае мы уезжаем не навсегда. Всего лишь на пару лет. Чтобы Зоя освоилась с американской стороной своей личности. Чтобы помочь мне встать на ноги. Начать все сначала. Он теперь жил с Амели. Они официально оформили свои отношения. Дети Амели были уже почти взрослыми. Они жили вдалеке от нее и, кроме того, часто навещали своего отца. Может быть, Бертран поддался искушению вкусить новой жизни без ежедневной ответственности за детей, своих или ее? Наверное. Во всяком случае, он сказал «да». И тогда я стала готовиться к отъезду.

Поначалу мы жили у Чарлы. Но потом она помогла мне подыскать недорогую, простую квартирку с двумя спальнями, «роскошным видом на город» и швейцаром на Западной 86-й улице, между Амстердамом и Коламбусом.^[76] Я унаследовала жилище от одной из ее подруг, которая переехала в Лос-Анджелес. В доме жило много семейных и разведенных пар, это был настоящий улей, полный детей — совсем уже взрослых и грудных, велосипедов, детских колясок и мотороллеров. Здесь было уютно и комфортно, но чего-то все равно не хватало. Чего? Я не знала.

Благодаря Джошуа я устроилась нью-йоркским корреспондентом для одного французского веб-сайта. Я работала на дому и по-прежнему прибегала к услугам Бамбера, когда мне требовались фотографии из Парижа.

Зоя пошла в новую школу, Тринити-колледж, в паре кварталов от дома.

— Мама, я никогда не стану там своей, они зовут меня француженкой, — жаловалась она, и я не могла сдержать улыбку.



Мне нравилась в жителях Нью-Йорка их целеустремленность, их беззлобное подшучивание, их добродушие. На них было приятно смотреть. Соседи здоровались со мной в лифте, подарили нам цветы и сладости по случаю переезда и обменивались шуточками со швейцаром. Я уже успела позабыть, как это делается. Я настолько привыкла к угрюмой грубости парижан и к тому, что люди, живущие на одной лестничной площадке, не удосуживаются приветствовать друг друга даже коротким кивком.

Но, пожалуй, самое смешное заключалось в том, что, несмотря на очарование своей новой жизни, я скучала по Парижу. Я скучала по огням Эйфелевой башни, которые зажигались в строго определенный час по вечерам, отчего она превращалась в сверкающую, увешанную драгоценностями соблазнительницу. Я скучала по сиренам воздушной тревоги, которые завывали над городом каждую первую среду месяца, ровно в полдень, во время очередных испытаний системы оповещения гражданской обороны. Я скучала по субботнему блошиному рынку на бульваре Эдгара Куине, где торговец овощами называл меня *ma p'tite dame*,^[77] хотя я была, наверное, самой высокой из его покупательниц. Я тоже чувствовала себя француженкой, хотя и была чистокровной американкой.

Вообще отъезд из Парижа оказался совсем не таким легким и безболезненным, как я себе представляла. Нью-Йорк, с его энергетикой, облаками пара, вырывающимися из люков теплоцентралей, огромными просторами, мостами и пробками на дорогах пока еще не стал моим домом. Мне страшно не хватало парижских друзей, несмотря на то что я уже успела обзавестись здесь новыми. Я скучала по Эдуарду, с которым так сблизилась в последнее время и который писал мне каждый месяц. Но особенно мне не хватало тех взглядов, которыми французы окидывают женщин, тех самых взглядов, которые Холли называла раздевающими. Оказывается, я успела к ним привыкнуть в Париже, а здесь, на Манхэттене, все ограничивалось приветственными восклицаниями, которые отпускали водители автобусов: «Эй, лапочка!», когда видели Зою, и

оригинальным «Привет, блондиночка!», когда видели меня. У меня появилось ощущение, будто я превратилась в невидимку. Я никак не могла понять, откуда в моей жизни образовалась такая пустота. Как будто налетел ураган и вывернул меня наизнанку.

И еще ночи.

Ночи у меня все, как на подбор, были одинокими, даже те, которые я проводила с Нейлом. Лежа в постели и вслушиваясь в биение ритма большого города, я вновь перебирала в памяти образы и отголоски прошлого, которые накатывались на меня подобно приливу.



Сара...

Она ни на минуту не оставляла меня. Благодаря ей я изменилась навсегда. Я носила в себе ее жизнь, ее страдания. У меня появилось ощущение, будто я лично была знакома с ней. Я знала, какой она была в детстве. Я знала, какой она стала, когда выросла. Я знала ее, когда, будучи уже сорокалетней домохозяйкой, она направила свою машину в дерево на скользкой дороге Новой Англии. У меня перед глазами стояло ее лицо. Раскосые светлые глаза. Форма головы. Поза. Телодвижения. Ее руки. Ее редкая улыбка. Я знала ее. Если бы я встретила ее на улице, останься она жива, я бы узнала ее в толпе.

Моя старшая дочь отличалась острым умом. Она поймала меня с поличным.

Я искала в Интернете информацию об Уильяме Рейнсферде.

Я даже не заметила, как она вернулась из школы. Как-то раз погожим зимним днем она прокралась в мою комнату так тихо, что я не услышала.

— И давно ты этим занимаешься? — поинтересовалась она тоном строгой матери, заставшей своего отпрыска курящим травку.

Покраснев от смущения, я призналась, что регулярно разыскиваю его в Интернете в течение последнего года.

— И? — продолжала она, скрестив руки на груди и вперив в меня суровый взгляд.

— Очевидно, он уехал из Лукки, — заявила я.

— Ага. И где же он сейчас?

— Он вернулся в Штаты и живет здесь вот уже пару месяцев.

Я не могла больше выдерживать ее взгляд, поэтому встала с места и подошла к окну, глядя вниз на шумную и оживленную Амстердам-авеню.

— Он в Нью-Йорке, мама?

Голос ее смягчился, он был уже не таким резким и грубым. Она подошла сзади и положила свою чудесную головку мне на плечо.

Я кивнула. Я не находила в себе мужества признаться ей, что пришла в полный восторг, когда узнала, что он здесь. Я была счастлива тем, что в конце концов оказалась с ним в одном городе, через два года

после нашей последней встречи. Я вспомнила, что его отец был коренным нью-йоркцем. Так что и Уильям наверняка жил здесь, когда был маленьким.

Он значился и в телефонном справочнике. Он жил где-то в районе Уэст-Виллидж. То есть всего в пятнадцати минутах на метро от моего дома. И потом целыми днями и даже неделями я задавала себе один и тот же вопрос: могу ли я позвонить ему? Он не сделал попытки разыскать меня после нашей встречи в Париже. С тех пор я не получала от него никаких известий.

Но спустя какое-то время мое волнение и восторг пошли на убыль. У меня не хватало смелости позвонить ему. Но я продолжала думать о нем ночь за ночью. День за днем. Молча, втайне. Я представляла, как в один прекрасный день столкнусь с ним в Центральном парке, или в супермаркете, или в баре, или в ресторане. Интересно, он приехал сюда с женой и дочерьми? И почему он вообще вернулся в Штаты? Что случилось?

— Ты звонила ему? — продолжала расспрашивать меня Зоя.

— Нет.

— А собираешься?

— Не знаю, доченька.

Я заплакала, молча и неслышно, плечи у меня вздрагивали.

— Ох, мама, перестань, пожалуйста, — вздохнула она.

Я сердито смахнула с глаз слезы, чувствуя себя ужасно глупо.

— Мама, он знает, что ты живешь здесь. Я уверена, он знает об этом. Он наверняка тоже разыскивал тебя в Интернете. Он знает, чем ты здесь занимаешься, и знает, где ты живешь.

Такая мысль не приходила мне в голову. Я имею в виду то, что Уильям может разыскивать *меня* с помощью поисковой машины. То, что он может знать *мой* адрес. Неужели Зоя права? И он знает о том, что я тоже живу в Нью-Йорке, в Верхнем Вест-Сайде? Интересно, он вспоминал обо мне? И что он при этом чувствовал?

— Мама, тебе надо расслабиться. Выброси эти мысли из головы. Позвони Нейлу. Вообще, мне кажется, тебе надо почаще с ним встречаться и продолжать жить собственной жизнью.

Я повернулась к ней, собственный голос показался мне хриплым и грубым.

— Я не могу, Зоя. Я должна знать, помогло ли ему то, что я сделала. Я должна знать это. Неужели это слишком много? Неужели это так трудно?


В соседней комнате захныкала малышка. Наши голоса разбудили ее. Зоя пошла туда и тут же вернулась, держа на руках пухленькую, икающую сестренку.

Зоя бережно погладила меня по голове, по-прежнему баюкая малышку.

— Не думаю, что ты когда-нибудь узнаешь об этом, мама. Не думаю, что он когда-нибудь будет готов сказать тебе об этом. Ты изменила всю его жизнь. Ты вывернула ее наизнанку, помни об этом. Скорее всего, он больше никогда не захочет тебя видеть.

Я выхватила ребенка у нее из рук и яростно прижала к себе, вдыхая его запах, впитывая его тепло и невинность. Зоя была права. Мне нужно было перевернуть страницу и продолжать жить дальше.

Как? Это другой вопрос.



Я старалась занять себя чем только можно. Я старалась ни на мгновение не оставаться одна, что, в общем-то, оказалось не так уж трудно: у меня была Зоя, малышка, Нейл, родители, племянники, работа и бесконечные вечеринки, на которые приглашали меня Чарла и ее супруг Барри. За два года в Нью-Йорке я познакомилась с бóльшим количеством людей, чем за все время жизни в Париже. Это был гигантский космополитический котел, и мне нравилось в нем вариться.

Да, я покинула Париж навсегда, но стоило мне вернуться к своей работе, встретиться с друзьями или получить письмо от Эдуарда, как я уносилась мыслями в квартал Марэ, как будто ноги сами несли меня туда. Рю де Руазьер, рю де Руа де Сициль, рю де Экуффе, рю де Сантонь, рю де Бретань... Они проплывали у меня перед глазами, перед моими новыми глазами, глазами, которые помнили о том, что случилось здесь в сорок втором году, пусть даже это было задолго до моего рождения.

Я часто думала о том, кто теперь живет в квартире на рю де Сантонь, кто стоит у окна и смотрит на тенистый дворик, кто проводит пальцами по гладкой мраморной каминной полке. Я думала о том, подозревают ли новые жильцы, что в их доме когда-то умер маленький мальчик и что с того самого дня жизнь еще одной маленькой девочки изменилась навсегда.

И по ночам мне тоже снился квартал Марэ. Иногда ужасы прошлого, которых я не могла видеть своими глазами, являлись ко мне в ночных кошмарах. Являлись настолько зримо, что я в страхе просыпалась и включала свет, чтобы успокоиться и прийти в себя.

И вот именно тогда, бессонными, пустыми ночами, когда я лежала в постели, измученная бесконечным круговоротом общения, с пересохшим ртом после последнего бокала вина, которого мне, конечно же, не следовало пить, возвращалась и преследовала меня старая тоскливая боль.

Его глаза. Выражение его лица, когда я прочла вслух письмо Сары. Все это вновь наваливалось на меня, прогоняя сон и причиняя душевные страдания.


Голос Зои заставил меня вернуться в реальность Центрального парка, прекрасного весеннего дня и руки Нейла у меня на бедре.

— Мама, это чудовище хочет фруктовое мороженое на палочке.

— Ни за что, — ответила я. — Никакого фруктового мороженого, ни на палочке, ни без нее.

Малышка повалилась лицом в траву и зарыдала.

— Чертовски занятная картина, не правда ли? — язвительно заметил Нейл.




Январь две тысячи пятого года заставил меня в очередной раз вспомнить Уильяма и Сару. Заголовки всех газет и журналов мира кричали только об одном — 60-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц. Кажется, еще никогда слово «Холокост» не повторялось столь часто.

И каждый раз, когда я его слышала, мысли мои с болью устремлялись к нему и к ней. Глядя на экран телевизора, на котором разворачивалась мемориальная церемония в Аушвице, я задавала себе вопрос: а вспоминает ли обо мне Уильям, когда слышит это слово? Вспоминает ли обо мне, когда на экране мелькают черно-белые образы прошлого: безжизненные изможденные тела, сложенные высокими штабелями, крематории, жирный пепел, весь кошмар давних событий?

Его семья погибла в этом скорбном месте. Родители его матери. Или он не задумывается над этим, спрашивала себя я. Сидя с Зоей и Чарлой, которые устроились по обе стороны от меня, я смотрела, как на экране телевизора пушистые снежинки медленно опускаются на концентрационный лагерь, на колючую проволоку, на приземистую сторожевую вышку. Зажженные свечи, толпа, речи. Русские солдаты и их особый, танцующий строевой шаг.

И наконец финальная, незабываемая сцена: на лагерь опускается ночь, и в темноте светятся рельсы железной дороги, они сияют болезненным, резким и острым светом памяти и скорби.



Телефонный звонок раздался в мае, когда я меньше всего его ожидала.

Я как раз сидела за письменным столом, пытаюсь справиться с взбунтовавшимся компьютером. Я подняла трубку, и мое «да» даже для меня самой прозвучало коротко и неприветливо.

— Привет. Это Уильям Рейнсферд.

Я резко выпрямилась, пытаюсь унять бешено бившееся сердце и сохранить спокойствие.

Уильям Рейнсферд.

Я не могла вымолвить ни слова, ошеломленная и растерянная, прижимая трубку к уху.

— Джулия, вы меня слышите?

Я проглотила комок в горле.

— Да, слышу. У меня проблемы с компьютером. Как поживаете, Уильям?

— Отлично, — ответил он.

Воцарилось молчание. Но оно почему-то не казалось напряженным или тяжелым.

— Давненько мы с вами не виделись, — запинаясь, пробормотала я.

— Да, вы правы, — согласился он.

Еще одна пауза.

— Насколько я могу судить, вы теперь стали коренной жительницей Нью-Йорка, — наконец нарушил он молчание. — Я искал вас по Интернету.

Итак, Зоя оказалась права.

— Ладно, как насчет того, чтобы увидеться и поболтать?

— Сегодня? — спросила я.

— Если вам удобно.

Я подумала о младшей дочке, спавшей в соседней комнате. Сегодня утром я уже отдавала ее в Центр дневного ухода за детьми, но ведь ее можно взять с собой. Хотя, конечно, ей наверняка придется не по вкусу, если я прерву ее сладкий послеобеденный сон.


— Да, мне удобно, — ответила я.

— Отлично. Тогда я приеду в ваш район. Можете предложить какое-нибудь подходящее местечко, где мы могли бы посидеть?

— Знаете кафе «Моцарт»? На перекрестке Западной 70-й улицы и Бродвея.

— Да, знаю. Встретимся там через полчаса.

Я повесила трубку. Сердце так сильно колотилось у меня в груди, что я едва могла дышать. Я пошла в соседнюю комнату, чтобы разбудить малышку. Не обращая внимания на протесты, я одела ее, усадила в коляску и отправилась на свидание.



Когда мы пришли в кафе, Уильям уже ждал нас там. Сначала я увидела его спину, широкие, сильные плечи, а уже потом волосы, густые и седые, — в них не осталось и следа прежнего соломенного цвета. Он читал газету, но резко развернулся при моем приближении, словно почувствовал, что я смотрю на него. Потом он вскочил на ноги, и повисла неловкая пауза — мы не знали, то ли пожать друг другу руку, то ли поцеловаться. Он рассмеялся, я последовала его примеру, и наконец он обнял меня, крепко, по-медвежьи, прижав к груди и похлопывая по спине. Выпустив меня из объятий, он склонился над коляской, чтобы полюбоваться моей дочерью.

— Какая славная маленькая девочка, — промурлыкал он.

Она торжественно протянула ему своего любимого резинового жирафа.

— А как тебя зовут, малышка? — спросил он.

— Люси, — пролепетала она.

— Так зовут жирафа, — поспешила я внести ясность, но Уильям уже сдавил жирафа в своей лапице, так что мой голос утонул в пронзительном писке игрушки, отчего дочка завизжала от восторга.

Мы нашли свободный столик и сели, оставив малышку в коляске. Уильям принялся изучать меню.

— Пробовали когда-нибудь творожный торт «Амадей»? — поинтересовался он, вопросительно изогнув бровь.

— Да, — откликнулась я. — В высшей степени дьявольское блюдо.

Он широко улыбнулся.

— Послушайте, Джулия, вы выглядите потрясающе. Нью-Йорк определенно идет вам на пользу.

Я зарделась, как подросток, представив себе, как эти слова слышит Зоя и драматически закатывает глаза.

И тут зазвонил его мобильный телефон. Он ответил. По выражению его лица я поняла, что это женщина. Интересно, кто бы это мог быть, подумала я. Жена? Одна из дочерей? Разговор все не заканчивался. Кажется, он расстроился. Я склонилась над коляской, играя с жирафом.

— Прошу прощения, — извинился он, пряча телефон. — Звонила моя подруга.

— Ага.

Должен быть, он уловил в моем голосе смущение, потому что фыркнул, давясь смехом.

— Я успел развестись, Джулия.

Он взглянул мне прямо в глаза. Лицо его было серьезным.

— Понимаете, после того, что вы мне рассказали, все изменилось.

Наконец-то. Наконец-то он говорил то, что я хотела услышать. Сейчас я узнаю все.

Я не знала, что сказать. Я боялась, что стоит мне открыть рот, как он замолчит. Поэтому я продолжала играть с дочерью, потом вручила ей бутылочку с молоком, следя, чтобы она не пролила его на себя, и пристроила ей на шею бумажную салфетку.

Подошла официантка, чтобы принять заказ. Две порции творожного торта «Амадей», два кофе и оладьи для малышки.

Уильям сказал:

— Налаженная жизнь рухнула. Разлетелась на куски. Это был кошмар. Ужасный год.

Несколько минут мы молчали, разглядывая столики. В кафе было шумно и оживленно, из динамиков лилась классическая музыка. Малышка агукала, улыбаясь мне и Уильяму, размахивая игрушечным жирафом. Официантка принесла наш заказ.

— Сейчас у вас все в порядке? — нерешительно поинтересовалась я.

— Да, — быстро ответил он. — Да, сейчас у меня все в порядке. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к своему новому «я». Чтобы понять и принять историю матери. Справиться с ее болью. Иногда мне это до сих пор не удается. Но я стараюсь. Я сделал парочку совершенно необходимых вещей.

— Например? — любопытно спросила я, скармливая дочке кусочки сладкого оладья.

— Я понял, что больше не могу носить все это в себе. Я чувствовал себя одиноким, оторванным от людей, сломленным. Жена не могла понять, что со мной происходит. Я просто не мог объяснить ей этого, между нами не было взаимопонимания. В прошлом году, перед самым празднованием шестидесятой годовщины освобождения

лагеря, я взял дочерей с собой в Аушвиц. Я должен был рассказать им, что случилось с дедушкой и бабушкой. Это было нелегкое решение, но только так я мог попытаться сделать хоть что-то. Показать им. Поездка получилась очень трогательной и полной слез, но я наконец-то почувствовал, что в душе у меня наступил покой, и, по-моему, дочери поняли меня.

Лицо у него стало грустным и задумчивым. Я молчала, позволяя ему выговориться. Я вытерла личико малышке и дала ей воды.

— А в январе я совершил еще кое-что. Я вернулся в Париж. В квартале Марэ появился новый мемориал жертвам Холокоста, может быть, вы знаете об этом. — Я кивнула. Я слышала о нем и во время следующего визита в Париж собиралась сходить туда. — На его открытии в конце января выступил Ширак. Там, у самого входа, на стене высечены имена. Огромная, серая каменная плита. И на ней высечены семьдесят шесть тысяч имен. Имя каждого еврея, депортированного из Франции.

Я смотрела, как он нервно сжимает в руках чашку с кофе. Почему-то мне было трудно взглянуть ему в лицо.

— Я подошел, чтобы попытаться найти своих родных. И нашел. Владислав и Ривка Старжински. Мои дедушка и бабушка. Я ощутил тот же покой, что и в Аушвице. И ту же боль. Я испытывал благодарность за то, что их не забыли, что французы помнили их и увековечили их память. Перед этой стеной стояли и плакали люди, Джулия. Старики, молодежь, люди моего возраста, они касались стены руками и плакали.

Уильям умолк, судорожно дыша широко открытым ртом. Я не сводила глаз с его рук, сжимавших чашку. Жираф моей дочки слабо попискивал, но мы не слышали его.

— Ширак выступил с речью. Естественно, я не понял ни слова. Но потом я нашел ее в Интернете и прочел перевод. Хорошая речь. Он призывал людей помнить об ответственности французов за облаву «Вель д'Ив» и за то, что за нею последовало. Ширак произнес те же слова, которые моя мать написала в конце письма. *Zakhor, Al Tichkah*. Помни. Не забывай. На иврите.

Он наклонился, из лежавшего у ног рюкзака вынул большой манильский конверт и протянул его мне.

— Это фотографии моей матери. Я хочу показать их вам. Я вдруг понял, что не знаю, какой была моя мать, Джулия. То есть я знал, как она выглядит, я помнил ее лицо, ее улыбку, но, оказывается, мне ровным счетом ничего не было известно о ее внутреннем мире.

Я стерла с кончиков пальцев кленовый сироп, прежде чем взять их в руки. Сара в день бракосочетания. Высокая, стройная, на губах слабая улыбка, в глазах — отсвет тайны. Сара, баюкающая на руках маленького Уильяма. Сара держит Уильяма за ручку, он уже научился ходить. Сара в изумрудно-зеленом бальном платье, здесь ей уже за тридцать. И вот снимок Сары перед самой гибелью, большой цветной портрет. Я обратила внимание, что волосы ее посеребрила седина. Преждевременная седина, но она очень шла ей. Как и ему сейчас.

— Я помню ее высокой, стройной и немногословной. Большую часть времени она молчала, — продолжал Уильям, пока я с растущим волнением рассматривала фотографии. — Она редко смеялась, но была внимательной и любящей матерью. После ее смерти никто и не заикнулся о возможности самоубийства. Ни один человек. Даже отец. Я думаю, что он не читал ее дневник. И никто не читал. Скорее всего, он нашел его уже спустя много времени после ее смерти. Мы все думали, что произошел несчастный случай. Никто не знал о том, кем на самом деле была моя мать, Джулия. Даже я. И мне до сих пор трудно смириться с этим. С тем, что заставило ее покончить с собой в тот морозный день. С тем, что она все-таки приняла такое решение. С тем, что мы даже не подозревали о ее прошлом. С тем, что она предпочла ничего не говорить моему отцу. С тем, что она носила боль и страдание в себе.

— Очень хорошие фотографии, — сказала я. — Спасибо, что взяли их с собой.

Я немного помолчала.

— Знаете, я должна спросить вас кое о чем, — продолжала я, набравшись смелости и глядя ему в лицо.

— Спрашивайте.

— Вы не испытываете ко мне неприязни? — слабо улыбнувшись, задала я свой вопрос. — Меня не оставляет чувство, будто я разрушила вашу жизнь.

Он улыбнулся.

— Никакой неприязни, Джулия. Мне просто нужно было все обдумать. Понять. Сложить все кусочки головоломки. На это потребовалось некоторое время. Вот почему я не пытался позвонить вам все это время.

Я испытала невыразимое облегчение.

— Но я все время не выпускал вас из виду, — улыбнулся он. — Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отыскать вас.

«Мама, он знает, что ты живешь здесь. Я уверена, он знает об этом. Он наверняка тоже разыскивал тебя в Интернете. Он знает, чем ты здесь занимаешься, и знает, где ты живешь».

— Когда вы переехали в Нью-Йорк? — спросил он.

— Вскоре после рождения малышки. Весной две тысячи третьего.

— А почему вы уехали из Парижа? Если мой вопрос кажется вам бестактным...

Я горько улыбнулась.

— Мой брак распался. Тогда у меня только что родилась вот эта девочка. Я не могла заставить себя жить в квартире на рю де Сантонь после всего, что там произошло. И мне захотелось вернуться в Штаты.

— И что было дальше?

— Поначалу мы жили у моей сестры, в Верхнем Ист-Сайде, а потом она нашла мне квартиру, которую раньше снимала одна из ее подруг. И мой бывший босс подыскал для меня отличную работу. А вы?

— Та же самая история. Продолжать жить в Лукке как ни в чем не бывало казалось мне невозможным. И мы с женой... — Голос у него сорвался. Он махнул рукой, как если бы прощался с кем-то. — До того как переехать в Роксбери, мы жили здесь. Тогда я был еще мальчишкой. И мысль о том, чтобы вернуться сюда, уже несколько раз приходила мне в голову. Так что в конце концов я взялся за ее осуществление. Сначала я жил у одного из старых друзей, в Бруклине, а потом нашел квартиру в Виллидже. Здесь я занимаюсь тем же, что делал и в Италии. Я эксперт по продуктам питания.

Зазвонил сотовый телефон Уильяма. Это снова оказалась его подруга. Я отвернулась, чтобы не ставить его в неловкое положение. Наконец он закончил разговор.

— Она ведет себя, как маленькая собственница, — извиняющимся голосом произнес он. — Думаю, лучше отключить телефон на какое-то

время.

Он возился с аппаратом, нажимая на кнопки.

— Вы уже давно вместе?

— Пару месяцев. — Он взглянул на меня. — А вы? Встречаетесь с кем-нибудь?

— Да, встречаюсь. — Я вспомнила любезную, вежливую улыбку Нейла. Его осторожные жесты. Рутинный, приевшийся секс. Я едва не добавила, что у меня все это несерьезно, буквально за компанию, только для того, чтобы не оставаться одной, потому что каждую ночь я думаю о нем, Уильяме, и о его матери. Я думала о нем каждую ночь на протяжении последних двух с половиной лет, но решила придержать язык за зубами. Поэтому я просто сказала:

— Он хороший человек. Разведен. Адвокат.

Уильям заказал для нас еще кофе. Когда он передавал мне чашку, я снова обратила внимание, как красивы его руки с длинными тонкими пальцами.

— Примерно через полгода после нашей встречи, — сказал он, — я вернулся на рю де Сантонь. Мне нужно было увидеть вас. Поговорить с вами. Я не знал, где вас искать, у меня не было вашего номера телефона и я не помнил фамилии вашего мужа, так что даже не мог найти вас в телефонном справочнике. Я подумал, что, может быть, вы все еще живете там. Я и понятия не имел, что вы переехали.

Он помолчал, провел рукой по густым, посеребренным сединой волосам.

— Я прочел все, что мог, об облаве на «Вель д'Ив», съездил в Бюн-ла-Роланд, побывал на той улице, где раньше располагался стадион. Я был в гостях у Гаспара и Николя Дюфэр. Они отвели меня на могилу Мишеля на кладбище в Орлеане. Они оказались добрыми, славными людьми. Но мне все равно было очень тяжело. И вдруг захотелось, чтобы вы были рядом. Мне не стоило отказываться, когда вы предложили поехать со мной, нужно было соглашаться не раздумывая.

— Возможно, мне следовало проявить большую настойчивость, — заметила я.

— Мне надо было послушать вас. Для одного такая ноша слишком тяжела. А потом, когда я наконец вернулся на рю де Сантонь

и вашу дверь открыли какие-то незнакомые люди, я подумал, что вы обманули и подвели меня.

Уильям опустил глаза. Я поставила чашечку на блюдце, чувствуя, как во мне закипает обида. Как он может так говорить, подумала я, после всего, что я сделала, после всех моих усилий, боли и пустоты!

Должно быть, он прочел по моему лицу, что я испытываю, потому что быстро накрыл мою руку своей.

— Простите меня за то, что я только что сказал, — пробормотал он.

— Я никогда не подводила и не обманывала вас, Уильям.

Голос мой звучал отчужденно и глухо.

— Я знаю, Джулия. Простите меня.

Он произнес эти слова дрожащим, срывающимся, но глубоким и красивым голосом.

Я чуточку расслабилась. Даже выдавила из себя улыбку. Мы молча потягивали кофе. Время от времени наши колени под столиком соприкасались. То, что мы вот так сидим вдвоем, казалось мне вполне естественным. Мы как будто знали друг друга уже давно, много лет, хотя встретились всего лишь третий раз в жизни.

— Ваш бывший муж не возражал, чтобы вы забрали детей себе? — поинтересовался он.

Я лишь пожала плечами в ответ. Потом посмотрела на малышку, которая уснула в коляске.

— Это было нелегко. Но он влюблен в другую женщину. И уже давно, надо сказать. Это помогло, в какой-то степени. А сейчас он вообще редко видится с девочками. Правда, он приезжает сюда время от времени, и Зоя проводит каникулы во Франции.

— С моей бывшей женой та же самая история. У нее родился еще один ребенок. Мальчик на этот раз. Я езжу в Лукку так часто, как только могу, чтобы повидаться с дочерьми. Или они приезжают сюда сами, но это бывает редко. Впрочем, они уже почти взрослые.

— Сколько им лет?

— Стефании двадцать один, а Жюстине девятнадцать.

Я присвистнула.

— Да, вы явно женились молодым.

— Слишком молодым, наверное.

— Не знаю, — заметила я. — Иногда я чувствую себя неловко по отношению к младшей дочери. Я жалею, что она не родилась раньше. У них с Зоей такая большая разница в возрасте.

— Она у вас очень славненькая, — заявил он, откусывая здоровенный кусок творожного торта.

— Да, вы правы. Я ее просто обожаю, это последняя отрада для матери-старухи.

Мы оба рассмеялись.

— Вы не жалеете, что у вас нет сына? — спросил он.

— Нет, ничуть. А вы?

— Нет. Я люблю своих девочек. Хотя и надеюсь, что когда-нибудь у меня появятся внуки. Так вашу дочь зовут Люси, я не ошибся?

Я посмотрела на него. Потом перевела взгляд на дочь.

— Нет, так зовут ее игрушечного жирафа, — ответила я.

Наступила небольшая пауза.

— Ее зовут Сара, — негромко сказала я.

Уильям перестал жевать и отложил вилку в сторону. В глазах у него появилось новое выражение. Он посмотрел на меня, потом на спящего ребенка, но ничего не сказал.

И вдруг он закрыл лицо руками. Он сидел так долго, и я не знала, что делать. Я коснулась его плеча.

Молчание.

Я снова испытала чувство вины, мне показалось, что я опять сделала что-то непозволительное. Но я с самого начала знала, что назову свою малышку Сарой. Как только мне сказали, что у меня родилась девочка, еще в родильном доме, я уже знала, как ее зовут.

У моей дочери просто не могло быть другого имени. Она была Сарой. Моей Сарой. Напоминанием о другой Саре, о маленькой девочке с желтой звездой на груди, которая изменила всю мою жизнь.

Наконец он опустил руки, и я увидела его изменившееся, осунувшееся, но такое привлекательное лицо. В глазах его была пронзительная грусть и боль. Он не боялся того, что я увижу их. Он не стал скрывать слез. Казалось, он хочет, чтобы я увидела все — и красоту, и боль его жизни. Он хотел, чтобы я увидела и его благодарность, и отчаяние.

Я взяла его за руку и крепко сжала ее. Я больше не могла смотреть на него, поэтому закрыла глаза и прижала его руку к своей щеке. И

заплакала вместе с ним. Я почувствовала, как его пальцы стали влажными от моих слез, но все равно не отпускала его руку.

Мы долго сидели молча, пока толпа вокруг нас не рассеялась, пока солнце не стало клониться к горизонту и дневной свет не начал меркнуть. Мы сидели до тех пор, пока не почувствовали, что можем снова взглянуть друг другу в глаза, на этот раз уже без слез.

Библиография

- «Le Mémorial des enfants juifs de France», Serge Klarsfeld, Fayard
- «Vichy-Auschwitz», Serge Klarsfeld, Fayard
- Le Calendrier des la persécution des Juifs de France, Serge Klarsfeld, Fayard
- «Je veux revoir maman», Alain Vincenot, éditions des Syrtes
- «Paris, 19 42, Chroniques d'un survivant», Maurice Rajfus, Editions Noesis
- «La Rafle du Vel' d'Hiv'», Maurice Rajfus, Que sais-je? Presses Universitaires de France
- «Journal d'un petit Parisien, 194—1945», Dominique Jamet, Editions J'ai Lu
- «Les Juifs pendant l'Occupation», André Kaspi, Points/Seuil
- «Paroles d'Etoiles, Mémoire d'enfants caches», 1939–1945, Librio
- «La Petite Fille du Vel' d'Hiv'», Annette Muller, Denoël
- «Les Guichets du Louvre», Roger Boussinot, Gaia Editions
- «Voyage a Pitchipoi», Jean-Claude Moscovici, Ecole des Loisirs
- «Lettres de Drancy, un été 42», Editions Taillandier
- «Sans oublier les enfants (Les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande)», Eric Conan, Grasset
- «Beaune-la-Rolande», Cécile Wajsbrot, Editions Zulma
- Opération «Vent Printanier», La rafle du Vel' d'Hiv' Blanche Finger, William Karel, Editions La Découverte
- «La rafle du Vel' d'Hiv'», Le cinéma de l'Histoire, cassette vidéo, Passeport Productions/Editions Montparnasse/la Marche du Siècle
- «La Grande Rafle du Vel' d'Hiv'», Claude Lévy et Paul Tillard, Editions Robert Laffont
- «Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre Mondiale», Renée Poznanski, Hachette Littératures
- «Les convois de la honte», Raphaël Delpard, Editions Michel Lafon
- «Nous n'irons pas à Pitchipoi», Janet Thorpe, Editions de Fallois
- «J'ai pas pleuré», Ida Grinspan, Editions Robert Laffont
- «Les français sous l'Occupation» Pierre Vaillaud, éditions Pygmalion/France Loisirs
- «Carnets de Mémoire», Michèle Rotman, Editions Ramsay

- «Convoi Numéro 6», Editions le Cherche-Midi

От автора

Благодарю вас:

Николя, Луи и Шарлотта, Адреа Стюарт, Хью Томас, Петер Фиртель.

Спасибо и вам:

Валери Бертони, Чарла Картер-Халаби, Валери Колен-Симард, Холли Дандо, Сесиль Давид-Вейль, Паскаль Фрай, Виолен и Поль Градволь, Джулия Харрис-Фосс, Сара Хирш, Жан де ля Хоссерэ, Тара Кауфман, Летиция Ланчман, Элен Ле Бо, Агнесса Мишо, Эмма Пари, Лаура ди Павильон, Йан Пфайффер, Катерин Рамбо, Паскалина Райан-Шрайбер, Сюзанна Сальк, Ариэль и Карина Толедано.

И наконец, не менее важные люди, которым я хочу выразить благодарность:

Элоиза д'Ормессон и Жиль Коэн-Солал.

Татьяна де Росней

Лукка, Италия, июль 2002 — Париж, Франция, май 2006

notes

Примечания

1

Мадам. *(Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)*

2

Цифровой замок.

3

Популярный герой из сериала «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

4

Консьержка.

5

Привратницкая.

6

Дорогая.

7

Любимая.

8

Американка.

9

Маршал, глава марионеточного правительства оккупированной Франции, сотрудничавший с гитлеровцами во время Второй мировой войны.

10

Округ.

11

Известный американский художник, рисует в стиле ретро.

12

Знаменитый американский вуз, в котором выполнено множество проектов, оказавших большое влияние на развитие компьютерных технологий.

Название серии мультфильмов студии «Уорнер бразерс». Главные герои — кролик Багс Банни, поросенок Порки Пиг и утенок Даффи Дак, их голоса озвучивал М. Бланк.

14

Площадь Звезды.

15

Общепринятое название Парижа.

16

Моя малышка.

17

Любовь моя.

Добрый день, мадемуазель, вы ведь американки, не так ли?

19

Будь я проклят.

20

Университетская улица.

21

Весь Париж.

22

Велодром.

Жандармы.

Дубинки.

25

Вогезская площадь.

26

Квартал.

27

Ангел мой.

28

Милая моя.

Площадь Республики.

30

Банкетка для сидения.

«Предрассветный час».

Лицей.

Мимолетная интрижка.

Группа известных французских художников, возникшая в 1905 году. В ее состав входили Анри Матисс (1869–1954), Морис де Вламинк (1876–1958) и Андрэ Дерэн (1880–1954). Для их творчества характерно использование ярких цветов и упрощенных форм.

Пункция плодного пузыря.

Жареная утка в собственном соку.

Рагу из бобов с птицей или мясом, запеченное в глиняной миске.

Жаркое в горшочке.

Овощное рагу.

40

Триумфальная арка.

41

Густой суп.

42

Малышка.

Комендатура.

Площадка со столиками на тротуаре.

45

Паштет.

46

Мемориальная табличка.

47

Мемориальная доска.

Гренки с сыром.

49

Милочка.

Китайское боевое искусство с сильной медитативной компонентой.

51

Шары.

Ханжа-американка.

Аптека.

Булочная.

Удостоверение личности.

Здесь и далее приводятся выдержки из речи премьер-министра Жана-Пьера Раффарена на состоявшейся 21 июля 2002 года торжественной церемонии, посвященной 60-й годовщине облавы «Вель д'Ив». — *Прим. автора.*

Рогалик.

Кофе с молоком.

Старик произносит имя Джулии на французский манер.

60

Старое название Парижа.

61

Сестры.

62

Так?

63

Мальчуган.

Дедушка.

65

Амфитеатр.

Меня зовут Зоя, я говорю по-французски и по-американски.

Пожалуйста, позвоните Уильяму Рейнсферду.

Бисквит, пропитанный кофе и вином, с прослойкой из сыра маскарпоне.

69

Госпожа.

70

Тонкие блинчики.

Господи Боже.

72

Добрый день, мадам.

Американка в здоровенных деревянных башмаках.

74

Спокойной ночи.

75

Ты все сделала правильно. Ты все сделала как надо.

Обиходные названия улиц, точнее авеню.

77

Моя маленькая леди.

Table of Contents

[Татьяна де Росней КЛЮЧ САРЫ](#)

[Предисловие](#)

[Париж, июль 1942 года](#)

[Париж, май 2002 года](#)

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==



Нью-Йорк, 2005 год

Библиография

От автора

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)

[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)

